

Виктор Курочкин

Виктор Курочкин

ЗАПИСКИ
НАРОДНОГО
СУДЬИ
СЕМЕНА
БУЗЬКИНА

Москва

Виктор Курочкин

**ЗАПИСКИ
НАРОДНОГО
СУДЬИ
СЕМЕНА
БУЗЫКИНА**

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1990

ББК 84Р7
К93

Курочкин В. А.

К93 Записки народного судьи Семена Бузыкина: Повести и рассказы.— М.: Современник, 1990.—336 с
ISBN 5-270-00730-4

Повесть «Записки народного судьи Семена Бузыкина», давшая название сборнику, была написана в 1962 году, но полностью публикуется впервые.

В. А. Курочкин (1923—1976) в начале 50-х годов служил народным судьей в Новгородской области, и в основе произведения — материалы реальной судебской практики. В повести поставлены острые социальные проблемы, не потерявшие своей актуальности и сегодня.

В сборник также вошли повести «Заколоченный дом», «Последняя весна» и рассказы, рожденные впечатлениями от встреч с жителями деревень средней полосы России.

К $\frac{4702010200-002}{M106(03)-90}$ 87 — 90

ББК 84Р7

ISBN 5-270-00730-4

© Издательство «Современник», 1990

Товести



ЗАПИСКИ НАРОДНОГО СУДЬИ СЕМЕНА БУЗЫКИНА

УЗОР

Поселок Узор вытянулся вдоль шоссе от моста через речку Каменку до конторы «Заготсырье». Каменка потому так и называется, что в реке больше камней, чем воды, а летом ее куры вброд переходят. На обрывистом берегу в березовой рощице — больница. За конторой «Заготсырье» — пастбище, поросшее мелким ольшаником, выбитая копытами животных земля напоминает свежее пожарище. А вокруг топкое непроходимое болото:

Поселок пересекает железная дорога. Местный старожил, старик еще бодрый, но глухой, как пень, рассказывал мне так: «Утонул бы Узор в болотах, кабы не могучая воля барчука Парнова. Закупал он во всей округе скот и торговал мясом, а в Узоре свою бойню держал. Страшный богач был. Подпоил начальство, и сделали здесь станцию. Не быть бы тут Узору: его место в городищах, верст за пять отселева. Потому как там место лобное, весной и осенью сухое».

Раньше поселок Узор являлся районным центром. Это было в те времена, когда Дом колхозника битком заселяли уполномоченные и заготовители всевозможного рода. Здесь годами проживали уполминзаги и по мясу, и по зерну, и по молоку, по овощам, по картофелю, по селу, лесу — всех теперь не перечтешь; но хорошо помню, что одно время там околачивался уполномоченный по ликвидации яловости скота. Но и это не все. Периодически район бурным потоком наполняли представители областных организаций: Это были «кампанейские» ребята. Потому что появлялись они на период посевной и уборочной кампаний... И тогда не хватало коек в «гостинице». Они ютились где попало. У меня в суде, на холодном кожаном диванчике, частенько ночевал третий секретарь обкома партии Мареев — умный, добрый и общительный человек, который не гнушался ни откровенными разговорами, ни скромным гостеприимством.

Говорят, когда-то Узор насчитывал до полутысячи домов. После войны и сотни не осталось бревенчатых домиков с жидкими палисадниками под окнами; стоят еще два десятка кирпичных коробок с темными мрачными глазницами вместо окон.

Здание райисполкома — самое солидное и богатое в поселке: двухэтажное, с балконом и колоннами у входа. В насмешку над местной природой архитектор залепил карнизы тучными кистями винограда. Дом райкома партии тоже каменный и двухэтажный. Но здесь архитектор показал свое полное пренебрежение к излишествам и красотам. Поставил огромный серый ящик с тремя десятками окон, а под карнизами вырубил две круглые слуховые дыры и от них во все стороны пустил стрелы.

Первое, что я увидел из вагона поезда, сразу за переездом — триумфальную арку, увитую рыжей хвоей. В сильный ветер арка качалась и угрожающе скрипела. Полгода обходил ее районный прокурор. Потом позвонил начальнику милиции. Начальник милиции пожарному инспектору. После этого я видел, как арку два пожарника около столовой раскатали на дрова.

Моя резиденция — приземистое, неуютное, как сарай, здание с вывеской «Народный суд» — оказалась по соседству с конторой «Заготсырье», на самой окраине поселка. Зимой его нередко чуть ли не до крыши заносило снегом. Моя уборщица и сторож Манюня широкой деревянной лопатой весь день разгребала тропинку от крыльца до шоссе; иногда ей помогали истцы с ответчиками, и мне всегда казалось — не без тайного умысла.

Жил я у Василисы Тимофеевны Косых. Весь свой дом с комнатками и комнатухами она сдавала внаем. Сама же ютилась на кухне. Однако квартиранты у нее долго не задерживались. Снимал я у нее узкую, темную, как печная труба, комнатуху с одним окном. До меня в ней жил агроном сельхозотдела. По уверениям хозяйки, «беспробудный пьяница, бабник, сожрал три связки луку и, не заплатив, съехал с фатеры».

Я знал агронома. Застенчивый человек, трезвенник, большой труженик и неудачник, он никак не мог оправдаться перед Косихой. Правда, лук он ел с какой-то непонятной жадностью и пропах им насквозь, как баранья котлета.

Меня хозяйка терпела и соседкам говорила: «Удобный квартирант — платит хорошо, обходительный, не путаник,

а ведь совсем холостой, только табакур. Накурит, так накурит, хоть из дома беги». И все удивлялись. Удивлялся и я, но не долго. Зимой на каникулы с бухгалтерских курсов приехала ее дочь Симочка. Взглянул я на нее, и сомнение взяло: да дочь ли она Косихи? Так они не походили друг на друга. Мать напоминала по черневшую, но еще крепкую доску. Симочка была воплощением мягкости и круглости. На ее белом пухлом, с легким румянцем лице, словно огромные изюмины, торчали изумленные глаза.

Вечером она зашла ко мне как к старому знакомому. Развязность иных женщин, порою граничащая с наглым вызовом, меня теперь не удивляет. Я видывал и не то... Но в поведении Симочки все было так просто, непринужденно, доверчиво и красиво, что мне стало отрадно, словно я ее ждал, и ждал давно, с нетерпением и трепетом. Не помню, чем я тогда был занят — не то читал, не то писал, в общем, как-то разумно бездельничал. Симочка подвинула стул, села, положив на кромку стола упругие, как мячи, груди, и стала смотреть мне в лицо с пристальной серьезностью. Я тоже не мигая смотрел на нее как зачарованный. Ее розовое, теплое лицо было очень серьезно, Симочка старалась серьезничать. И это ей удавалось, но с большим трудом. Нижняя губка у нее дрожала, а в зрачках этих странных глаз то вспыхивали, то гасли радужные искры. Подобную световую игру глаз я наблюдал в темноте у кошек. Так мы смотрели друг на друга минуту, две, а мне показалось — целую вечность.

— И не страшно вам? — не опуская глаз, спросила Симочка и, помолчав, пояснила, почему это страшно: — Вы засудите человека, его посадят в тюрьму. А потом он отсидит там свой срок, вернется домой и убьет вас.

Я смолчал. Ну что я мог ответить на ее доводы? Она же, приняв мое молчание за полное согласие с ней, стала меня наставительно поучать:

— Вы не очень строго судите людей. Конечно, больших преступников можно и построже. А простых надо жалеть. Потому что преступление они делают не по желанию, а по нужде и глупости...

Я плохо слушал ее наставления. Я думал о том, что вот Симочка поговорит и уйдет. А мне этого не хотелось... Я мучался и гадал: уйдет или не уйдет? А то, что

за стенкой ее мать скребет песком пузатый тульский самовар, меня тогда ничуть не смущало.

«Неужели уйдет?» — с тоской думал я. Мои опасения и муки Симочка разрешила неожиданно просто и разумно. Она пригласила меня в кино... На другой день мы опять ходили в кино, на третий — тоже, и все на одну картину.

Хозяйка усилила ко мне внимание. Появились жертвы. Первым потерял голову петух, за ним Васюта вытряхнула из шубы годовалого барана. Теперь Симочка появлялась в моей комнате в халате, непричесанная, и командовала мне: «Подъем!» Породнился бы я, наверное, с Васютой Тимофеевной, но внезапно кончились каникулы. Я заметил, что Симочка забыла о своих курсах. Я же холодно и трезво стал убеждать ее временно все это оставить и закончить учебу. Она слушала меня внимательно с широко раскрытыми удивленными глазами. Только теперь в них не играли огни. Они были влажными, лиловыми и преданными, как у побитой собаки. Симочка согласилась со мной и, тяжело вздохнув, сказала:

— Ах, Семен, Семен, зачем?

Через день она уехала и увезла с собой и свет, и тепло, и уют. В моей комнатухе стало скучно, пусто и холодно, как осенью в остывшем овине...

Я очень тоскую по Симочке. Ее тихий и грустный упрек: «Ах, Семен, Семен, зачем?» — стал тревожным криком моей души. Чтоб забыть, не слышать его, опять пишу свой дневник, который я с радостью забросил при Симочке...

(Мои откровения, вместо предисловия)

...Я тоже родился... Желали того мои папа с мамой или не желали, или это было просто случайно, но я все-таки появился на свет и выжил. А когда стал судьей, то познал, что не всегда родители желают, чтобы дети родились.

До семи лет я ходил без штанов и считался чудорбенком. Но когда мне надели портки, а через плечо повесили сумку с букварем, то родители увидели, что их чадо не такое уж и чудо. А когда я натянул батькины брюки, сказали: «Поскорей бы его в армию взяли да дурь выбили». Наконец, с помощью ротного старшины я влез

в тиковые солдатские штаны и из меня начали выбивать дурь. Долго и старательно, словно пыль из тюфяка, выбивали из меня эту дурь, потом торжественно объявили, что теперь я могу с гордостью носить синие диагональные с малиновым кантом офицерские шаровары.

Как ни близоруко было начальство, но и оно в конце концов разобралось, что, хотя дури-то во мне несколько поубавилось, однако ума не прибавилось. И вот в синих диагональных шароварах меня выпустили на «гражданку». Два года я шеголял в них, мечтая о шевинотовых брюках. Кем я только не был: и счетоводом-контролером, агентом, воспитателем, артистом, затейником, торговал гвоздями, ловил камсу, морил клопов и травил крыс, но нигде не проявил таланта и не заработал на новые брюки. За это время мои диагональные штаны отшлифовались до совершенного лоска, и ветер в них разгуливал, как в осеннем шалаше... И тогда-то меня осенило: «А не пойти ли мне в юристы?!» И я пошел, и долго шел, и не был легок мой путь, но все-таки я дошел.

На мне добротные суконные брюки, но я надеюсь сменить их на габардиновые.

КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ

Неужели я кандидат в народные судьи?! Даже не верится. Вторую неделю живу в Узоре, разъезжаю по району и знакожусь со своими избирателями. После шумного суетливого города мне положительно повезло. Меня пугали, что Узор — глубокая яма. Луж и канав много, но ямы я не видал, наверное, ее нарочно засыпали к моему приезду. Почему я так думаю? Потому что меня здесь любят, уважают и, кажется, радуются, что я у них буду судьей. Все смотрят на меня с улыбкой и величают Семеном Кузьмичем.

Вчера какой-то незнакомый седенький старичок до слез меня растрогал. Я шел из столовой, а он — мне навстречу. Снял шапку, низко поклонился, долго стоял без шапки и все смотрел мне вслед. Мне было как-то неудобно и в то же время жутко приятно.

Мне все здесь нравится, все. Домики маленькие, аккуратные, и вечером в них приветливо, заманчиво горят огни. Представляю себе, как там тепло и уютно. Я живу в «гостинице», там тесновато, но клопы не тревожат, и бельё

чистое. Правда, когда прямо с улицы зайдешь в свой двенадцатикоечный номер, тяжело смирится, но я ловко научился приюхиваться. Надо зажать нос и дышать ртом часто-часто, потом потихоньку по очереди отпустить ноздри.

А какой здесь народ! Я объездил почти все колхозы, и везде меня с почетом встречали, во всем старались угождать и хвалить. И не как-нибудь там за глаза, а при всех, публично. Выходит человек на трибуну или просто к столу и говорит, какой я умный, образованный, преданный сын... Откуда это они все про меня знают? Они же в первый раз меня видят. Удивительно прозорливые и умные в Узоре люди.

Первый секретарь райкома лично сам пригласил меня в свой кабинет и, как с равным, серьезно, по-деловому, полчаса беседовал о трудностях и задачах, стоящих перед нами на данном историческом этапе, и о том, что предстоит сделать, чтобы вытащить район из отстающих в передовые, и какая роль отводится в этом важном деле народному суду. Я заметил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону. Первый секретарь сказал: «Правильно. Но нельзя забывать партию. Она — основная руководящая и направляющая сила в стране». Я сказал, что это очень хорошо знаю и помню, потому что по основам марксизма в юридической школе у меня были круглые пятерки. Это очень обрадовало секретаря, и он пообещал назначить меня руководителем кружка по изучению краткой биографии Сталина в каком-нибудь отдаленном колхозе. Я поблагодарил за доверие, а сам про себя подумал: «Черт меня дернул за язык хвастаться пятерками». В общем, первый секретарь — умный и добрый человек. Мы расстались друзьями, дав друг другу слово работать в тесном контакте.

Однако есть и такие, повторяю, таких очень мало, что смотрят на меня прищуренным глазом... Вот, например, председатель райисполкома. Человек он, конечно, положительный, но уж слишком прямолинеен и резок. Когда я пришел к нему и представился, он долго и пытливо разглядывал меня, словно заморскую диковину, и, наглядевшись вдоволь, ехидно спросил:

— А усы зачем? Для солидности? Сбрей. Не усы, а какая-то грязь под носом.

Я молчал, а он, не стесняясь, говорил обидные слова да еще жалел меня при этом.

— Молод ты еще, ох как молод. Жаль мне тебя.. Поэтому хочу дать три напутственные заповеди. Они слишком примитивны, но если ты за них будешь держаться, то, может быть, просидишь свои три года до следующих выборов. Первая заповедь — не бери взяток, вторая — не залезай в государственный карман и третья — не лапай девок, с которыми будешь работать.

Это уже было слишком. Разве я не знал моральный кодекс судьи? Но я не в силах был вымолвить ни слова и сидел, нагнув голову, униженный и побитый. Сергей Яковлевич подошел ко мне, взлохматил волосы.

— То, что я тебе сказал, пусть останется между нами. Никому ни слова. Понял? Никому... А если тебе потребуется от меня помощь, помогу.

С какой благодарностью я пожал его цепкую и жесткую, как щепка, руку! Так искренне и крепко я еще никому в жизни не пожимал. Я думаю так, что порядочность в человеке ценнее доброты...

Инструктору райкома Ольге Андреевне Чекулаевой, вероятно, лет двадцать пять. Она высока, полновесна, остра на язык и даже красива. Но красота у нее не своя — краденая. К ее сильной ловкой фигуре с сочным голосом ну никак не пристало тонкое, нежное лицо хрупкой белокурой девушки. И чем меньше я стараюсь на нее смотреть, тем больше она насмехается надо мной и язвит. Я все терплю. А что мне остается делать? От нее зависит моя судьба. Я отдан ей в руки на весь период предвыборной кампании. Она развозит меня по району на показ избирателям и расхваливает. А когда остаемся одни, с глаз на глаз, говорит мне, что я кот в мешке, которого навязали ей возить и расхваливать.

Сегодня была моя последняя встреча с избирателями льнозавода. Как и все предыдущие, она прошла в теплой дружеской обстановке, если не считать одного маленького недоразумения.

Собрание шло серьезно, по-деловому, все выступающие говорили про меня правильно и хорошо, а одна старушка даже перестаралась. Ее никто не просил выступать, она сама вылезла к трибуне, заявила жалобным голосом:

— Давайте выберем его в судьи. Парнишка он молодой. Жить ему тоже хочется, — и заплакала. А все, кто был в зале, покатались со смеху. Одна только не смеялась Ольга Андреевна. Положив мне на колено руку, она сказала, чтобы я не волновался, потому как

старуха выжила из ума. А я и не волновался, мне стало очень грустно.

Вот я сижу, пишу, вижу эту плачущую старушку и думаю: «Эх, Семен, Семен, зачем?..»

Я избран почти единогласно. Против меня был всего лишь один голос. И скажу вам по секрету: этот голос мой!

КАК Я СЛУШАЛ ПЕРВОЕ ДЕЛО

Итак, я — народный судья. С нарочитой ленивой солидностью и взволнованный до холодного пота, сажусь за длинный с зеленым сукном стол слушать первое дело. По бокам усаживаются мои заседатели. Солидно кашляют и глухим утробным голосом объявляю, что слушается дело по иску гражданина Сухороброва к гражданину Семенову о возврате собаки, и с трудом отрываю глаза от серой папки. Прямо передо мной сидит плотный, черный, косматый, как цыган, ответчик Семенов и, сжав коленами, держит черненькую, с белыми лапками лайку. Человек и собака не отрываясь смотрят на меня. Только глаза у человека какие-то ошалелые, а у собаки — веселые.

— Истец Сухоробров здесь? — спрашиваю я.

На последней скамье подпрыгивает маленький, в новом дубленом полушубке, мужичок и, как рыба, глотнув воздух, торопливо шпарит:

— Моя собака, гражданин судья. Ей-богу, моя. Кого хошь в деревне спроси, моя.

— Погодите, — останавливаю его. — Вы поддерживаете иск?

Сухоробров ежится и удивленно раскрывает рот.

— Поддерживаете вы иск? — повторяю вопрос, обязательный по процессуальному кодексу.

Сухоробров молчит, и вид у него жалостный, испуганный. Бедняга не понимает, что такое поддерживать иск. А когда я ему объясняю, что это есть то же самое, что требовать возврата собаки, он обрадованно кивает головой.

— Моя собака. Ей-богу, моя. Кого хошь спроси в деревне.

— Семенов, признаете иск? — обращаюсь к ответчику.

Семенов неуклюже встает и, глядя из-под нависших бровей, сипит:

— Брешет он, гражданин судья. Собака моя. У цыган купил за двести целковых.

Вызываю к столу свидетелей, беру с них подписку об ответственности за ложные показания. Для пущей объективности удаляю их из зала в холодные сени и начинаю следствие.

С первого же дня я убеждаюсь, что в суде даже разумный человек внезапно глупеет, теряет способность понимать и думать.

Допрашиваю Сухороброва. Он удивительный болтун и бестолочь... Слова сыплет, как горох из мешка... Долго роюсь в этой бессмысленной словесной каше и, наконец, выясняю, что три года назад у Сухороброва была собачонка, по его выражению, «тютелька в тютельку, как эта лайка», а потом пропала. Сухоробров о ней, конечно, никогда бы и не вспомнил, собака ему была совершенно не нужна. Когда соседский мальчонка Васятка Морозов сказал ему, что видел эту собаку в деревне Рыдалиха у охотника Нила Семенова, Сухоробров, махнув рукой, сказал: «А на кой лях она мне нужна. Только хлеб даром жрет». Потом до Сухороброва дошел слух, что эта собачонка оказалась счастливой добытчицей. Только за один год Нил добыл с ней несметное количество белок, кунниц и перебил всех глухарей в округе. Эта весть, как ножом, полоснула сердце Сухороброва, и он решил во что бы то ни стало отобрать у Нила Семенова свою собаку.

Из ответчика Семенова выжать ничего невозможно, на все вопросы он отвечает одним словом: «брешуть». У его ног, завернув кренделем хвост и наострив уши, лежит «удачливая добытчица» и, зевая, повизгивает. Спрашиваю охотника, правда ли, что собака — необыкновенная добытчица, он, ухмыляясь, мотает головой:

— Да брешуть, гражданин судья.

Это меня настораживает. В ответе Семенова я улавливаю недобросовестность. Мелькает мысль, что, вероятно, цыгане стащили собаку у Сухороброва и продали Семёнову. Я ухватываюсь за эту версию и пытаюсь выяснить, где и когда была куплена Семеновым лайка. Но это мне оказывается не под силу. Ответчик твердит одно и то же: «брешуть». А Сухоробров внезапно все забывает, даже кличку свой собаки.

Допрос же свидетелей окончательно все запутал. Их показания были так противоречивы и нелепы, что в этот день я сделал еще одно открытие: нигде и никто так не врет, как свидетель в суде.

А несовершеннолетний свидетель Васятка Морозов насмешил меня, растрогал, вогнал в пот. Мне представился Васятка озорным веснушчатым курносым мальчонкой. И я был очень удивлен, когда около стола появилась белобрысый верзила в огромной лохматой шапке из заячьей шкурки.

— А шапку-то перед судом надо снимать,— заметил я.

Васька стащил с головы шапку, подержал в одной руке, потом в другой, спрятал за спину.

— Сколько же вам лет?

Васька мгновенно нахлобучил шапку на голову, но, опомнившись, опять поспешно снял ее, зажал в руках и растерянно замигал. Я повторил вопрос. Васька уронил свою шапку, торопливо схватил и спрятал за спину. Я понял, что все внимание у свидетеля сосредоточено на шапке, она мешает ему не только думать, но даже маломальски соображать. Я приказал Ваське положить шапку на скамейку. Но это не привело к лучшему. Без шапки он совсем растерялся и, растопырив руки, как затравленный зверек, смотрел на меня ошалелыми от страха глазами.

— Василий Морозов, сколько вам лет? — в третий раз спросил я.

Васька глотнул воздух и выпалил:

— Не знаю...— и, испугавшись своего голоса, густо покраснел и поддернул ладонью нос.

— Как же ты не знаешь, сколько тебе лет?

Теперь у Васьки покраснели шея и уши, и он, набывшись, буркнул:

— Сколько нам лет, не знаю. А мне шашнадцатый.

Я понял, что говорить с Васькой на «вы» — только зря терять время.

— Ты знаешь эту собаку?

Свидетель радостно кивнул головой.

— Чья же она?

Дяди Петина.

— Какого?

— Да вот этого,— и Васька ткнул пальцем в сторону Сухореброва.

— Почему ты так утверждаешь?

— Не знаю.

— Фу-ты, черт возьми,— прошептал я и почувствовал, что меня начинает трясти, но сдержал себя и спросил как можно мягче:

— Вы раньше видали ее у Сухороброва?

— Видали.

— Кто «видали»?

— Да я.

— Так бы и говорил, что видал,— процедил я сквозь зубы, злясь не столько на свидетеля, сколько на себя, на свои вопросы, на свое неумение вести допрос.

— Когда ты ее видел?

— Давно,— ответил Васька и от себя добавил: — Я тогда еще с ней играл.

Это проливало кое-какой свет, и я обеими руками ухватился за наивное Васькино признание.

— Как же ты с ней играл?

Васька широко и глупо заулыбался.

— Положу на спину и давай брюхо щекотать, а она визжит и кусается.

— А как звали собаку?

— Альма.

С таким же вопросом я обратился к ответчику.

— Брешет он, гражданин судья. Пальмой кличут мою собаку,— ответил Семенов.

Я опять принялся пытаться Ваську.

— Как же пропала у Сухороброва собака?

— Волки сожрали.

— Откуда ты это знаешь?

— Да дядя Петя сказывал.

То, что собаку Сухороброва волки сожрали, подтвердили все свидетели.

— А может быть, ее цыгане увели, а потом продали Семенову? — осторожно спросил я Ваську.

Он охотно подтвердил мою версию, сказав, что цыгане — ужасные воры и хапают все, что попадет под руку.

Теперь оставалось выяснить, чья же, в конце концов, собака у ответчика.

— Вася,— спросил я, указывая на лайку, которая, сощурив глаза и высунув язык, лежала под лавкой,— это та собака или не та?

Васька пристально посмотрел на лайку и пожал плечами.

— Кажись, та.

— Ты говори прямо, та или не та? — строго приказал я.

Васька опять посмотрел на собаку и опустил голову.

— Не знаю.

— Почему? Ведь ты же играл с ней?

Васька молчал.

— Отвечай, какие были особые приметы у дяди Петинной собаки?

Васька молчал, как глухонемой.

— Отвечай, что было у собаки, с которой играл, — сквозь зубы процедил я.

— Хвост, — прошептал Васька.

— Хвост есть у всех собак. Ты мне назови особые приметы, которые бы отличали один индивидуум от другого. Ну что еще было у той собаки?

Васька каким-то чужим голосом выдавил:

— Уши.

Свидетель меня не понимал. Мы разговаривали с ним на разных языках... Я почувствовал свое полное бессилие и не знал, что делать. К счастью, выручили свидетели. Они просто и легко объяснили Ваське, чего я от него добиваюсь. Он бойко, без запинки пересчитал по пальцам все приметы украденной собаки. Они совпали, как уверял Сухоревров, «тютелька в тютельку» с приметами лайки, кроме одной. Васька уверял, что на груди у той собаки Альмы была белая полоска. Семенов поднял собаку-лайку за передние лапы и показал суду собачий живот с белым пятном.

— Замарал полоску, ей-богу, замарал, гражданин судья, — закричал Сухоревров, — прикажите потереть собаке грудь.

Семенов поплевал на ладонь и принялся ожесточенно тереть лайке живот. Она отчаянно царапалась, визжала и лаяла.

Сухоревров дело проиграл, но не сдавался и потребовал проделать фокус. От отошел к двери и стал подзывать к себе собачонку. И она подошла, потерлась о его валенки и покорно уселась у ног.

— Пальма, стерва, подь сюда, — дико закричал Семенов, и собака стремглав бросилась к нему, подпрыгнув, лизнула его волосатое лицо и радостно залаяла.

«Вот дрянь», — зло подумал я и спросил Сухореврова:

— Вы охотник?

— Никак нет, гражданин судья. Мы больше рыбешкой балуемся.

— Так зачем же тебе охотничья собака? Она же тебе совершенно не нужна.

— Знамо дело, не нужна, — согласился Сухоробров.

— Зачем же тогда эту судебную канитель завел?

— Как зачем? — изумился Сухоробров. — Собака моя, ей-богу, моя. Спросите в деревне, и все скажут, моя.

Суд отказал Сухороброву, ссылаясь на то, что нет доказательств, что лайка раньше принадлежала ему. Когда я разъяснял решение суда, Сухоробров согласно кивал головой и поддакивал: «Так, так, понятно, гражданин судья». А потом спросил, как быть теперь с его собакой. Сейчас ее отдаст ему Семенов или он заберет у него с милиционером. Я сказал ему резко и категорически, что собака Семенова, а он на нее никаких прав не имеет. Сухоробров швырнул на пол шапку и пригрозил, что пойдет выше, до Москвы, а животину свою все равно отсудит, и стал настойчиво просить: пока он будет ходить по судам, отобрать у Семенова собаку и наложить на нее арест, чтоб тот ее не продал или нарочно бы не испортил. Это поставило меня в тупик. Требование Сухороброва было законно, но я не знал, как его удовлетворить. Позвонил начальнику милиции и просил помочь мне наложить на лайку арест. Начальник милиции заявил, что у него для арестованных собак нет камер и не положено, и посоветовал оставить временно собаку у хозяина под сохранную расписку до вступления решения суда в законную силу. Но Сухоробров и слушать не хотел о расписке. Этот коротконогий, с лицом скопца, мужичонка, сбросив маску простачка, проявил такую энергию, упорство и знание законов, что я растерялся. Передо мной стоял хитрющий, махровый сутяга, который способен на любую пакость, и я трусливо пошел на уступки. Я предложил истцу с ответчиком найти человека, которому бы они на время доверили на сохранность собаку.

Я ушел к себе в кабинет, закрылся на ключ. Меня бил озноб, болела голова и тошнило. Подмывало желание плюнуть на все это и бежать отсюда не оглядываясь. В дверь постучали. Я открыл и опять увидел их вместе с собакой. Они ввалились в мой кабинет и заявили, что пока они будут тягаться, решили на это время оставить собаку у меня, как у самого надежного в районе человека. Я не знал, что мне делать: плакать или смеяться.

Впрочем, мне было все равно, и я, устало махнув рукой, согласился. И они ушли, оставив мне лайку.

— Фу, наконец-то от них отвязался, — облегченно вздохнул я и прилег на диван. Но меня поджидал новый удар. В кабинет вошла секретарь и спросила, как теперь быть с протоколом. Оказывается, она не записала ни одного слова из того, что говорилось в течение трех часов.

— Вы мне не сказали, что надо записывать. А бывший судья всегда мне говорил и допрашивал медленно, — с наивным упреком пояснила она.

«Протокол — зеркало судебного заседания! Значит, все надо начинать снова!» Я схватился за голову и дико захохотал. Секретарь посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и выскочила из кабинета.

Всю ночь я сочинял протокол судебного заседания, мучительно припоминая, что говорилось истцом, ответчиком, свидетелями. На диване, свернувшись, лежала Пальма. Она вела себя спокойно: зевала и изредка потихоньку повизгивала, а потом начала скулить. Я отдал Пальме свой ужин: ломоть хлеба с маслом. Она понюхала, отошла к двери и залаяла. Я попытался ее успокоить, но она, подлая, оскалилась... Я распахнул дверь и выгнал Пальму в сени и сел дописывать протокол. Но так мне и не удалось его дописать. Через пятнадцать минут Пальма начала драть когтями дверь и сотрясать дом оглушительным лаем. Лай я еще, скрипя зубами, терпел, но когда она протяжно завывала, мне стало жутко.

Около печки на гвозде висела веревка, на которой уборщица носила дрова. Я схватил веревку и, дрожа от страха, открыл дверь в сени. Пальма с радостным визгом бросилась ко мне и уткнулась носом в колени. Я торопливо привязал к ее ошейнику веревку, выволок на улицу и привязал к забору. Закрыв дверь на железный засов, я лег на диван, с головой накрылся шубой и заткнул пальцами уши. «Довольно, — сказал я себе решительно, — утром отправлю собаку с милиционером к ее хозяину».

Однако моему благоразумному намерению не суждено было свершиться... Меня разбудил визгливый голос уборщицы Манюни. Она выскребала железной лопатой смерзшийся собачий помет и отчаянно ругалась. Я вспомнил о собаке, быстро оделся и выбежал на улицу... и нашел у забора одну лишь веревку с оборванным концом. Все уверяют, что это дело волков. Ничего нет удивительного,

волки здесь до того обнаглели, что по ночам привольно разгуливают по поселку. Я же над этим не задумываюсь. Не все ли равно, кто увел собаку: волки ли, человек ли, а может быть, она сама убежала,— отвечать-то теперь за все придется мне.

УЗОРСКИЕ ЮРИСДИКТЫ

Суд тесно связан с прокурором, милицией и адвокатом. Есть еще МГБ. Эта организация занимает в районе особое положение. Она никому не подчиняется, ни перед кем не отчитывается, и никто толком не знает, чем ее люди занимаются. Она полна мрачной тайны. Официально — ведет в районе борьбу с врагами народа и шпионами. Но вот я уже проработал полгода и не встретил ни одного врага, да и вряд ли встречу.

Здесь народ очень добрый и преданный, он готов отдать Родине все, и отдает все, вплоть до последнего зерна с луковицей, а если потребуется, и жизнь. А что касается шпионов, то им здесь делать совершенно нечего, а если бы какой-нибудь захудалый шпионишка и затесался в наш район, то он чувствовал бы себя здесь как дома. Эмгэбэшники — ребята отчаянные и самоуверенные. Метод их работы до примитивности прост: выстукать и выпытать.

Как-то зимой, когда я ужинал в пустой полутемной чайной, ко мне подошел лейтенант в фуражке с синим околышем и пожелал познакомиться с судьей, а по этому случаю и выпить. Я заказал водки, и мы выпили... Разговор не клеился. Лейтенант предложил повторить. Мы еще выпили, и — разумеется — за мой счет. Лейтенант, не стесняясь, распорядился моим карманом, как собственным, и чем больше выпивал, тем становился развязнее и наглее.

— Слушай, судья,— внезапно переходя с «вы» на «ты», откинувшись на спинку стула, небрежно процедил он сквозь зубы,— о чем вы это шепчетесь по ночам с Шиловым?

Вопрос был до нелепости странным, и я не знал, что и ответить. Он же принял мое смущение за испуг и требовательно постучал по столу вилкой.

— Так зачем же вы ходите к председателю исполкома? Что у вас за такие важные дела?

Я действительно частенько заходил к Сергею Яковле-

вичу сыграть партию-другую в шахматы. Я хотел было грубо обрезать его, но в голове мелькнула озорная мыслишка: покуражиться над лейтенантом. Я, пожав плечами, небрежно махнул рукой.

— Да так, есть у нас с ним кое-какие делишки.

Лейтенант насторожился, оглянулся назад и, перегнувшись через стол, доверительно зашептал:

— Пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Поверьте мне, товарищ Бузыкин, не о нем, а о вас в первую очередь заботимся. Честно, хотим вас оградить от дурного влияния. Скажите, какие вы с ним разговоры разговариваете?

Я по-детски надул губы и, глядя исподлобья, буркнул:

— Скажи вам, а потом меня — к стенке и шлепнете, как муху.

— Честное слово офицера, коммуниста, волоса на твоей голове не тронем, — горячо заверил меня лейтенант.

Я мучительно придумывал, что же ему сказать такое ядреное, глупое, чтобы лейтенанта сшибло с ног. Я помянул лейтенанта пальцем и, когда он подставил к моим губам ухо, рявкнул густым басом на всю столовую:

— Готовим государственный переворот!

Если и не лопнули барабанные перепонки у лейтенанта, то лишь потому, что они, наверное, крепче его офицерского лба. Лейтенант с минуту, выпучив глаза, обалдело смотрел на меня, как на сумасшедшего, а потом загоготал.

— Комик... артист... ну и ну, ай да судья, — бормотал он, задыхаясь от смеха. Потом неожиданно резко оборвал смех и погрозил пальцем: — Ты смотри, не очень-то распускай язык, а то попадешь на такого, что и за правду эту ерунду примет.

— Да разве я не вижу, с кем имею дело, — смиренно опуская глаза, ответил я.

— Хитрец, хитрец, — опять захохотал лейтенант и, насмеявшись вдоволь, серьезно заметил: — А с этим Шиловым ты поосторожней. У него отец в эсерах ходил.

На это я ему сказал, что Володарский с Урицким тоже ходили в эсерах. На что лейтенант не менее резонно отвечал, что нельзя сравнивать ананас с пороссячьим хвостом, хлопнул меня по спине лапищей, назвал славным парнем с чистой биографией и предложил выпить. У меня больше не было денег.

— Вот чудак! — воскликнул лейтенант. — Займи у меня!

Мне показалось, или я ослышался; или лейтенант^с просто весело шутит. Но глаза у него были серьезные, и он без тени смущения повторил:

— Займи у меня. А с полочки отдашь.

Меня передернуло, хмель и злоба бросились в голову, все закружилось, и из глаз покатились желтые кольца. Когда я выходил из столовой, меня бросало из стороны в сторону, а лейтенант смеялся и говорил официантке:

— Во как набрался. А еще народный судья, выборный человек. Нехорошо. Очень нехорошо.

Когда я попытался рассказать об этом случае начальнику отдела МГБ майору Угрюмову, он грубо оборвал меня и с угрозой предупредил, чтобы я бросил разводить клевету на их органы.

Отчаянные ребята эмгэбэшники. Им ничего не стоит безнаказанно оскорбить судью, унижить прокурора и даже прикрикнуть на секретаря райкома.

Начальник милиции капитан Фалалеев Фалалей Фалалеевич — личность незаурядная и любопытная. Он высок, тяжеловат, широкоскул; у него татарское лицо и добрейшая русская душа. Фалалеев, пожалуй, самый некультурный и малограмотный начальник в нашем районе. И это его очень угнетает. На образованных людей он смотрит, как на идолов, страшно им завидует и становится совершенно беспомощным в их обществе. Мне довелось вместе с ним и прокурором праздновать Новый год в компании врачей. Он боялся, как бы не оконфузиться в интеллектуальном обществе, и всю ночь до утра, не вылезая, просидел за столом, красный, потный, совершенно трезвый и голодный. К простому люду Фалалеев относится с добродушной грубостью и зверски ненавидит воров с хулиганами. Свою карьеру Фалалеев начал с рядового милиционера. Разумеется, институтов, правовых школ он не кончал, однако в юридических вопросах Фалалей Фалалеевич разбирался не хуже нас, ученых юристов.

...Как-то мы с прокурором завели длинный и нудный разговор о мародерстве; заспорили, что является объектом преступления при ограблении трупов, находящихся на нейтральной полосе. Я доказывал, что личное имущество убитого солдата. Прокурор утверждал, что государственное имущество, поскольку после смерти солдата все остается государству. Фалалеев, по обыкновению, слушал нас внимательно, потом вмешался в спор и убедительно дока-

зал, что в данном случае объектом преступления является воинская дисциплина.

— Потому что нейтральная полоса — это ничейная земля, — говорил он медленно, с трудом подбирая слова и страшно потея от напряжения, — значит, и сапоги тоже ничейные. А солдат, который пытается стяжать эти ничейные сапоги, нарушает дисциплину, свой воинский долг.

Как работник капитан цены не имеет. В районе не было случая, чтобы преступление прошло не раскрытым. И в этом в первую очередь заслуга Фалалеева.

На второй день праздника рождества на окраине глухой деревушки был найден убитый моряк, прибывший в соседнее село на побывку. Рядом с ним валялось три березовых кола. И никаких других доказательств. По подозрению взяли из деревни трех парней, которые гуляли вместе с моряком. Но они начисто отрицали свою причастность к убийству. Следствие вела прокуратура. Были опрошены жители не только этой деревни, но и всех окрестных сел, и ничего, кроме акта судебно-медицинской экспертизы, подтверждающей, что убийство было совершено при помощи найденных березовых кольев, приобщить к делу не смогла.

Прокурору грозил жесточайший нагоняй. Совершенно подавленный, он пришел к Фалалееву и пригласил меня посоветоваться, что делать. Мы поговорили и решили, что дело на языке юристов «дохлое» и ничего не остается делать, как сдать его в архив. А задержанных ребят выпустить. Прокурор тяжело вздохнул, согласился и с ненавистью сунул дело в серой папке в свой великолепный желтой кожи портфель. Мы уже с ним вышли на улицу, когда нас окликнул дежурный милиционер и попросил вернуться к начальству. Мы вернулись. Фалалеев стоял посреди своего кабинета, таинственно улыбался, скреб затылок.

— А что ты мне пообещаешь, прокурор, если я это дело на твоих глазах раскрою? Сейчас мы провернем один фокус: авось клюнет, — капитан загадочно улыбнулся и принялся раскалывать дело.

Он накатал валиком на пальцы черную краску, взял три чистых листа бумаги и на каждом сделал по жирному отпечатку пальцев. Потом вызвал дежурного милиционера, приказал ему принести в кабинет «арестованные» колья и доставить одного из парней.

Милиционер ввел жилистого, с острым носом, с виду

лет семнадцати подростка. Несмотря на тяжесть преступления, в котором его подозревали, держал он себя дерзко, самоуверенно и сразу же заявил прокурору претензию.

— Прокурор, на каком основании ты меня закатал в этот клоповник?

— За убийство,— обрезал его капитан.

— Чего это? А где доказательства? Меня не напугаешь. Законы тоже знаем, выпускай немедленно, а то протестовать начну,— сказал подросток, лихо плюнув на пол.

Фалалеев, держа за спиной лист бумаги с оттисками собственных пальцев, вплотную подошел к подростку.

— Ты хочешь иметь доказательства? Так вот они!

Раньше я не верил, а сейчас увидел, как сами по себе у человека шевелятся на голове волосы. Он смотрел на бумагу и прямо на наших глазах серел и старился.

— Что, узнаешь свои пальчики? Свеженькие, с этих колышков сняты,— ласково и нежно пояснил капитан.

— Сволочи вы все,— прошептал преступник и горько заплакал.

Фалалеев дал ему выплакаться, а потом спокойно приказал:

— А теперь колись до конца... Подай инструмент, которым ты орудовал.

И он подал увесистую с толстым концом палку.

— А остальные чьи, Садиков? — живо спросил прокурор.

— Ничьи, я их нарочно подбросил,— угрюмо сказал Садиков и сел без разрешения на стул.

— Значит, один убил?

Садиков вместо ответа опустил голову.

— А за что же ты его убил? — поинтересовался я.

Садиков поднял на меня прозрачные, как стекло, глаза.

— А так... ни за что... за потаскуху Наську Косоглазую. Хотел на ней жениться, а она спуталась с этим... — он длинно и матерно обложил убитого матроса.

Когда преступника увели, капитан хитро подмигнул мне.

— Видал, судья, как работает туполобая милиция? А ведь сознайся, считал ты меня туполобым? Ладно, не оправдывайся. Все нас считают такими, впрочем, я и не отрицаю и не обижаюсь,— грустно заметил Фалалеев и устало махнул рукой.

На редкость интересный человек капитан Фалалеев.

Милиция давно ему надоела, но держится он за нее обеими руками. У Фалалеева куча ребятишек, двое стариков и жена — мать-героиня. От родов, бесчисленных абортот и постоянной беспричинной ревности она высохла и пожелтела, как соломина. В минуты лирического настроения Фалалеев мечтает о должности начальника тюрьмы или его помощника, впрочем, он согласен, на худой конец, стать простым опером.

— Засяду я за каменные стены,— говорит он в таких случаях, улыбаясь,— закроюсь на все сто запоров и собак спущу. Вот тогда пусть она попробует меня взять.— Под словом «она» он имеет в виду свою половину, которую капитан не терпит и оттого почти круглые сутки сидит в милиции: здесь он работает, по вечерам играет с дежурным в шашки, даже иногда ночует.

При случае Фалалей Фалалеевич заходит ко мне, как он выражается, покалякать с «энтеллектуальным» человеком. И я охотно калякаю с ним и о политике, и о литературе, и даже о музыке. Особенно Фалалеев любит разговоры на юридические темы... Он, не моргнув глазом и не раскрыв рта, часами способен слушать про Анатолия Федоровича Кони и до слез смеяться над анекдотичными выкрутасами адвоката Плевако.

— Ах, тот Плевакин, ну и стерва порядочная,— бормочет он и, вздохнув, грустно добавляет: — Завидую вам, энтеллектуальным. Все-то вы знаете.

Когда я предложил почитать книгу о знаменитых юристах, то он наотрез отказался, заявив:

— Чтобы читать книги, надо иметь лошадиную память, а у меня после контузии в голове ветер гудёт.

Наши душевные беседы, как правило, заканчивались жалобами Фалалеева на свою собачью работу и мечтами о привольной и спокойной жизни в тюрьме.

В поселке ходят упорные слухи, что капитана Фалалеева собираются куда-то перевести. Очень жаль, если это случится. Фалалеев — опытный работник, и перевод его — слишком дорогая потеря для района.

Есть слова, которые так и просятся, чтобы их произносили громко, например: «прокурор», «адвокат». Но когда я познакомился со своим адвокатом, то с тех пор это слово выговариваю чуть ли не шепотом. Есть люди, о которых много не скажешь. А о моем адвокате вообще нечего сказать. Невероятный тип юриста, да и только. Он наделен природой такими чертами характера, которые совер-

шенно не нужны адвокату. Единственно, что еще в какой-то степени может соответствовать его должности, так его фамилия, красивая и звонкая — Илларион Парамонович Санжеровский. Во всем же остальном он безлик, бесцветен, как полевая мышь.

В канцелярии суда около печки его рабочее место: стол, стул и чернильница. Каждый день ровно в десять он является на службу с огромным, весом в полпуда, портфелем. Положив на стол портфель, адвокат принимается разматывать свой желтый шарф. Этот шарф знаменит своими невероятными размерами и выносливостью. Зимой и летом он бесменно висит на шее адвоката, как хомут. В районе когда-то адвоката так и звали «хомутом». Потом эта кличка с течением времени видоизменялась и совершенствовалась, пока не обрела совершенно новое нелепое звучание: «Халтун». Так его все и зовут: в глаза и за глаза. Смотав с шеи шарф, адвокат аккуратно складывает его и, как вожжи, вешает на гвоздь. Потом, зябко съжившись, долго трет руки, все равно — будь в канцелярии собачий холод или же невыносимая жара. После этого Халтун садится за стол и начинает готовиться к приему клиентуры. Разгружает свой портфель, в котором уместилась юридическая литература за все годы Советской власти. (Кстати, пользоваться этим богатством Халтун до сих пор не научился. Как-то мне до зарезу потребовалось толкование пленума Верховного суда по одному аналогичному делу. Он весь день потратил на его поиски и не нашел. А постановление это находилось в обычном комментированном кодексе.) Разложив по стопкам законы, указы, постановления, Халтун кладет перед собой чистый лист бумаги, берет в руки карандаш и замирает. Сидит он час, другой, третий — никого. На измятом старостью, с маленькими скользкими глазами, лице адвоката ни смущения, ни волнения: оно спокойно и равнодушно. Он давно знает, что, сиди он хоть сто часов подряд не вылезая, к нему все равно никто не придет. Халтун — на редкость безавторитетный адвокат.

Первое время я старался помогать ему. Всех, кто обращался ко мне по всем юридическим вопросам, и особенно защиты, я отсылал к адвокату Санжеровскому. И меня всегда спрашивали: «А кто это такой?» — и, узнав, отчаянно махали руками: «Нет, только не Халтуна».

В процессах он выступает лишь в тех случаях, когда сам суд назначает защиту, которая обычно в таких слу-

чаях нужна подсудимому не больше, чем мертвому свинцовые примочки. Говорит он солидно, как и подобает человеку его положения, но слова подбирает тяжелые, вычурные и с таким трудом, словно вытаскивает их из потайного кармана, и речь свою он всегда заканчивает так: «Прошу суд снизить меру наказания моему подзащитному», — независимо от того, виновен ли подсудимый или не виновен. Все остальное время он сидит у печки за своим столом. И когда меня отсюда выгонят, он все равно будет сидеть; придет другой, и того пересидит, как пересидел всех судей до меня.

Поэтом надо родиться. Магунов Виктор Андреевич родился прокурором. Он старше меня всего лишь на три года, а кажется — на все десять. Высокий, полный, рыхлый, с холодным скучным лицом и очками вместо глаз, он невольно вызывает страх и уважение. Магунов строг, но не зол, по-своему добр, но доброта эта скорее пугает, чем радует; справедлив, но справедлив, как сам закон. Он ни на кого не жмет, но все чувствуют тяжесть его руки.

Прокурор, как все смертные, наделен и слабостями, и пороками, но скрывает их так умело и ловко, что простым глазом не заметишь. А самое главное — Магунов умен, чертовски упрям и настойчив. Я уверен, он добьется высокого положения, по крайней мере, должность областного прокурора ему обеспечена.

Одно время мы дружили, правда недолго, а потом разошлись, чтоб навеки стать непримиримыми врагами.

Кажется, это было на третий день после выборов. Я тогда очень много и упорно работал: дни и ночи просиживал за столом, подготавливая дела к слушанию. Изучая к предстоящему процессу одно очень спорное арестантское дело, я обнаружил, что протокол об окончании следствия не был подписан обвиняемым. Нарушение это было чисто формальным, но оно давало мне повод прямо без судебного разбирательства направить дело прокурору на доследование.

Я решил на первых порах не портить отношений с прокурором, которого еще не знал. Взяв дело под мышку, я отправился в прокуратуру исправить ошибку, да и заодно познакомиться с Магуновым. Секретарь доложила о моем приходе, и тотчас я был принят. Когда я вошел в кабинет, Магунов стоя разговаривал по телефону. Ви-

димо, разговор для него был очень важный и обнадеживающий. Он растягивал в улыбке рот, повторял одни и те же слова: «Благодарю, слушаюсь, спасибо». Не отрывая от уха трубки, он широким жестом разрешил мне сесть в кресло около стола и вяло пожал мне руку.

Закончив приятный разговор, Магунов заложил руки за спину, прошелся по кабинету, сказал: «Так-с, неплохо и даже очень неплохо», — сел за стол, снял очки, протер их безукоризненно чистым платком и, рассматривая свои холеные руки с пухлыми, как сосиски, пальцами, спросил:

— Ну так как дела, Фемида?

Я сказал, что так себе, поначалу трудновато приходится. Прокурор громко чихнул, промокнул клетчатым платком рот и заметил, что это естественно, так и должно быть, но дело не в этом. Откинувшись на спинку стула, он снял очки, поиграл ими, посадил на место и, пристально разглядывая меня, мягко спросил:

— Вы по призванию или по наитию стали юристом?

Я резко ответил, что в этом я ни перед кем не намерен исповедоваться. Он высоко поднял брови, посмотрел на меня поверх очков и улыбнулся.

— Жаль, очень жаль, молодой человек.

— Это почему же вам жаль? — грубо спросил я.

Он же моей грубости противопоставлял утонченную оскорбительную вежливость.

— Дорогой мой, юристом, как и поэтом, надо родиться. А я в вас этого не заметил. Простите, но не заметил, — Магунов широко развел руки и поклонился.

Мне стало смешно: прокурор дал маху, он переиграл, как плохой артист. Это как рукой сняло всю злобу и обиду, я принял беззаботный веселый вид и сказал, что разные бывают поэты, а юристы — тем более, потом положил на стол дело.

— Виктор Андреевич, здесь вкралась небольшая ошибочка, — сказал я, как бы между прочим.

Магунов надменно выпрямился.

— Что? Какая ошибочка?

— Посмотрите сто первый лист, — небрежно кивнул я.

Прокурор, морщась, полистал дело и вдруг ахнул.

— Бог мой! Да это же прямой повод к отмене! — потом бросил на меня встревоженный взгляд. — Семен Кузьмич, а вы по нему подготовительное заседание проводили?

Я сказал, что только из-за этого и не проводил. Магунов облегченно вздохнул и заверил меня, что этот казус он сегодня же исправит. Он вызвал следователя, прямо на моих глазах сделал ему жесточайший нагоняй и приказал немедленно отправиться в город, в тюрьму к арестанту подписать протокол. После этого мы разговорились, но уже по-другому, по душам, и прокурор пригласил меня заглядывать к нему вечерами на огонек.

Надо отдать должное, Виктор Андреевич — прекрасный собеседник. Он хорошо образован, начитан, очень не равнодушен к искусству, особенно к театру, когда-то был актером-любителем и по секрету признался мне, что и сейчас с удовольствием поломался бы на сцене. Я ему верю: по крайней мере, рассказы Чехова он читает превосходно. Но это еще не все достоинства прокурора. Он великолепный преферансист. И играет с умом: чтобы не потерять партнеров, иногда и проигрывает.

Однако ни общность наших взглядов на искусство, ни преферанс не смогли скрепить нашу дружбу. Вскоре мы разошлись. Из-за чего?.. Из-за палочки.

Палочка — условный знак, а фактически — показатель работы. Судье она ставится только за отмененный приговор. Прокурору — и за необоснованный протест, и за оправдательный приговор, а также и за отмененный, если он его не опротестовал.

Подсудимый думает, что он — главная фигура в процессе. Как он близорук! Впрочем, это очень хорошо. Если бы подсудимый подозревал, что не он главный, а невидимая неосязаемая палочка, и что из-за нее между прокурором и адвокатом происходят ожесточенные словесные бои, и что суду совершенно безразличен он как человек, лишь бы так решить дело, чтобы не получить палочки, то ему стало бы жутко.

Прокурор всегда требует подсудимому осуждения, даже если он не виновен, и очень редко, в исключительных случаях, отказывается от обвинения. Для этого надо быть великодушным. А в наше время великодушные — вещь старомодная и смешная. А кому хочется прослыть смешным? И уж конечно, не прокурору.

Начальство отличает Магунова и ставит в пример другим как работника, проводящего строгий прокурорский надзор. Что верно, то верно. Ни одно правонарушение не проходит безнаказанным. По количеству уголовных дел наш район переплюнул все районы области. У

Магунова болезненная страсть заводить уголовные дела.

В начале мая он завалил суд делами о самовольном захвате колхозниками земли. Их набралось около двух десятков. Самовольный захват выражался в том, что при контрольном обмере приусадебных участков было обнаружено, что у этих колхозников они увеличились сверх норм — от двух до трех соток. На суде все колхозники в один голос отрицали свою вину. Суд определил создать авторитетную комиссию по вторичному обмеру их приусадебных участков. И оказалось, что первый обмер был произведен неправильно. В результате по всем делам были вынесены оправдательные приговоры. И Магунов в горячке все их опротестовал. Но все протесты были сняты областным прокурором. Таким образом, Магунов сразу схватил охапку палок и вдобавок еще — строгое предупреждение. И наша дружба размякла и стала скользкой, как глина после дождя. А следующее дело, по которому прокурор получил полное удовлетворение, а я — палочку, сделало нас врагами.

На скамье подсудимых — семнадцатилетняя девушка с милым грустным лицом и яркими, как вечернее солнце, волосами. Свет ее волос, кажется, течет по фигуре чистыми переливчатыми струями. Ее можно было бы назвать прелестной, если бы не большие красные руки, которые она старательно прячет за спину, и недевичьи ноги в грубых кирзовых сапогах. Она преступница: работая почтальоном, присвоила пособие в пятьдесят рублей, которое получала старушка-колхозница за пропавшего без вести на фронте сына. Ей грозит семь лет исправительно-трудовых лагерей.

На соседней скамье сидят: ее мать, вялая безликая женщина, а дальше рядком расселись, как цыплята, братья и сестры подсудимой, такие же ярковолосые, босоногие, беззаботно веселые, словно явились не на суд, а в кукольный театр. На краешке скамейки примостилась обиженная старушка. Она сегодня выступает как свидетель и потерпевшая. Но эта роль ей явно не по душе, да и пришла она сюда по строгому требованию прокурора. Чтобы как-то разжалобить судей, старушка хнычет и трет глаза какой-то черной тряпкой.

Поддерживает обвинение Магунов, защищает — Халтун. А дело, как говорят, проще пареной репы. После судебного следствия, которое устанавливает, что подсудимая на присвоенные деньги купила чулки, стеклянные бусы,

губную помаду и крошечный флакончик духов, прокурор кратко и логично излагает социальную сущность преступления, его вред и пагубные последствия, а потом просит суд с учетом смягчающих обстоятельств, как-то: глупость и вопиющая бедность подсудимой, определить ей полтора года лишения свободы. Мать мешком валится на пол, протягивает руки и голосит, как на похоронах: «Пощадите ее, гражданин судья! Одна она у нас корми-и-и-лица!» Ее дружным хором поддерживают ребятишки.

Старушка тоже плачет и причитает: «Простите ее. Уж бог с ними, с деньгами-то. Не нужны они мне. Не по своей воле взяла. Нужда заставила. Уж больно они бедные-то. Уж так бедны, и словом не сказать».

Прокурор съежился, опустил голову и не может оторвать от пола глаз. Халтун спокоен и невозмутим: за свое многолетнее сидение в суде он ко всему привык.

Суд предоставляет подсудимой последнее слово. Она встает, пристально смотрит на прокурора, потом на меня и удивленно протягивает: «Неужто посадите? — и, вздохнув, с легкой грустью добавляет: — А мне ведь все равно. Небось в тюрьме-то хуже не будет».

В комнате тайного совещания на этот раз не было оживленных споров. Чувствовалась какая-то недоговоренность, неловкость, подавленность. Мои любимые заседатели — колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин — философ, моралист, и районный санинспектор Лидия Михайловна Афонина, черноглазая насмешница и хохотунья, сидят хмурые, стараются не смотреть друг на друга. Ухорин беспрерывно курит злой вонючий самосад. В комнате от него настолько тяжелый и спертый воздух, что подкатывает тошнота. Я распахиваю окно. В комнату врывается вместе с беззаботно веселым свистом скворца весенний ветерок.

— Ну так как же решим, товарищи заседатели? — наконец с трудом подаю я дежурный вопрос.

Ухорин, швырнув в окно окурок, спрашивает:

— А что, разве требование прокурора для нас обязательно? — Я поясняю, что прокурор от нас вообще ничего требовать не может. Суд ни от кого не зависим и подчиняется только закону.

— Тогда надо оправдать, — решительно заявляет Вадим Артемьевич.

— Нельзя, преступление доказано. Закон нарушен.

И вдруг резко, крикливо заговорила Лидия Михайловна:

— Закон — не столб... И вообще... Если бы я знала, что такое дело, то ни за что бы не пришла. Если вы ее думаете посадить, то сажайте, но приговора я ни за что не подпишу.

Лицо ее покрылось красными пятнами, а на глазах — слезы. Я понял, что она свою угрозу наверняка выполнит. Я сел и быстро написал приговор с условным осуждением. Заседатели с радостью его подмахнули.

Магунов в тот же день затребовал дело и подшил к нему протест на мягкость наказания. Протест его был удовлетворен: областной суд приговор отменил, мне поставили палочку, а дело переслали на новое рассмотрение, но уже в другой суд.

Через две недели прокурор по телефону мне радостно сообщил:

— Слыхал, Бузыкин, почтальону-то твоему размотали всю катушку. А виноват в этом только ты. Я тогда просил полтора года. А ты не послушался. Жаль девочку, очень жаль, семь лет получила, бедная.

Он еще что-то стал говорить о согласованности, о контакте в работе, но я не дослушал и повесил трубку.

После этого я стал задумываться над жизнью, и мне стало невыносимо тяжело. Ведь кому не известно, что жизнь только тогда хороша или, на худой конец, сносна, когда о ней не думаешь.

С прокурором теперь не разговариваю, а если это и приходится делать, то только на официальном языке. Пакостим друг другу на каждом шагу. Но все это не выходит из рамок официальности и закона. А работать трудно, ох, как трудно!

ЗАСЕДАТЕЛИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ

Заседатели наделены всеми правами судьи, но пользуются ими с большой неохотой и почти не несут никакой ответственности. Во всем и всегда виноват судья, даже если он никакого отношения к делу не имеет.

Всего у меня по району шестьдесят заседателей. И только на десяток из них можно рассчитывать как на судей. Остальные в полном смысле слова — заседатели. Они заседают, да и только. В суде сидят строгие, с вытянутыми лицами, словно перед фотографом. Так они способ-

ны просидеть пять часов подряд, не моргнув глазом, и не сказав ни одного слова.

Разобрав дело и удалившись в комнату тайного со-
вещания, спрашиваю:

— Ваше мнение, товарищи судьи?

Они молчат, улыбаются, словно бы мой вопрос ника-
кого отношения к ним не имеет. Начинаешь им разъяснять,
что они — такие же судьи, как и я, и их голос равноце-
нен голосу председательствующего. Они внимательно слу-
шают, поддакивают, согласно кивают головами. Убедив-
шись, что наконец-то они поняли свои права, опять
задаю тот же вопрос. Они переглядываются, пожимают
плечами и заявляют в один голос:

— Как вы рассудите, гражданин судья, так пусть и бу-
дет. Только не очень уж строго.

Эта тупая покорность поначалу меня возмущала и коро-
била, но вскоре я к ней привык. Сочиняю приговор, и
заседатели, не читая, охотно подписываются под ним.

Такова основная масса заседателей. Но среди них по-
падают строптивые, которые идут не только против зако-
на, но и здравого смысла. Был случай, когда заседатели
настояли на своем и заставили подписать явно неспра-
ведливый приговор. Я долго подозревал их в подкупе, но, как
выяснилось, — это были люди с характером идти всему
наперекор. Я больше их не привлекал к слушанию дел.
Но вот однажды мне все-таки пришлось вспомнить о
них.

Под суд попал председатель колхоза «Труд Ленина»
Илья Антонович Голова. Нас с ним сблизила и спая-
ла охотничья страсть. А познакомил меня с Головой пред-
седатель райисполкома Сергей Яковлевич Шилов.

В первый год работы я старался не за страх, а за
совесть: до полуночи засиживался за изучением судебных
дел. Как-то вечером раздается телефонный звонок. Узнаю
голос Сергея Яковлевича.

— Судья, ты охотник? — спрашивает он и просит сроч-
но зайти к нему в райсовет.

Прихожу и вижу: сидит у него курчавый, с выпучен-
ными озорными глазами мужик. Сергей Яковлевич кивает
на него и улыбается.

— Знакомся. Сам Голова — знаменитый председатель
колхоза «Труд Ленина».

Мы познакомились. «Ну и что дальше» — думаю я. —
К чему это знакомство?»

Шилов, посмеиваясь, посматривает то на меня, то на Голову.

— Ну что, Илья Антонович, возьмем парня?

— Куда? — удивленно спрашиваю я.

— За глухарем, — отвечает Шилов таким тоном, словно бы речь шла о каком-то пустяке. И не дав мне ни опомниться, ни возразить, что я не только не охотник, но даже и ружья в руках ни разу не держал, Сергей Яковлевич приказывает, чтоб я через час был готов.

На исполкомовском «газике», по сквернейшей дороге, в такую глухую темень, хоть ножом режь, мы выехали в колхоз «Труд Ленина». Всю дорогу Шилов с Головой хвастались друг перед другом своими охотничьими удачами. Я же с ужасом думал о походе по болоту за глухарем. На мне было легкое осеннее пальтишко и ботиночки с калошами. Но мои опасения были преждевременны. У Головы нашлось все: и резиновые сапоги-заколеники, и куртка, и ружье. Илья Антонович отдал мне все лучшее. Когда я опоясался тяжелым патронташем, сбоку подвесил новенький ягдташ и закинул за спину двухстволку, Сергей Яковлевич насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Тартарен из Тараскона.

Я, разумеется, никого не убил. Шилов с Головой стукнули по великолепному глухарю. Я им не завидовал, не раскаивался, да и сейчас не раскаиваюсь в этой поездке. Я видел, я слышал весеннее утро в лесу. Раньше я только читал о нем в книжках. Но какое может быть сравнение!

Когда мы возвращались с Сергеем Яковлевичем в Узор, он спросил:

— Ну и как?

Я глубоко вздохнул и закрыл глаза от удовольствия.

— Чудесно!

— Да... Ты прав. Чудесно! Лучше и не скажешь.

Охотничий зуд не давал мне покоя. Я не утерпел, позвонил в колхоз Голове, договорился с ним на неделю провести зорьку в лесу. Он с радостью согласился, и я принес Васюте тяжелого глухаря. Васюта взвесила его на безмене. Глухарь без малого весил пятнадцать фунтов. После этого я зачастил к Илье Антоновичу. Потом обзавелся собственным ружьем. С Головой я ходил и на зайцев, ходил и на кабана, и даже раз мы с ним завалили семнадцатипудового лося.

Голову знает весь район. Да еще бы не знать. В войну

он командовал партизанским отрядом. «Отчаянный мужик», — говорят о нем. У Ильи Антоновича два ордена Отечественной войны, орден Красного Знамени и куча медалей. Характер у Ильи Антоновича горячий, резкий. Однако душа в нем добрая и даже возвышенная. В общем, это ярко выраженная натура вольнолюбца. Работая председателем, встречая на каждом шагу несправедливость, насилие над своей волей, Голова ожесточился и из доброго, хотя и взбалмошного человека, превратился в отчаянного гордеца, забияку, способного на самую безрассудную выходку. Но при всем этом он не утратил своих добрых чувств: ему совершенно чужды месть и злоба. Видимо, поэтому он завоевал любовь среди простого народа и снисхождение у начальства.

Голова горяч, но отходчив. Был случай, что он чуть не пристрелил меня наохоте. По неопытности я подбил глухарку. У Ильи Антоновича от гнева совсем вывалились из орбит глаза, он схватился за ружье и так заорал, что перепугал всех птиц в лесу. А через пять минут сам же успокаивал меня, чтоб я не очень-то переживал, потому что со всяким бывает, и привел мне пример, как он сам из озорства пальнул по дятлу. «Так батяка, — рассказывал он, — взял этого дятла и ну мне по морде. И до тех пор хлестал, пока всего дятла не измочалил. С тех пор я понапрасну ни по одной птахе не стрельнул. А стреляю я во как, смотри...» Он мгновенно вскинул ружье и хлопнул на лету сойку.

— Видал-миндал, как надо стрелять?!

Голова подобрал сойку и отрезал у нее лапы, сунул их в карман.

— Зачем они тебе?! — спросил я.

— Для лицензии. Настреляю сто пар, сдам в охотничье общество и получу лицензию на отстрел лося.

Работу председателя Голова не любит и не дорожит ею. У него в жизни три страсти. Наипервейшая — охота. Вторая страсть — предаваться воспоминаниям по былым, незабвенным делам партизанским. Если ему попадал в лапы слушатель (а мне-таки приходилось не раз), он всю ночь напролет рассказывал ему о вероятных и невероятных подвигах своего отряда. Когда слушателей нет, он вспоминает сам для себя. На него тяжелым грузом наваливается томительная и сумбурная бессонница. Перед широко открытыми, выпуклыми, как клупы, глазами кинолентой бегут ожесточенные бои, дерзкие налеты на железнодорожные станции,

походы, переправы, рукопашные схватки и прочие жутко интересные штуки. Он то смеется, то скрежещет зубами и, вскакивая, ругается и проклиная себя. «У, черт, дурак, баранья голова, как глупо я упустил тогда этот эшелон с танками. Если б я его свалил — наверняка был бы Героем». Его разгоряченный мозг дорисовывает картины боев и придумывает новые. Это привело к тому, что теперь Илья Антонович и сам не может разобраться, где в его рассказах правда, а где вымысел.

Есть еще одна страсть, которой он страшно стыдится, хотя в этой страсти ничего позорного нет. Илья Антонович очень любит макароны. Когда они случайно появляются у нас в поселке, Голова все бросает и мчится в Узор за макаронами. В деревнях спать ложатся ранним вечером. И если в глухую ночь в Березовке у председателя горит свет, а из трубы валит дым, все знают, что Илья Антонович жарит макароны.

Как председатель Голова очень посредственный, а как хозяйственник и гроша ломаного не стоит. Райком его терпит, поскольку Голова — фигура знаменитая и поскольку есть председатели и еще хуже Ильи Антоновича.

У него дом, огород, корова, овцы и другая живность. Но все это — дело рук и ума его супруги. Самого же его ничто не интересует, кроме охоты. Случись, умри супруга, он все на второй день распродаст, похерит и уйдет куда глаза глядят.

Колхозом он командует, как командовал когда-то партизанским отрядом: дерзко и решительно. А по существу, руководит колхозом, да и самим Ильей Антоновичем, его зять — счетовод Иван Тимофеевич Лобанов, человек очень хитрый и толковый. А председатель в его руках — просто погоняло.

Встает Голова раньше всех в колхозе, с петухами. Ружье — за спину, на лошадь и в лес. К началу трудового дня возвращается прямо в правление. Там счетовод ему вручает листок бумаги, на котором расписано, что сегодня делать и кому что делать. Получив наряд, Илья Антонович опять садится на лошадь и, огрев ее плетью, направляется на левый край села. Отсюда он начинает свой деловой объезд. Подскакав к дому, не слезая с лошади, стучит по раме плеткой и кричит:

- Наташка, навоз возить!
- Ладно, — отвечает Наташка.
- Выходи!

— Дай печку дотопить!

— Выходи, мать в перемать, а то я тебе всю печку по кирпичику разнесу,— орет Голова на всю деревню.

Наташка выскакивает из дому как ошпаренная и, отбежав на приличное расстояние, начинает поносить председателя самыми что ни на есть последними словами: зверь, изверг, макаронник.

Но ее гнев нисколько не волнует Илью Антоновича. Он свое дело сделал и направляется к следующему дому. И опять плетью по раме...

— Макар!

Открывается окно, и показывается плешивая голова старика.

— Чего тебе?

— Пойдешь... Постой, куда же ты пойдешь? — Голова вытаскивает из кармана листок.— Ага! Пойдешь и переложить печку на скотном дворе, в водогрейке.

— Неможется мне нонче, Илья Антонович, поясницу ломит,— жалуется Макар.

— Пойдешь и переложить. Понял? — строго говорит Илья Антонович.

— Не пойду. К доктору пойду,— и Макар захлопывает окно.

Но Илья Антонович настойчив и неумолим. Он сам открывает окно, просунув голову, спрашивает:

— Макар, где корова?

— Известно где. В поле,— отвечает Макар.

— Вот что, Макар, сейчас ты пойдешь в поле за коровой. Приведешь ее и поставишь на двор.

— Это почему же? — возмущается Макар.

— Потому что поля и трава — колхозные, а колхоз тебе не дармовая кормушка. Понял? И не дожидайся того, чтоб я ее сам привел,— с угрозой заканчивает председатель, вспрыгивает на лошадь и направляется к дому Макарова соседа. А Макар, проклиная всех: председателя, и Советскую власть, и свою жизнь, собирается на работу. Не потому, что боится угроз Головы, который, впрочем, только грозит, но никогда не переходит к решительным действиям, а потому что знает, что Илья Антонович, пока не выгонит его из дома, не успокоится.

Наряд отдан, Илья Антонович едет домой завтракать. Позавтракав, опять берет в руки плетень, садится на лошадь и направляется наблюдать за ходом работ. И весь день в

полях, на скотных дворах гремит зычный командирский голос председателя.

Если бы Голова прилагал столько же усилий жить спокойно и незаметно, сколько он прилагает к тому, чтобы показать себя и выделить среди других, то он, наверное, не имел бы столько выговоров и неприятностей. Когда его вызывают в райком дранить и перевоспитывать, а это случается частенько, Голова выдерживает головомопку, а потом, придав себе удивленный вид, наивно спрашивает: «А зачем такой длинный разговор, зачем эти громкие слова? Не нравлюсь? Плохой я председатель? Так снимите». Да и вообще при всяком случае старается напустить на себя гордость и независимость.

Нынешней весной во многих колхозах не хватило семенного картофеля. Райком собрал председателей и предложил им взять картофель на посадку у колхозников. Распоряжение было нелепым. У колхозников нечем было засаживать собственные огороды. Но никто из председателей, кроме Головы, не возразил. Илья Антонович вспыхнул и грубо выкрикнул:

— Как это взять?

— Ну, это все равно что позаимствовать,— разъяснил секретарь райкома.

Голова встал и озоровато скосил свои рачьи глаза.

— Значит, мешок на плечо и пошел по миру трижды орденоносец Илья Голова. Тетушка, дай Христа ради десяток-другой картофелин. А тетушка мне: «Милай, нетути у меня картошечки-то. Прошлой осенью мне колхоз ничегошеньки на трудовень не дал».

Разыграв комическую сценку, Илья Антонович решительно заявил, что он против такой антигосударственной практики. Его дружно поддержали председатели, и затея райкома была с треском провалена.

Как ни был райком добродушно-снисходительно настроен к Голове, но этого простить не смог. Затаив обиду, он теперь ждал случая с ним рассчитаться. А случай не заставил себя ждать.

Накануне ноябрьских праздников Голова на общем собрании внес предложение, текст которого дословно взят мною из протокола:

«Торжественно всем колхозом отметить день Великой Октябрьской социалистической революции. Для этого:

а) из кладовой колхоза выделить на самогон десять пудов ржи,

- б) забить на мясо яловую корову Буренку,
- в) праздничное гулянье провести в помещении избы-читальни культурно, без всяких скандалов и безобразий,
- г) просить гармониста Василия Семипалова не напиваться и весь вечер играть на гармонии,
- д) ответственность за проведение вечера возложить на председателя колхоза Голову.

Принято единогласно».

Говорят, что постановление это было выполнено по всем пунктам: праздник был проведен весело, организованно. Пьяных было мало, а сам председатель с Васькой Семипаловым только для приличия выпили по стопке самогона. Потом они, уже после гулянья, на рассвете, напились до умопомрачения у Ильи Антоныча дома.

Об этом я узнал слишком поздно, когда ко мне из прокуратуры поступило дело о привлечении Головы к уголовной ответственности за самогоноварение. «Ну, теперь ему крышка», — подумал я и схватился за голову. Что делать? Случай из ряда вон, и как раз в момент кампании по борьбе с самогоноварением. «Теперь ему крышка, — снова подумал я, и сердце сжалось. — Неужели райком с такой легкостью разрешил прокурору завести уголовное дело на председателя колхоза, коммуниста?! Обычно он такую санкцию дает с большой неохотой».

Я снял трубку и позвонил председателю райисполкома.

Сергей Яковлевич вздохнул и сказал:

— Я тут — пас. У райкома с ним особые счета.

Позвонил секретарю райкома и спросил их окончательное мнение по этому делу. Кондаков ответил мне так:

— А почему вы, товарищ Бузыкин, нас спрашиваете? Вы судья, у вас законы. Как решите, так и будет. Мы своим авторитетом на суд не давили и не собираемся давить.

Я хорошо понял Кондакова: «Сажай, и никаких гвоздей». Но сажать Илью Антоныча очень не хотелось, да и это было бы с моей стороны чудовищной неблагодарностью. А что делать? Заявить себе отвод и умыть руки? О нашей дружбе известно всему району. Самоотвод — самый разумный и законный выход из этого положения. Кому тогда доверить разбор дела? Своим заместителям?.. Авениру Темкину. Конечно, он бы с величайшей радостью согласился, только доверь, провел бы суд с помпой и размотал бы Илье Антонычу всю катушку. Ивану Михайловичу Иришину? Этот по доброте своей душевной осудит его на

год лишения свободы, больше-то у него не поднимется рука написать, тогда никакие жалобы, ни апелляции не помогут. Областной суд, не глядя, заштампует этот приговор, а год для Головы при его характере — вечность. Нервы его не выдержат, выкинет какой-нибудь фортель, попадет в лагерный суд, и тогда уже ему оттуда не выбраться. Просить областной суд нарушить подсудность и передать дело в соседний район? А что толку? Самый умный и милейший судья не согласится на условное осуждение: приговор по протесту прокурора наверняка будет отменен за мягкость. Если же я сам буду слушать это дело и вынесу условное наказание, то меня наверняка смешают с грязью. Лучше бы сам областной суд вынес Голове условный приговор. Тогда бы никто не стал бы ни протестовать, ни возражать. Но как сделать, чтоб областной суд в этом вопросе взял на себя инициативу? Трудную задачу мне задал друг Илья Антоныч Голова. Долго я над ней думал и наконец сказал сам себе: «Что будет, то будет. А дело разберу сам. Проведу процесс со всей строгостью закона, с заседателями, которые идут судье наперекор».

Дня за три до суда ко мне в кабинет явился сам Голова. Глаза у него блстели, а из-под шапки выбивался кудрявый спутанный чуб. Он плюхнулся на диван, с хрустом потянулся.

— Ну что, судить будешь?

— Буду.

— Ну-ну, валяй, няривай,— тоскливо улыбаясь, сказал Илья Антоныч.

— Вон из кабинета,— строго приказал я.

Он встал, сморщился, затряс головой.

— Спасибочка, Семен Кузьмич, от всего сердца благодарен,— и вышел.

Я смотрел в окно. Он шел от суда по дороге к чайной и вытирал шапкой лицо.

Спустя часа два он явился. Трезвый, робкий, совершенно подавленный.

— Ходил... думал... А на сердце такая тяжесть, словно убил я человека. А что я сделал? Честно выполнил волю народа,— с грустью пожаловался Илья Антоныч.— Нет, ты скажи, неужели колхозник не имеет права на культурный отдых в свой революционный праздник?

На его вопрос я не стал отвечать. Да и что я мог ему сказать?

Он пристально посмотрел на меня и жалобно протянул:

— А, молчишь. Значит, я ни в чем не виноват.

— Как мог твой разумный зять допустить такое дикое решение? — спросил я.

Он туло уставился в пол.

— Зятя не было. В больнице зять: положили печенку лечить, — он оторвал глаза от пола и испуганно посмотрел на меня. — Много могут дать?

Я сказал, что это дело суда и что готовиться надо к худшему.

Он весь дернулся и зябко поежился, словно бы ему было холодно, и заговорил, пытаясь придать голосу равнодушный тон.

— Наплевать на все. Дадут год, отсижу как-нибудь, потом получу паспорт и махну куда-нибудь в город, а то в Сибирь, белку промышлять. Не страшно. Голова нигде не пропадет.

— А если два? — спросил я.

— Все равно, — как эхо отозвался он.

Я объяснил Голове, что нужно срочно предпринять. В первую очередь, не хныкать, немедленно ехать в город, искать адвоката. Халтун для такого дела не годится. При нем я позвонил в областную адвокатуру, и мне назвали фамилию толкового защитника.

В день суда, рано утром явился адвокат и до открытия судебного заседания успел познакомиться с делом. Впрочем, дело было простое, ясное и не вызывало никакого сомнения. Адвокат разочаровался и сказал, что ему здесь делать нечего.

Прокурор на этот раз тоже был аккуратен. Он явился за десять минут до начала слушания дела и сразу же спросил:

— Кто из заседателей будет разбирать дело?

Он не сомневался в моем самоотводе и страшно удивился, когда я сказал ему, что самоотвода не будет, но ничего не сказал, а только широко развел руками, как бы говоря: «Ну и ну... Впрочем, смотри, девка, тебе рожать».

Когда мы вошли в зал судебного заседания, он был полон. Еще бы. Кого судят-то? Знаменитого Илью Голову. Он стоял вытянувшись, по стойке смирно, в начищенных до солнечного блеска сапогах, в синих диагональных шароварах и в новой зеленой фуфайке, подпоясанный широким офицерским ремнем. Прямо на фуфайку он наце-

пил все свои регалии, а сбоку повесил полевую сумку. Я взглянул на Илью Антоныча и с болью подавил улыбку. Он сделал все, чтобы выглядеть солидно и внушительно.

Меня беспокоил вопрос о составе суда. В последнюю минуту прокурор может заявить мне отвод. И это не только законно, но и обоснованно. Но я уповал на строптивость своих заседателей, которые из враждебного противоречия возьмут да и отклонят ходатайство прокурора. К счастью, до этого не дошло. Когда я спросил Магунова, доверяет ли он слушать дело этому составу судей, он сразу же ответил, что не возражает. Хуже было с подсудимым. Илья Антоныч никак не мог понять, что значит возражать против состава суда, да и вообще может ли он здесь против чего-либо возражать. А когда, наконец, дошел до него смысл слов, он очень удивился и дал мне понять, что кому же он еще, как не мне, может доверить свое печальное дело.

Я машинально вел процесс и плохо слушал, что говорилось. Я думал об одном, как вести себя с заседателями. Если я буду настаивать на условном осуждении, они восстанут против меня и будут требовать подсудимому самого строгого наказания. Если же себя вести так, чтобы они требовали условного осуждения, тогда областной суд отменит наш приговор. Там не очень любят, когда приходят дела с условным осуждением. Областные судьи скорее сами применят условное наказание, чем это позволят нам. Они считают себя, по крайней мере, выше нас на три головы, а умнее на все четыре. Перед ними не сидит человек, у которого глаза ошалели и с носа капает пот. А у моего подсудимого пот тек даже из ушей.

К концу заседания у меня полностью созрел план действия, и я твердо решил остановиться на первом варианте.

В прениях прокурор просил суд определить Голове год лишения свободы; адвокат, как я и ожидал, просил тоже года лишения свободы, но условно.

Когда Илье Антонычу предоставили последнее слово, он вскочил, вытаращил глаза и заговорил одними междометиями:

— Э-э... Я-я... Й...— и, не сказав ничего вразумительного, махнул рукой и сел.

Как я предполагал, так оно и вышло. Не успел я сказать, что подсудимый хотя и виновен, но заслуживает снисхождения, как заседатели в один голос заявили, что никаких

снисхождений ему, два года тюрьмы и баста. Они сказали то, что я хотел. Впервые в жизни я благодарил глупость и жестокость человеческую. Я подписал их приговор, но предупредил, что с ними не согласен и буду писать особое мнение. Должен сказать, что заседатели не возражали, когда я попросил их не брать осужденного под стражу до вступления приговора в законную силу.

Когда я огласил этот приговор, зал ахнул. У прокурора почему-то неестественно задергалась шея. Но он ничего не сказал, схватил портфель и стремительно вышел. Зато возмущению адвоката не было предела. Он долго доказывал в канцелярии суда секретарям, что это предел дикости и жестокости.

— Нет, вы только подумайте, — страстно говорил он, размахивая руками. — Сам прокурор просил год, а они два. О, идиоты, варвары, бессердечные!

Но что было с Ильей Антонычем... Приговор пригвоздил его к полу. Все давно уже разошлись, а он все стоял перед столом суда, беспомощно разводя руками. Адвокат подошел к нему, посадил на стул, стал горячо убеждать, что он этому позорному приговору сломает хребет. Он поинтересовался, кто остался при особом мнении. И когда я назвал себя, он изумленно вскинул брови.

— О-о-о-о! — и свистнул. И сразу же сел писать кассационную жалобу.

Жалко Голову! До слез жалко! Но что делать? У меня другого выхода не было.

Посыпались телефонные звонки. Меня непрерывно спрашивали, утка это или правда, что Голове дали два года.

Позвонил и Сергей Яковлевич, холодно сказал, что он был обо мне лучшего мнения. Я обиделся и заявил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону.

— Понятно. Будь здоров, судья, — оборвал он меня и повесил трубку...

Зато звонок Ольги Андреевны взбесил меня и чуть не погубил все дело.

— Ты порядочная дрянь, — заявила Чекулаева.

— Ты так думаешь?

— Все, все в райкоме...

— И первый секретарь? — наивно спросил я.

— Конечно, он возмущен.

— На что же вы рассчитывали?

— Самое большое год. Об этом был предупрежден и прокурор, да и сам Голова знал.

Я не стал ее дальше слушать. Оказывается, райком еще до суда предрешил судьбу Головы. Год лишения свободы! Вот их милосердие! Вот как звучат их слова: «Мы не давим на суд и не собираемся давить». Мне стало стыдно за такую доброту. И до боли жаль бедного, простодушного и доверчивого, как ребенок, Илью Антоныча.

Я прошел в канцелярию. Секретари о чем-то вполголоса разговаривали с судебными исполнителями. При моем появлении они замолчали, разбежались по своим столам и с усердием принялись скрести перьями. А уборщица Манюня демонстративно бросила на пол швабру и заявила, что завтра же берет расчет.

Единственно, кто меня утешил в этот день, так это прокурор. Он позвонил и сказал, что протеста на жестокость приговора не будет, так как меру наказания считает вполне справедливой.

Спустя две недели дело Головы рассматривалось в кассационной инстанции облсуда. К делу, кроме жалобы, был приложен ворох характеристик и справок. Но на всю эту бумажную шелуху я меньше всего рассчитывал. Главным козырем в этой рискованной игре был сам Голова, его личное обаяние. Поэтому вместе с делом на суде присутствовал и сам Илья Антоныч.

В тот день я с утра ходил как чокнутый. За эти две недели нервы окончательно растрепались, и мною овладело отчаяние. Теперь я был твердо убежден, что, несмотря ни на что, приговор будет оставлен в силе. До обеда я себя еще кое-как держал в руках, а потом стал звонить председателю уголовной коллегии. Без счету вызывал город, и каждый раз мне отвечали, что дело еще не рассматривалось. И только к вечеру я услышал сиплый, не женский голос Павлины Тимофеевны, или попросту Павлинихи, как зовут ее народные судьи. Я робко спросил, как решилось самогонное дело Головы.

— Мы считаем, что народный суд правильно решил это дело. Самогоноварение по области приняло угрожающий характер, и борьба с ним должна вестись самая решительная.

Я ничего ей не ответил. У меня вывалилась из рук трубка.

— Алло, Бузыкин, — взывала ко мне Павлиниха. — Куда ты пропал? Так я говорю, — продолжала она, — в этом

смысле ты молодец, что ведешь жесткую карательную политику... но,— она чуть-чуть смягчила голос.— Все же мы решили сохранить ему свободу. Два года так и оставили, но считать их условными. Человек он заслуженный, не опасный и весьма симпатичный,— дальше я не помню, что она говорила, но говорила что-то приятное и хорошее...

Мои расчеты и надежды оправдались. Голова остался на свободе. Но это не принесло мне ни радости, ни удовлетворения, хотя авторитет мой, беспристрастного и строгого судьи, в глазах начальства подпрыгнул сразу на три ступени. Зато я навсегда потерял друга и хорошего человека. Теперь мы не встречаемся. Он считает, что за все его добро я отплатил ему черной неблагодарностью. Разве мог он предположить, да и кто-либо другой, что только для спасения его свободы я затеял эту рискованную игру с правосудием. Об этом не узнал никто. Да и надо ли об этом рассказывать?

А лихой партизан Голова после всех этих судебных пердряг сник. Его свободололюбивая гордая натура надломилась, притихла. С председателей его сняли, назначили бригадиром. Он пробыл на этой должности с полгода, потом выправил паспорт и уехал, а куда — никому не известно.

...Если судьба меня прижмет и оставит в Узоре на долгие годы, тогда я подберу себе настоящих заседателей. А сейчас таких у меня немного, и десятка не наберется. Вот они: санинспектор Лидия Михайловна Афолина, заведующий райсобесом Юлин, колхозник Петр Арсентьевич Ефимов, счетовод Василий Анохин, колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин. Они всегда с охотой готовы разбирать любое запутанное дело, и, как они сами признаются, в суде у меня они отдыхают. Это явление обычное. Кому не известно, что человек по-настоящему отдыхает от одной работы, когда он берется за другую.

Лидии Афолиной лет двадцать пять. Она не замужем. И это меня удивляет. У нее все данные, чтоб нравиться мужчинам: наружность элегантная, характер добрый и веселый. Она судит не умом, а сердцем. Во время слушания дела Лидия дотошный следователь, в комнате тайного совещания — невыносимый спорщик. Это нередко злит меня и возмущает. Но стоит взглянуть на ее разгоряченное розовое лицо, на приоткрытые в легкой улыбке губы, злость мгновенно пропадает. Улыбка у Лидии покоряющая. Она не содержит никакой мысли, она выражает красоту и радость жизни. Вероятно, поэтому

большинство приговоров, вынесенных с участием Лидии Михайловны, отменяются областным судом за мягкостью меры наказания.

Юлин Алексей Адамыч — находка для меня. В молодости он кончил правовую школу, работал адвокатом. Он превосходный цивилист, но, к великому сожалению, неизлечимый алкоголик. Однако это меня ничуть не смущает, я вызываю его на разбор самых сложных гражданских дел. И в состоянии опьянения он не теряет трезвости мысли и знаний. Как-то я резко предупредил его, чтоб в суд он являлся как «стеклышко». Он попытался это сделать, и ничего не вышло. Пришел он какой-то вялый, подавленный, с трудом высидел за столом и ничего не мог сказать путного. Я понял, что для Алексея Адамыча опьянение столь же необходимо, сколь для нормального человека трезвость.

Петр Ефимов и Василий Анохин тоже толковые заседатели, и работать с ними — одно удовольствие.

Выше всех я ценю, конечно, Вадима Артемьевича Ухорина. Вадим Артемьевич из «благородных». Но, как говорят, «не дай бог и врагу моему такого происхождения». Отец его, кроме дворянской грамоты, дома с шестьюдесятью землями и кучи ребятишек, ничего не имел.

Вадим по счету был девятым в семье. Землю Ухорины не умели обрабатывать и сдавали ее в исполу. Детство Вадима Артемьевича прошло в страшной бедности. Отец учительствовал и на свое крохотное жалованье никому из детей не смог дать приличное образование. Все они стали простыми крестьянами.

— Мы были «бездушные» дворяне, самые несчастные в селе. Все нас безжалостно презирали. И всему этому была виной наша бедность и дворянское происхождение, которому они когда-то завидовали, жаловался мне Вадим Артемьевич.

После революции Ухорин не поднялся и свой век добывает в бедности и одиночестве. Женится он на довольно-таки зажиточной крестьянке. Но вот уже двадцать с лишним лет, как Ухорины живут врозь; она с детьми — в городе, он — в родном селе Бекташевке.

Недавно я был в этом селе по заданию райкома. И навестил своего друга заседателя. Он живет в огромном полуразвалившемся доме. Но то, что я увидел внутри этого дома, — жуть.

Дом совершенно не годится для жилья. Хозяин ютится

в крохотной кухоньке, которая очень похожа на заброшенную баню. Такая же черная, с гнилыми и осевшими на землю полами, закопченными окнами, развалившейся печью, и пахнет в ней так же сыростью, да еще и мышами.

Когда я вошел, Вадим Артемьевич сидел на березовом чурбане около железной печурки. Раскаленная печурка гудела, как паровозный котел. На мой стук он даже не пошевелился и продолжал сидеть, вытянув к печурке руки. Я окликнул его. Он повернулся ко мне и долго подслеповато разглядывал. Я подошел к нему и поздоровался. Вадим Артемьевич узнал, испуганно вскочил и не знал, что делать. Наконец он, видимо, сообразил, что надо усадить неожиданного гостя. Ухорин беспомощно оглянулся и предложил мне сесть на ветхую железную кровать с кучей тряпья. Я осторожно сел, уперся ногами в пол, так и просидел, боясь, что вот-вот кровать подо мной рухнет.

Я не знал, о чем говорить. Ужасная бедность Ухорина меня подавляла. Мне стало невыносимо больно за него, словно бы я во всем этом был виноват и испытывал тяжесть и ненужность своего визита. Ухорин тоже молчал. Мне кажется, что он переживал то же самое, только еще больнее. Вадим Артемьевич, сгорбясь, сидел на березовой чурке, крепко сцепив пальцы рук.

Молчание становилось невыносимым, и я спросил:

— Так и живешь, Вадим Артемьевич?

— Так и живу, Семен Кузьмич,— тихо отозвался Ухорин.

— Ужасно,— прошептал я.

— Да уж, хуже-то и нельзя, наверное.

Ухорин открыл дверцу печурки. Там стояла большая консервная банка. Вадим Артемьевич клещами ухватил ее за край, вытащил из печурки и поставил на пол.

— Разварилась картошка-то,— с сожалением сказал он и предложил: — Попробуйте, Семен Кузьмич. Больше угощать нечем. А картошка-то ничего, очень разваристая, один крахмал.

Хоть мне и не хотелось обижать доброго хозяина, но я все-таки отказался и поспешил проститься, ссылаясь на неотложные дела. Какое облегчение я почувствовал, когда выскочил на улицу. Наше низкое серое небо, деревенская улица с непролазной грязью, грустная осенняя природа показались мне во сто крат уютнее мрачной и затхлой конуры человека.

Философу свойственно разумно мыслить и неразумно

поступать. Обывателю — наоборот. Ухорин по своему складу ума ближе к философам. Начнет говорить — не слушаешься, а возьмется за дело — хоть руки отрубай. Все у него получается так, как у того кузнеца, который, за неимением зубов, раскалывает орехи кувалдой. Трудно определить, что — то ли дворянское происхождение, то ли воспитание, то ли повинен тут характер, но Вадим Артемьевич, кроме как к умным разговорам, больше ни к чему не приспособлен.

Вадиму Артемьевичу шестьдесят лет, а за плечами у него никакого ремесла. Пробовал пахать — бросил, пытался служить — не получилось. Уехал в город, поступил на завод, а через три года опять вернулся в деревню, оставив в городе и жену, и детей.

Вадим Артемьевич коммунист. В партию он вступил еще до революции. И вот коммунист с подпольным стажем стал в районе всеобщим посмешищем. К нему навеки приклеили кличку «лакированный комиссар». Иногда его еще величают «штампованным комиссаром».

Сразу же после революции, в период военного коммунизма, Ухорина поставили уездным комиссаром по продовольствию. Мне рассказывали, что тогда Вадим Артемьевич ходил в лакированных сапогах с кисточками, в хромовом пальто, которое все было перепоясано лакированными ремнями. С одного бока у него болталась шашка в лакированных ножнах, с другого — лакированная кобура револьвера, козырек его фуражки тоже был лакированный, и разъезжал он в легкой коляске, покрытой лаком. Черные откормленные кони блестели, как отлакированные. Вадим Артемьевич комиссарил недолго. Злые языки болтают, что его вышибли из комиссаров за воровство и что у него осталось какое-то удостоверение, сплошь уставленное штампами и печатями, которое он сам себе состряпал. Я не верю, чтобы Ухорин проворовался. Он для таких дел не годится. Скорее всего, его подчиненные, пользуясь слабохарактерностью и безмерной доверчивостью Вадима Артемьевича, подвели своего начальника гнусным образом. Про удостоверение с печатями он мне сам рассказал, что это глупая и наглая шутка его секретаря. Зная свою рассеянность, он печать доверил своему секретарю, и тот распорядился печатью, как кухарка толкушкой. Когда Ухорину понадобилось удостоверение личности, то секретарь его написал и для смеху все заляпал печатями.

Про Ухорина ходят самые нелепые были и небылицы.

Вадим Артемьевич и не пытается их опровергать. С невозмутимым спокойствием философа он рассуждает: «О человеке можно ничего не знать, зато о нем можно все сказать».

Заседателем он стал, мне кажется, или по ошибке, а может быть, по злому умыслу. Кто-нибудь его фамилию ради потехи подсказал, а ее взяли и занесли в список кандидатов в заседатели, а потом на выборах, не глядя, проголосовали за всех скопом, в том числе и за Вадима Артемьевича.

Кому не известно, что одни и те же поступки совершаются по разным мотивам. Так, Авенира Агеевича Темкина избрали вершить правосудие потому, что уж очень он сам того хотел; бухгалтера конторы «Заготсырье» Ивана Михайловича Иришина — потому, что он человек честный, и еще инвалид. А инвалид — самый удобный для этого дела человек, бегать ему там не надо: сиди да суди потихоньку. Лида Афолина попала в судьи по разнарядке. Пришел в райздрав приказ выдвинуть кандидатуру в заседатели. А кого выдвигать, как не Афонину? Девка она молодая, комсомолка, и никакой общественной нагрузки не имеет. Заведующий отделом народного образования Валентин Сергеевич Пех стал заседателем по безысходности: больше выбирать было некого. Не пошлешь же в суд учителя, который весь день занят уроками, а ночь — тетрадками. Плотник Толстопятков Кирилл попал в заседатели потому, что у него абсолютно чистая биография, совершенно безграмотная колхозница Анисья Пузикова — как передовая доярка. А вот Вадим Артемьевич стал заседателем ради смеха. Впрочем, эта шутка оказала мне добрую услугу. Она дала мне превосходного заседателя. Жизненные наблюдения, незаурядный ум Ухорина, не имевшие до сего времени сбыта, как нельзя лучше пригодились для суда. В самых затруднительных казуистических делах он умел найти верный выход, а порой подсказывал истине мудрое решение.

Два охотника никак не могли поделить волчью шкуру. Голодный волк, бродя вокруг деревушки Козий Рог, напоролся на капкан. Железные челюсти капкана схватили его за лапу. Но зверь был матерый и настолько сильный, что уволок капкан с собой. Хозяин капкана бродил по следу двое суток и, совершенно отчаявшись, бросил поиски. А через неделю узнал, что километров за пятнадцать от его деревни был убит волк с капканом на лапе.

Он разыскал охотника, который убил волка, и потребовал свой капкан. Тот отдал ему без всяких возражений. Делу бы на этом и кончиться. Но хозяина капкана замучила зависть и обида. Государство за убитого волка выплачивало четыреста рублей премии и девяносто рублей за шкуру. Все это привело в конце концов к судебной тяжбе. Капканщик требовал признания за ним абсолютных прав на зверя, утверждая, что все равно волк с капканом далеко бы не ушел и в конце концов бы сдох. Его противник иска не признавал, доказывая, что если бы он не пристрелил волка, тот бы великолепно еще лет десять душил овец и резал коров, так как капкан уже едва держался на лапе зверя. Доводы с обеих сторон звучали убедительно, однако проверить их достоверность не представлялось возможным. Приходилось обоим верить на слово. Но кому из них верить? Что принять за истину и как решить это одновременно столь простое и сложное дело?

Я обратился к Вадиму Артемьевичу, он, улыбаясь, пожал плечами, как бы говоря: «Ну вот, нашел над чем задумываться!» — но ничего не сказал. Другой мой заседатель уверенно заявил, что в иске надо отказать, так как волк принадлежал тому, кто убил его из ружья. Я с ним согласился и быстро написал решение.

Вадим Артемьевич несколько раз внимательно перечитал его, старательно очистил перо, нехотя обмакнул его в чернила и, вздохнув, вывел жирную подпись.

— Что это вы так тяжело вздыхаете? — спросил я.

— Нелегко подписываться под несправедливостью, — ответил он.

Это меня удивило.

— Зачем же ты подписался, если сомневаешься?

Ухорин усмехнулся.

— Ведь ты же, Семен Кузьмич, тоже сомневаешься. И тоже подписался под ним, и не только подписался, но и сам сочинил это решение.

Меня взорвало.

— Что ты этим хочешь сказать? — резко спросил я.

— Сомневаешься — не торопись делать выводы, — спокойно ответил Вадим Артемьевич и, помолчав, добавил: — Мне кажется решение неверным. По-вашему, выходит, что волка убить так же легко, как курицу. Да если бы у него на лапе не было капкана, разве бы его убили?! Волк — хитрый и осторожный зверь, недаром на него облавой ходят.

— Если бы волка не убили из ружья, он все равно бы ушел, отгрыз лапу и ушел,— веско заявил заседатель Ефимов.

— Конечно, ушел бы,— охотно согласился с ним Ухорин.

— Чего же ты хочешь, наконец? — спросил я.

Вадим Артемьевич сказал, что он ничего не хочет, и ему совершенно наплевать на этого волка, но справедливость требует, чтобы шкуру и премию поделить между охотниками поровну.

Мы еще немного поспорили с ним, но уже для вида, из самолюбия. Неопровержимая логика Ухорина была очевидна.

Когда я заново переписал решение и огласил его в зале судебных заседаний, охотники дружно сказали: «Спасибо, гражданин судья». Другого решения они и не ожидали. В таких делах они разбираются лучше всех судей, вместе взятых.

В другом гражданском деле Ухорин помог мне не только избежать грубой юридической ошибки, но и раскрыть гнусное преступление.

В одном селе мальчуган, роясь в яме, нашел крохотное золотое колечко. Это колечко у него мгновенно отобрала старшая сестра. Односельчанка Букреева заявила, что это ее обручальное кольцо, и вырвала его у бедной девушки чуть ли не с пальцем. На этом она не успокоилась и подала в суд заявление с требованием взыскать с семьи этой девушки все вещи, которые якобы выкопал их дед во время войны из ямы. Иск был предъявлен на пять тысяч рублей, куда входили не только колечко, но и золотые серьги, костюм, два пальто, разное белье и даже швейная машина. В свидетели она пригласила свою соседку, которая видела, как дед разрывал ночью яму.

На суде было установлено, что действительно у Букреевой были похищены из ямы вещи, однако ни у кого из односельчан не падало подозрения на эту семью. Свидетельница Букреевой клялась всеми святыми, что она сама видела, как дед темной ночью разрывал яму, а когда попыталась его пристыдить, он ей пригрозил, что если она пикнет, то он сразу же ее ужокошит. Допросить деда, выражаясь языком юристов, не представлялось возможным, так как он второй год отдыхал на кладбище. Сын старика-преступника клялся, что его отец не мог пойти на такое страшное дело, так как был слишком набожен. Свидетель-

ница утверждала обратное и даже перечислила по пальцам все вещи, взятые из ямы. Нервозность, с которой она клялась и божилась, насторожила Вадима Артемьевича. Он посоветовал мне: дело, на время, отложить и послать к свидетельнице милиционера с обыском, потому что, как он выразился, «эта баба слишком подозрительно икру мечет». Обыск дал самый неожиданный результат: были найдены золотые серьги и детское пижамное одеяло. «Баба» создалась во всем: и в том, что сама вырыла эти вещи, и что почти все их продала, и что все время ждала случая, чтобы свалить свое преступление на кого-нибудь, так как, по ее словам, этот грех не давал ей покоя, и она, пять лет подряд, каждый день ждала ареста, а по ночам ее мучили кошмары.

Ее судили за хищение, и за дачу ложных показаний, и за клевету на безвинного человека. Судила ее выездная сессия показательно, в родном селе, и приговорила к пяти годам лишения свободы. Народ приветствовал это наказание аплодисментами.

Справедливости ради, надо отметить и то, что половина заседателей не любит нашу работу, и в суд их приходится вытаскивать чуть ли не с милиционером. Вадим Артемьевич всегда готов — в любое время слушать любое дело. Если я его не вызываю неделю, он идет в сельсовет и напоминает мне по телефону:

— Семен Кузьмич, вы меня не забыли?

— Никак нет, Вадим Артемьевич. Только что думал о тебе.

— Значит, мне завтра приходиться?

— Обязательно.

Я очень хорошо понимаю столь нетерпеливое рвение Ухорина к правосудию. Вероятно, он сидит без куска хлеба. В суде же он за день работы получит десять рублей, купит в магазине четыре буханки хлеба и неделю как-нибудь протянет.

Вадим Артемьевич одинок и беден, как крот. В колхозе Ухорин числится общественным казначеем. Я очень смутно представляю, что это за должность, за которую он получает тридцать рублей в месяц. Поэтому на работу в суде он смотрит как на свой основной заработок и дорожит ею. Жена и дети ему не помогают. Правда, раза два в год, по большим праздникам: 7 Ноября и 1 Мая он навещает их и гостит в городе дня по три. Возвращается он домой с какой-нибудь обновкой: это или сатиновая рубашка

с галстучком, или дешевые ботинки на резиновом ходу, или просто пара нижнего белья. По его рассказам, были и дорогие подарки. Как раз перед войной жена ему купила совершенно новое бобриковое пальто. Поэтому в районе никто с таким нетерпением не ждет революционных праздников, как бедный Вадим Артемьевич.

Чтоб как-то облегчить существование Ухорина, да и ради пользы дела, я добился утверждения Вадима Артемьевича моим четвертым заместителем.

Заместитель — тот же заседатель, но в мое отсутствие он пользуется всеми правами народного судьи, включая зарплату, и не несет никакой ответственности. Во всем и всегда виноват судья, даже если никакой нет его вины. Если во время моей болезни заместитель вынес явно противозаконное решение, берут за воротник судью... И весь год на совещаниях и в приказах кричат и подчеркивают, что судья Бузыкин пустил на самотек учебу и воспитательную работу среди заседателей. Может быть, они и правы. Только мои заседатели и заместители ужасно не любят учиться.

У меня еще три заместителя: директор промкомбината Родион Алексеев, завсберкассой Авенир Темкин и бухгалтер конторы «Заготживсырьё» Иван Михайлович Иришин. Люди они разные, по-своему любопытны, но ни один из них не пригоден для этой работы. Райисполком, утверждая их заместителями, вероятно, руководствовался их общественным положением и совершенно не считался с их способностями и желаниями.

Иван Михайлович Иришин — сама неподкупная совесть и честность. Но если он сам хромает на одну ногу, то его грамотность — на обе. Он пишет: «Евонная корова слизала языком с телеграфного столба известку от евтого корова околела потому что евта известка была ядовитая». Порой у него встречаются такие словечки, до смысла которых не докопается ни один лингвист, а знаков препинания он вообще не признает. Но и это полбеды. Иван Михайлович бесконечно добр, жалостлив и всегда с большой неохотой садится за судебный стол. И все равно он лучше других.

Родион Алексеев вообще презирует юристов и считает для себя незаслуженным оскорблением замещать какого-то судью-молокососа. Зато совершенно другого мнения на этот счет Авенир Агеевич Темкин. Его хлебом не корми, только дай посудить. Он всегда с радостью готов меня

замещать и ждет не дождется, чтоб я куда-нибудь уехал: в отпуск, на учебу, неважно куда, лишь бы уехал или просто заболел. В Узоре многие желают мне смерти. Но если б я вдруг внезапно умер, то никто так не радовался бы, как Авенир Агеевич.

Надеясь со временем стать моим преемником, Темкин думает поступить на заочное отделение юридического института и прилежно зубрит Уголовный кодекс. Когда я ему заметил, что при поступлении в институт будут проверять его знания в объеме десятилетки, а заучивать наизусть статьи — тупое и ненужное занятие, он ухмыльнулся и сказал:

— Это очень я люблю.

Я не мог удержаться от смеха. Вспомнился вечер 8 Марта, который мы проводили с Темкиным в компании учителей. Авенир Агеевич сидел неподалеку от меня с пышнотелой директрисой школы, гладил под столом ее сдобное колено и громко шептал на ухо:

— Это очень я люблю.

С самого начала отношение у меня к Темкину настроенное, а доверие очень посредственное. А после того, как он, замещая меня, вынес явно необоснованный оправдательный приговор, я стал сомневаться в его честности.

Я понимал, что мои заместители — слишком заметная и неудобная прореха на суде. И надо было ее как-то штопать. Моей мечтой было иметь заместителей неподкупных, честных и умных. Хотя честность и ум — понятия слишком растяжимые и спорные, а в вопросах правосудия — особенно. Самый честный и умный судья способен вынести более бесчеловечный приговор, нежели судья глупый и недобросовестный.

Решил я вывести из состава заместителей Алексеева и Темкина, а вместо них ввести Юлина и Ухорина. Стал ходатайствовать перед райисполкомом.

— Да ты рехнулся, что ли, Бузыкин... Пьяницу Юлина в судьи?! — возмутился Шиллов.

Я попытался оправдаться известной пословицей: «Пьян, да ума два угодия в нем». Но ничего не вышло. Кандидатура Юлина была отвергнута немедленно и безоговорочно. Что касается Ухорина, председатель райисполкома недоуменно пожал плечами и сказал, что я разбираюсь в людях, как его боров в ананасах. Я стал горячо доказывать, что это очень умный и толковый заседатель. Сергей Яковлевич перебил меня:

— Да знаем мы, знаем. У него есть ум, но у него нет воли. А ум без воли — ничто. Был у нас он председателем сельсовета и секретарем парторганизации, и даже библиотекарем. Ничего не вышло. Он способен только пространно размышлять и советовать. Ну какой же это начальник, который только способен советовать?

Но я все-таки настоял на своем. И как же мне после пришлось пожалеть, что не прислушался к разумным словам Сергея Яковлевича!

Меня вызвали на совещание в область. Я там пробыл три дня. В это время судил Вадим Артемьевич. Когда я вернулся и стал проверять работу своего желанного заместителя, то меня прошиб холодный пот. По всем делам были вынесены противозаконные и абсурдные решения.

— Как же это так получилось-то? — спросил я Вадима Артемьевича.

— Заседатели изнасиловали, — пожаловался он. — Такие строптивные попались заседатели, что не приведи бог. Я им толкую, что надо решать так, а они все нарочно наоборот. А что мне оставалось делать? Как ни вертись, двое против одного. Сам вижу, что решение противозаконное, глупое, а подписываюсь. Плачу и подписываюсь, — помолчав, с грустью добавил: — Очень я неавторитетный человек. Ты уж, Семен Кузьмич, больше не оставляй меня одного.

Мне ничего не оставалось, как просить прокурора все эти дела опротестовать на предмет их отмены. Что он и сделал с превеликим удовольствием.

ЛЕТО 1950 ГОДА

Для большинства закон и суд — нечто абстрактное, запретное и грубое. Для меня — это неуютная большая комната, называемая залом судебных заседаний, с четырьмя рядами широких скамеек, деревянная клетка для подсудимого, длинный стол под зеленым сукном, пухлые или тощие дела в синих и серых папках, кодексы, справочники, инструкции, циркуляры и бесчисленное множество бумаг, официальных и неофициальных, слезливых и кляузных, нужных и ненужных.

Они отнимают все мое время, плюют в душу, сушат мозг, отравляют кровь и доводят до того, что сам перестаешь себя узнавать. Не прошло и года, а какая-то час-

тица моей души, причем лучшая частица, пропала; или она затерялась среди бумажного хлама, или секретарь суда подшил ее в какую-нибудь скучную папку и положил в архивный шкаф на съедение мышам. Где же вы, светлые мечты о высоком долге и ответственности? Я давал клятву любить тебя, человек, уважать и со священной осторожностью посягать на твою свободу. Еще на студенческой скамье я, как идолу, поклонялся этой пресловутой затасканной юристами формуле: «Лучше оправдать сто виновных, чем осудить одного невиновного». Как я мучился и переживал, когда в первый раз лишил человека самого дорогого — свободы. А что, если он не виноват? От этой мысли я вскакивал в глухую полночь и вытирал со лба холодный пот.

Не прошло и года, я стал автоматом. Осудив человека на пятнадцать лет, я моментально о нем забываю, с аппетитом ем, с удовольствием пью и засыпаю крепким сном, с сознанием, что сегодня я много и плодотворно потрудился на пользу Отечества.

Теперь я автомат, холодный, разумный и расчетливый. Человек вместо высшего таинственного, хрупкого существа стал для меня субъектом преступления, а все вокруг: вещи, предметы, вода, воздух, земля, мысли, любовь, все материальное и неосязаемое, весь мир — объект преступления. Почему же это так получилось? Неужели я утратил свое «я»? От этой мысли мне становится жутко.

Позавчера я организовал выездную сессию суда в Макарьевский сельсовет. Вы, наверное, думаете, что для этого мне специально по заказу подали машину, и я погрузился в нее с заседателями, прокурором, адвокатом, экспертами и прочими участниками процесса. Ничего подобного. Я засунул в портфель три тощие синие папки и сказал своему секретарю — Тонечке Пищулиной: «Идем». И мы пошли.

По большаку до Макарьева километров пятнадцать. Мы же двинулись напрямик тропинкой. Утро было ясное, тихое, прохладное, с обильной росой. Солнце еще не жгло, оно тепло и приветливо улыбалось нам с бездонно прозрачного неба. Река, отшумев, убралась в узкое каменистое русло и спокойно текла, мягко покачивая прибрежный камыш, звонко клокотала на перекатах. Над густыми зарослями березняка, свистя и хоркая, тянули вальдшнепы: с противным пронзительным криком, как настеганный, носился чибис.

Но уже чувствовалось, что весна догуливает свои последние деньки, а на смену ей идет лето: душное, пыльное, с роями мух и назойливыми слепнями, с полуденной сонной истомой, соленым потом, с горячим дыханием ветров, бурными грозowymi дождями и изнурительными полевыми работами.

Влажная упругая тропинка вела вдоль берега, крутого и обрывистого. Над водой клубился пар, словно ее подогревали. От берегов стремительно шмыгали ельцы, узкие и темные, как тени, на быстринах плескались язи, а в густых зарослях осоки, как камень, бултыхнулся лещ.

Тропинка свернула в сторону, и мы, перейдя по бревнам крошечное болотце с протухшей ржавой водицей, вышли на широкий низинный луг с редкими приземистыми кустами ольшаника. Свежий, сочный, изумрудный, он цвел всюду: блестел и переливался миллиардами радужных искр и выдыхал легко и обильно ни с чем не сравнимый аромат.

И я задрожал, как от озноба. Моя иссохшая канцелярская душа встрепенулась, и я чуть не задохнулся от радости. Свершилось чудо! Оно — это тонкое, едва уловимое «я» внезапно вернулось, и мне захотелось кричать и плакать. И я бы закричал и навзрыд заплакал от счастья, если бы не было рядом секретаря, упал бы в траву, жадно бы обхватил ее руками и иступленно целовал бы эту благодатную сырую землю, дающую нам все: и жизнь, и силу, и счастье, и любовь. В одну минуту я забыл все прежнее. И мне стало легче и привольнее, чем птице. Я мог свободно дышать, чувствовать и наслаждаться. Теперь я обладал всем! Все, что окружало меня, было мое: солнце — только для меня, и этот веселый, пестрый луг существовал, чтобы услаждать и радовать мое «я».

Удивительно тонкая, капризная и чудесная штукенция собственное «я». И как несчастны и бедны люди, которые ради солидных постов, высоких окладов, ради всей этой внешней шелухи подавили в себе свое «я», то, что способно чувствовать, понимать и находить смысл и радость жизни в самом простом и обычном: и в этом заболоченном лугу, и в кривоствольной чахлой березке, и в стройной гордой сосне, и в полевом лиловом колокольчике, и в этой светлой игривой речонке с нелепым названием Разливайка.

Вернувшееся «я» не покидало меня весь день. Наоборот, оно росло, крепло, и, наконец, я полностью стал са-

мим собой — человеком, умеющим чувствовать, страдать, а также уважать чувства и страдания других.

Когда мы пришли в Макарьево, около сельсовета стояла толпа празднично одетых колхозников. Я подумал, что, видимо, как раз попал на религиозный праздник. Но, оказывается, все они пришли послушать, как будут судить двух вдов — Машку и Наташку, подравшихся из-за жёниха Ваньки Веселова.

Помещение для суда было заранее подготовлено, заседатели давно уже дожидались меня, и я, не мешкая, в каком-то приподнятом веселом настроении открыл заседание и объявил, что слушается дело по обвинению Марии Петровны Петровой в нанесении побоев на почве ревности гражданке Комаровой Наталье Ильиничне. В избе, словно ветер, зашелестел смех и несколько рук вытолкнули к столу Машку с Наташкой. Молодые складные вдовушки, одна в ярко-красной кофте, другая в розовой, как вечерняя заря, в одинаковых черных широких юбках и аккуратных хромовых сапожках, они походили друг на друга, как танцовщицы из русского хора. Только одна была слишком полна и пухла, другая же не толста и не тонка, а так... в меру фигуриста. Они стояли передо мной, стыдливо прикрывая лица платками. У пышной видны были только яркие жадные губы, у фигуристой — два черных настороженных глаза.

— Мария Петрова кто будет? — спросил я.

— Вон та, левая, — подсказал мне заседатель.

— Займите место на скамье подсудимых, Петрова, — нарочито строго, чтобы сдержать улыбку, приказал я.

Подсудимой оказалась толстушка. Она села на узенькую скамейку, съжилась, подобрала под себя ноги.

— Потерпевшая, Наталья Комарова, какие у вас будут ходатайства перед судом?

Фигуристая в розовой кофте женщина отрицательно покачала головой и села рядом с Петровой.

Я хотел сказать, что она только потерпевшая и на скамье подсудимых ей не место, но, подумав, решил: пусть сидит рядом.

— Свидетель, Иван Веселов, здесь?

Мой вопрос был встречен дружным хохотом. Подсудимая вскочила, взмахнула платком и, блестя полными слез глазами, закричала:

— Нетути больше Ваньки-то, гражданин судья. Ванька-то наш на машину, и аля ту-ту, поехали.

— Как «ту-ту»? Куда? Зачем? — растерянно пробормотал я, ошарашенный решительным напором подсудимой.

— А кто его знает, куды. Известное дело, от суда, от сраму сбежал.

И тут вскочила потерпевшая. Все у нее тряслось: и кофта, и руки, и губы, и голос.

— Врет она, гражданин судья. От нее сбежал, замучила парня.

Подсудимая подбоченилась, топнула ногой.

— Как бы не так, от меня. Да спроси у кого хошь, кто ж от такой сласти побежит.

Потерпевшая Наташка Комарова оглядела ее с ног до головы и презрительно плюнула.

— Квашня.

— Головешка черномазая.

— Свинья кособрюхая.

— Шкилет сухоребрый.

Они принялись поносить и честить друг друга с изумительной изобретательностью русского человека на словечки и прозвища. Потом они мгновенно изготовились к бою и, конечно, вцепились бы друг другу в волосы, но я пригрозил им штрафом за недостойное поведение в суде. Они притихли, закрылись платками и уселись на скамейку. И так каждый раз: когда их темперамент начинал хлестать через край, я напоминал им о штрафе, и это действовало, как ушат ледяной воды.

— Гражданка Петрова,— обратился я к подсудимой,— вы признаете себя виновной в том, что нанесли телесные побои своей соседке?

Подсудимая изумленно всплеснула руками и нараспев протянула:

— Царица небесная, ну и бессовестная. Она же первой начала таскаться. Поглядь-ка, товарищ судья, как она, Наташка, двинула холодным сапогом под это место. До сих пор синё,— она схватилась за юбку, чтобы показать, где у нее синё, но я поспешил остановить, сказав, что суд ей и так на слово верит. Моя снисходительность к подсудимой больно задела потерпевшую. Она опять вся затряслась и, глотая слезы, бессвязно залепетала с упорным желанием выдать у суда жалость.

— Не я зачала таскаться. Она сама первая, гражданин судья. Я и не думала ее ударить. А если так и случилось, то не нарочно, а случайно. Разве я не знаю, что за такие дела можно срок получить.

Подсудимая злорадно заулыбалась.

— Ха, случайно! Знаем мы, как за случайно бьют отчаянно. Вот они доказательства: тут,— она похлопала по бедру,— да еще и тути,— и, порывшись в лифчике, вытащила крохотную бумажку и помахала ею перед носом соперницы.— Вот она, справочка от доктора. Мы тоже не пальцем деланы и законы знаем. Так что, вместе чудили, вместе и клопов давить будем, моя милая Наташенька.

Наташенька, сверкая глазами, злобно процедила сквозь зубы:

— Суд еще посмотрит, чей козырь старше,— и вытащила из-за пазухи горсть волос и изорванную в клочья кофту.— А еще она, гражданин судья, повалила меня на землю, топтала ногами, царапалась и все старалась задушить. Поглядите, как она своими граблями разуделала мне шею. А груди так болят, что и дохнуть нет никакой возможности. Так вот, дорогая Машенька, суд знает, кому больше давать.

По всему выходило, выражаясь словами Наташки, «давать» надо было обеим. Хоть и так было ясно, но вопрос, из-за чего произошла драка, как зуд, защекотал мне язык. И я задал его. Да простят потерпевшая с подсудимой мне молодость и шаловливое любопытство.

Мария Петрова нехотя поднялась и, не поднимая глаз, тихо ответила:

— Из-за Ваньки Веселова.

— А кто он?

— Шофер здешнего леспромхоза.

— Что у вас с ним было?

— Любовь. Он обещал жениться на мне.

— Вам он тоже обещал? — спросил я потерпевшую.

Она кивнула головой и всхлипнула:

— Обещал, и даже раньше, чем Машке. А потом она его запутала. Парень-то он уж больно слабохарактерный, гражданин судья.

— Ничего себе слабохарактерный. А прижмет так, что пуговицы с лифчика, как горох, посыплется,— возразила подсудимая, и сельсовет задрожал от хохота.

Я сделал от имени суда строгое предупреждение подсудимой и опять обратился к потерпевшей.

— И вы знали, что он одновременно и к ней и к вам ходит?

Она удивленно посмотрела на меня и улыбнулась.

— Так об этом все знали, гражданин судья.

— И вы все-таки продолжали любить его и надеяться?

— Что делать, гражданин судья. Я ведь человек-то живой,— и тяжело вздохнула.

В ее откровенно простодушном признании было столько еще нерасплесканной страсти, искренней, неподдельной любви и безысходной тоски по своему маленькому счастью, что я вздрогнул и невольно взглянул на подсудимую. Ее лицо выражало то же самое. Мне стыдно стало и за себя, и за свои неумные пошлые вопросы, да и за весь этот суд, который ничего не мог принести, кроме горечи, обиды и незаслуженного оскорбления.

Суд предложил им покончить дело миром. Они упали друг другу на грудь, громко расплакались и, обнявшись, вышли на улицу.

— Неразлучные подруги были,— после длительного молчания сказал кто-то.

— Помирятся. Теперь им делить нечего,— добавил другой.

— А бабоньки-то они славные: добрые, старательные. А вот, видишь, как их судьба-то обошла,— сказал мой заседатель и щелкнул языком,— судьба-злодейка.

А бородатый старик, сидевший в углу около печки, глухим басом авторитетно изрек:

— Во всем виновата эта война распроклятушая. У меня тоже сноха с тремя ребятенками мается.

По второму делу мне тоже удалось заключить счастливый мир. Это дело было одновременно и бракоразводное и алиментное.

Гражданка села Озерки Зинаида Олеговна Хотелова подала в суд заявление о расторжении брака с мужем, гражданином Хотеловым Степаном Григорьевичем, и о взыскании алиментов на содержание малолетнего сына Тимура Степановича. Когда я зачитал длинное и грузное заявление иска, к столу протиснулись стороны: Он, Она и их неопровержимое доказательство — Оно. Я взглянул и ахнул от изумления. Ответчику, то есть мужу, Степану Григорьевичу, еще было бы незазорно и по яблоки лазать, а истице — прыгать через веревочку. Так они молодо выглядели. Между ними стоял, держась за батькин карман, краснощекий карапуз в немыслимом по размерам колпаке, а на шее у него висела, как огромная медаль, желтая клеенчатая слюнявка.

Несмотря на свою молодость, супруги были очень

серьезны. Видимо, они сознавали важность, ответственность своей затеи.

— Сколько же вам лет? — спросил я.

Степан Григорьевич не торопился с ответом. Придав лицу деловое и озабоченное выражение, то есть наморщив лоб, опустив углы губ и нарочно солидно растягивая слова, ответил:

— Мне, товарищ судья, скоро будет девятнадцать. Зинаиде Олеговне, жене моей, недавно исполнилось совершеннолетие. А сыну нашему Тимуру Степановичу — два года, — он нагнулся, вытер ладонью Тимуру Степановичу нос.

— И когда же вы успели обзавестись наследством? — удивленно спросил я.

— То есть вы, гражданин судья, имеете в виду нашего Тимура? — не теряя степенства, переспросил Степан Григорьевич и пояснил: — Мы только как месяц назад в сельсовете сочетались законным браком. А до этого существовали в незаконном браке.

— Ну вот, не успели расписаться, а уже разводиться. Куда же это годится, Степан Григорьевич? Ведь это же очень нехорошо, — заметил я.

Степан Григорьевич покачал головой и, как старичок, сокрушенно вздохнул:

— Она очень молода, гражданин судья. Я так думаю, и глупа поэтому.

Истица фыркнула в нос и, рассекая ладонью воздух, категорически заявила:

— Пусть я буду самая распоследняя дура. А все равно с тобой жить не буду.

— Это почему же? — спросил я.

— Дерется он, как самый последний мужик. А еще десятилетку закончил.

Степан Григорьевич свою роль разумного хозяина и строгого мужа вел с уморительной солидностью. Зинаида Олеговна изображала глубоко оскорбленную в своих лучших чувствах супругу. А суд походил на спектакль, в котором дети с комической серьезностью разыгрывали для взрослых семейную драму.

— Я, гражданин судья, не дрался. Потому что драться с женщинами — не мужское занятие. А учил я ее уму-разуму, — степенно рассуждал ответчик.

Когда я спросил у него, в чем выражалось его учение, он пояснил так:

— Пришел я это, товарищ судья, со службы домой. А службу я в лесничестве, при бухгалтерии состою. Пришел я домой и вижу, простите за грубое слово, полный хаос, дверь раскрыта настежь, изба полна кур, собака позволяет себе спать на нашей новой с пружинным матрасом кровати. Тимур сидит под столом, плачет и весь запачкан, извиняюсь за некультурное выражение, собственным поносом. Перво-наперво я ликвидировал этот хаос, а потом пошел разыскивать жену. А вы знаете, где я ее нашел? На самом краю деревни у ее незамужней подружки Лидки Хреновой. А чем они занимались?.. Срам сказать. Отплясывали под патефон танцы с фокстротами. Дело это, товарищ судья, для замужней женщины? Я так думаю, что не дело. И это было не в первый, а в третий раз. В первый раз я ее просто предупредил, потом предупредил крепко, а в третий раз взял за волосы и провел по улице до самого дома. Она выла, как зарезанная, и, конечно, нарочно притворялась, потому что, между прочим, я ее не таскал, а только слегка держал за волосы. И вот видите, вместо того, чтобы извлечь из моего урока для себя пользу, она затеяла этот скандальный суд. Так что, товарищи судьи, я категорически против развода.

— Чтобы ты, Степа, ни говорил, но после такого сраму я с тобой жить не буду. Разводите нас, гражданин судья, по всем законам, — капризно потребовала истица и поджала губы.

Я умехнулся.

— А не лучше ли помириться, Зинаида Олеговна?

— Ни за что и никогда! — запальчиво выкрикнула Зинаида Олеговна и, смахнув с ресниц слезу, добавила: — Я вся оскорблена и обесчещена.

Однако разводить мне их не хотелось. Да и все, кто присутствовал на суде, не хотели этого и, конечно, больше всех Тимур. Он уже побывал на руках у отца, потом перебрался к матери, хватал ее за нос, теребил волосы, а она поминутно целовала его и гладила.

Примирение — дело не из легких. Как правило, уже разведенные супруги мирятся дома. В суде же почти никогда.

Я рисовал истице ужасы одиночества, запугивал трудностями, стыдил, уговаривал, просил. Меня активно поддерживали заседатели, а потом начали уговаривать, стыдить и убеждать зрители. И Зинаида Олеговна стала помаленьку сдаваться. Она еще продолжала негодовать и

страдать, что женская гордость ее погублена, душа оплевана и чувства растоптаны грубым мужским сапогом. Но гнев и страдание теперь звучали как награда своему самолюбию. Она находила в них облегчение, и радость, и наслаждение. И наконец, она, счастливая и румяная, как кукла, с притворной милостью согласилась на примирение. И все, кто был в сельсовете, радовались. А я больше всех. И не только потому, что мне удалось помирить эту наивную смешную супружескую пару, а еще потому, что разбуженное природой «я» помогло мне сделать что-то большое и доброе.

Когда мы с секретарем возвращались из Макарьева в Узор, то опять повстречали чету Хотеловых. Они выходили из лавочки сельпо. Степан Григорьевич согнулся под тяжестью покупок. Одной рукой он придерживал на плече железное корыто, в котором гроыхали два больших чугуна, ведро и стиральная доска. Другой рукой он нес банку с керосином, а на шее болтался допотопный фонарь «летучая мышь», который можно еще найти в наших далеких глухих деревушках. Зинаида Олеговна несла крохотный узелок в белом платочке и тащила за руку Тимура. Он волочил ноги и грыз серый и твердый, как кусок штукатурки, пряник. Они прошли мимо, даже не взглянув на меня, а может быть, просто не заметили. Я же долго смотрел им вслед, улыбался и думал: «А все-таки, наверное, хорошая, черт возьми, эта штука мир!»

КАМПАНИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Минул год, прошла зима, и вот опять изумрудный веселый май. В моей жизни — ни перемен, ни особых событий. Были кое-какие истории, но я о них лучше умолчу.

В Узоре я теперь свой человек. Судью знают везде, в самых дальних и глухих углах, куда почта через три дня на пятый приходит. Все знают, не боятся, с охотой принимают и сажают за стол.

Заслуженная эта слава, случайная ли — трудно сказать, но повинен в ней один лишь райком. Я у него и агитатор, и пропагандист, и доверенный член, и представитель, и постоянный уполномоченный по всем видам кампаний и заготовок.

В году кампаний проходит много и разных. И не было таких, в которых бы я не участвовал. Все кампа-

нии можно подразделить на легкие и тяжелые, веселые, скучные и даже смешные. Весенняя посевная кампания всегда у меня вызывает холодный озноб. Кампания по сбору подписей под каким-нибудь воззванием за Мир — отрадная, веселая и радостная. А вот собирать яйца и шерсть с колхозников, у которых нет ни овец, ни кур, прямо скажу, и смешно, и грешно. Но самая скучная и безотрадная — это кампания по ликвидации яловости скота.

Кроме того, все кампании еще можно подразделить на нужные и ненужные, на выполнимые, трудно выполнимые и совсем не выполнимые. Как правило, все кампании в подготовительной стадии выполнимы, потом уже они становятся трудно выполнимыми, а под конец и совсем не выполняются. Но все они бледнеют перед кампанией по распространению очередного займа. Прямо можно утверждать: кто участия в подписке на заем не принимал, тот и горя не видал.

Мне ежегодно приходится проводить эту кампанию в качестве ответственного уполномоченного по Любятинскому сельсовету. Теперь я к этому делу привык, приобрел опыт и закалился. А в первый раз мне это дело показалось диким.

В середине мая, часа за два до объявления по радио сообщения о займе, наша комиссия: Ольга Андреевна Чекулаева, завсобесом Юлин, старшина милиции Кодыков и я прибыли в Любятино. Там нас ожидала своя комиссия: председатель сельсовета, его секретарь, избач, председатели колхозов, учителя и еще кто-то из местной интеллигенции. Мы объединились, сформировали десять боевых троек. Ольга Андреевна была назначена начальником штаба, а я с Кодыковым — ее помощниками. Мы должны были координировать действия ударных троек, поддерживать постоянную связь с райкомом и вести работу нерадивых и упорных подписчиков. Разработав операцию и уяснив задачу, мы стали ждать команду из райкома.

Настроение было у всех боевое, как у штрафников перед штурмом неприступного дота.

В час дня раздался телефонный звонок и команда: «Начинай». И мы начали с атаки на председателей колхозов. Они сопротивлялись стойко и мужественно на сто-рублевом рубеже и только после часовой обработки уступили еще пятьдесят, и встали намертво, заявив: «Боль-

ше ни копейки». После этого ударные тройки пошли в наступление на колхозников. Я с Ольгой Андреевной остался в штабе ожидать донесений.

Из райкома звонили непрерывно, требовали ускорить темпы подписки. У нас же, кроме полутора тысяч, ничего не было. А контрольная цифра подписки превышала эту сумму по крайней мере раз в двадцать. К концу дня райком довел ее до сорока тысяч.

Наконец наши утомительные и тревожные опасения за провал операции полностью оправдались. К вечеру явились наши тройки с трофеями. Они были очень скудны. Реальная сумма подписки не превысила и трети намеченной. Больше всех выколотил старшина Кодыков, и самую смехотворную сумму — сто двадцать пять рублей — завсобесом Юлин. Ему удалось подписать всего лишь пять человек. Ольга Андреевна передала сведения о трофеях в райком и получила нагоняй. Райком потребовал переиграть все заново. И отдал строгий приказ: без команды райкома из сельсовета не выезжать.

Эту команду мы ждали пять изнурительных кошмарных дней. За это время мы пять раз переподписывали председателей, измучили колхозников и сами измучились хуже них. Почти всех вызывали в сельсовет, и чтобы выжать каких-нибудь тридцать рублей, вели обработку всеми дозволенными и недозволенными способами: уговаривали, угрожали, стыдили, обещали. А что за подписчики?! С одних можно взять, да никак не взять. С других надо взять, да нечего.

Колхозница деревни Заклинье Алевтина Хорева, бездетная вдова, живет, как сыр в масле,— уперлась на ста рублях, и ни с места.

— Алевтина Сергеевна, и не совестно тебе? — стыдит ее Чекулаева.

— А какая мне печаль стыдиться? Что у меня, краденое аль с облаков сыплется? — режет Хорева.

— Тебя не сравнить с Надеждой Головкиной. А ведь она подписалась на полтора ста,— говорит Ольга Андреевна.

Хорева, подбоченясь, выставляет вперед груди.

— А что мне Головкина — указка? У нее своя голова на плечах, а у меня — своя. Пусть хоть на миллион подписывается. А я сказала «сто», и хошь на полосы режьте — больше не дам. А не хотите, то как хотите. Это дело полюбовное. Вот мое последнее слово, и я по-

шла: у меня корова не доена.— Хорева, затянув концы платка, направляется к двери.

— Стой, Алевтина,— приказывает Кодыков.

Хорева останавливается и, прищурясь, смотрит на старшину.

— Ну, стою, может, еще не дышать прикажешь?

— Вот тебе карандаш, а не хошь карандашом, бери мою ручку, заграничную, и поставь вот здесь собственную визу,— вежливо предлагает старшина и поигрывает своей немецкой трофейной ручкой.

— А сколько там?

— Двести.

Хорева поворачивается к нему спиной и хлопает себя по мягкому месту.

— На-ка вот, стукнись, да не ушибись!

Бесстыдная выходка Хоровой действует на нас, как плевок на раскаленное железо.

— Какая наглость! — шепчет Ольга Андреевна.

— Черт знает что,— возмущаюсь я.

Даже робкий Юлин подает голос:

— А еще женщиной называется.

— Я не женщина! — кричит Алевтина.— Это там у вас в городе на высоких каблуках женщины. А я баба, лапотница темная, и хватит вам, культурным интеллигентам, из меня жилы тянуть.

Милиционер Кодыков, равнодушный и медлительный, привыкший ко всему, холодно смотрит на Хореву и тянет, не разжимая зубов:

— Понятно. Так и запишем. Алевтина Хорева, известная спекулянтка, недовольна Советской властью.

Хорева мгновенно теряет развязность и спесь.

— Довольна, всем довольна, и властью, и партией, простите, пожалуйста, по глупости,— лепечет она.

Алевтина понимает, что дала маху, и теперь не знает, как поправить ошибку. Ее крупное скуластое лицо посерело, раздрябло, глаза налились слезами, и всю ее колотит и трясет противной трусливой дрожью. А Кодыков, как приговор, кладет ей сухие колючие слова.

— Уходите, Хорева. Денег ваших нам не надо. Без них как-нибудь обойдется государство.

Алевтина, заикаясь, хнычет:

— Простите меня, ради бога.

— Хорева, хватит тут нам жалость распускать,— резко приказывает старшина.

Она уходит и через пять минут возвращается. Вид у нее — больной коровы. Глаза мутные, а губы трепыхаются, как тряпки.

— Ну что тебе еще? — спрашивает Кодыков.

— Хочу подписаться.

— Осознала?

Хорева радостно кивает головой и глотает слезы.

Но Кодыков не сразу соглашается: задумчиво постукивает карандашом, искоса поглядывает на Алевтину, а потом обращается к нам.

— Да уж ладно, — машет рукой Ольга Андреевна и отворачивается к окну. У нее блестят глаза и дрожит подбородок. Она с огромным трудом сдерживает себя, чтоб не расхохотаться. Кодыков мгновенно меняет тон и становится изысканно любезным.

— Пожалуйста, Алевтина Сергеевна. Вот листок, карандаш, приложите свою нежную ручку.

— Сколько? — шепотом спрашивает Алевтина.

— Триста, — шепотом отвечает старшина.

— Так давеча было двести! — стонет Хорева.

— Ничего, Сергеевна, не обеднеешь. А выиграешь сто тысяч — еще нам спасибо скажешь, — успокаивает ее Кодыков и ласково поглаживает могучее плечо Алевтины. Она тяжело вздыхает и подписывается.

После ее ухода нас прорывает неудержимый хохот. Все довольны, радостны, счастливы. Триста рублей — редкая удача. Алевтину никому не жалко. Как выразился старшина, «эта спекулянтская гнида и всю бы тысячу выложила, если бы на нее покрепче нажать».

Елена Григорьевна Саликова долго и умело скрывалась от нас. Она жила в этом же селе, мы несколько раз заходили к ней и не заставляли дома. Изба у нее большая, просторная, светлая, на редкость чистая и совершенно пустая. Из имущества: стол, накрытый старенькой штопаной-перештопаной салфеткой, венский хромой стул, несколько табуреток, вдоль стен длинные вымытые и выскобленные до блеска скамьи, железная узкая кровать, на которой, не вставая уже третий год, лежит старая мать Саликовой с толстыми, как бревна, ногами. Каждый раз, встречая нас, она хрипло, едва ворочая языком, выдыхала: «Истцы хочу», — и напряженно смотрела на нас маленькими голодными глазами, глубоко запрятанными в темные ямы глазниц. Я подумал, что ее не кормят. Но мне пояснили, что старуха страдает

водянкой и страшной прожорливостью. Секретарь сельсовета бегал к Саликовым по нескольку раз в день и даже ночью. Но хозяйка где-то пряталась вместе с детьми. На третий день ее поймали рано утром, когда она доила козу. Коза, если не считать кур и кошки, была единственной живностью в хозяйстве.

Раньше Саликова получала пособие на детей за пропавшего без вести на фронте мужа. Но потом ей объявили, что муж ее жив, где-то далеко отбывает срок, и лишили пособия.

Саликова явилась в сельсовет с двумя девочками-однолетками. Светловолосые, с крохотными косичками, в голубых платьицах, в дешевых тапочках и белых носочках, девочки выглядели нарядно и улыбались. Их мать, темноволосая и смуглая, словно от загара, тоже улыбалась. Одета она была чисто, опрятно, но во все старенькое и по нескольку раз лицованное и перелицованное. Приятно и в то же время неудобно было на нее смотреть. Во всем: и в перешитом черном кашемировом платье, и в старомодных с высокой шнуровкой румынках, и в синем застиранном платочке проглядывала вопиющая бедность.

— Звали? Ну вот я и пришла,— сказала она звонко, весело, обнажив плотную белую полоску мелких зубов.

Кодыков, опустив голову и царапая ногтем стол, глухим голосом просипел:

— Надо бы на заем подписаться, Елена Григорьевна.

Елена Григорьевна, закинув голову, громко рассмеялась.

— И за этим вы меня звали?

— Ну хоть на пятьдесят рублей, Леночка,— умоляюще глядя на Саликову, сказала Чекулаева.

— В колхозе получишь что-нибудь... Продашь что-нибудь,— неуверенным голосом посоветовал Кодыков.

Она пристально и насмешливо посмотрела на Кодыкова.

— Ну и как у тебя, старшина, только язык поворачивается? Сам знаешь, что мы получаем в колхозе. А продавать мне теперь уж больше нечего. Чиста, как росинка. Разве что кто-нибудь детишек купит. Купите, товарищ судья?! — озоровато поводя глазами, обратилась она ко мне.— Не хотите? Жаль. А девочки у меня хорошие, славные,— добавила она с легкой, но грустной улыбкой.

Сколько мы ее ни уговаривали, ни убеждали, сколько ни давали ей обещаний о помощи, она на все только улыбалась и говорила: «Нет, нет и нет». Наконец, видимо, все это ей надоело, и она предложила Кодыкову невероятное и страшное условие:

— Старшина, подари мне револьвер, и подпишусь, — серьезно заявила Саликова. И не дав нам опомниться от изумления, добавила вполголоса, словно доверяя свою задушевную тайну: — Уж очень мне жить тяжело.

Взяв девочек за руки, Елена Григорьевна пошла, но у двери остановилась, приказала девочкам идти домой, а сама вернулась, ни на кого не глядя, взяла подписной лист, поставила против своей фамилии двадцать пять рублей и, не сказав ни слова, ушла, чему-то грустно и мило улыбаясь.

К четвертому дню подписки мы выжали все, что только можно. А райком требовал: «Давай, давай, давай». И тогда мы бросились на последний «опорный пункт» — колхоз «Самодеятельность». Его мы берегли на крайний случай. Взять этот опорный пункт было одновременно и легко, и трудно. Колхоз «Самодеятельность», а проще — выселки Завал, затерялся в океане непроходимых болот. Дорог туда — никаких, ни зимой, ни летом. Зато народ там подписывается на заем с большим удовольствием и на любую сумму. По крайней мере, так меня уверял избач Костя Локотков.

О выселке Завал ходят самые невероятные легенды. Впрочем, некоторые из них достоверны. Так, колхоз «Самодеятельность» за все свое существование не дал государству ни горсти зерна, ни корзины картофеля.

Достоверно и то, что этот колхоз застыл на своей первоначальной форме коллективизации. Там раз и навсегда установилось добровольное и совместное товарищество по обработке земли. Пашут, сеют они сообща. А как подходит уборка, весь урожай, будь то рожь или картофель, председатель делит на полосы и командует: «Это — Дарья, а это — Марья, тебе». Если Марья с Дарьей не согласны, то спор решается жребием. Вот так заваловцы и живут, а соседние колхозы выполняют за них поставки и недоимки.

С председателем колхоза «Самодеятельность» я познакомился прошлой зимой, случайно.

Секретарь райкома свое обещание сдержал и назначил меня руководителем кружка по изучению краткой биогра-

фии Сталина в селе Любятино. Это доверие меня не очень обрадовало, но и не так уж огорчило. И раз в две-три недели я выезжал в Любятино. За что райком ставил меня в пример другим пропагандистам.

Обычно до Любятина я добирался попутным транспортом. И в тот день я пошел к чайной с надеждой поймать подводу из тех краев. Около чайной мерзла на морозе низкорослая лохматая лошаденка с пустой торбой на морде. В дровнях на плетенке валялся самотканый половик и стояла огромная банка с керосином. Сам хозяин — высокий старик, в длинном, до пят, тулупе — прямо у стойки пил водку. Сдвинутая на затылок великолепная ушанка из куницы и развеселые глуповатые глаза придавали ему вид отчаянного задиры. На мои вопросы: «Откуда?» и «Можно ли доехать до Любятина?» он зарокотал и засипел, как граммофонная труба:

— Айда, валяй, поехали...

Но, прежде чем мы сели и поехали, прошло немало времени, в течение которого он выпил невероятное количество водки и скверного пива. После каждого выпитого стакана он, как веслами, взмахивал длинными руками и с чугунным гулом хлопал ими по полам тулупа.

— Валяй, цеди еще штукенцию,— и все норовил обнять буфетчицу. Та отмахивалась от него, как от овода, и, морщась, цедила стакан за стаканом. Он пил и беспрерывно сыпал пословицами с поговорками, переименованными на свой лад: «Баба с возу — на душе легче», «Тише будешь — дальше едешь», «И на солнце бывают пьяные», «Топоры до времени» — вместо «до поры до времени...». Бог знает, сколько бы он еще выпил водки и исковеркал пословиц, если бы не кончились деньги. Он обшарил карманы и гулко хлопнул рукавами по тулупу: — Ну, теперича все. Чист як агнец. Поехали.

Дорогой я узнал, что он — Петров, председатель «Самоделки», приезжал в район за инструкциями и керосином. Когда на его вопрос: «Кто ты?» — я назвал себя судьей, он уставился на меня, как на заморское чудо. С минуту подозрительно и тупо изучал меня, а потом громко, с помощью двух пальцев, высморкался и сказал:

— Ну и ну. Вот так дела,— засопел носом и вдруг, наклонившись, обдал меня густым сивушным перегаром: — Не люблю судей и всех прокуроров.

Столь прямое и резкое откровение меня почему-то по-

коробило. Я поднял воротник шубы и отвернулся. Как бы ни был пьян Петров, он все же сообразил, что обидел человека. И, чтобы сгладить свою вину, осторожно потянул меня за рукав.

— Слышь, судья... Ты не обижайся. У меня против вас вот тут в груди камень застрял. Ты слышь, меня судили. А за что? — и усмехаясь, закачал головой. — За честность... за совесть.

Но за что конкретно, я так и не мог понять. Видимо, и этот луженый желудок изнемог. Движения председателя стали ленивыми, язык с трудом выковыривал слова, голова дергалась, словно на шарнирах, и вдруг, громко икнув, Петров неуклюже повалился на бок.

Я взял выпавшие из его рук вожжи и стал погонять лошадь. Впрочем, даже этого и не требовалось. Лошадь сама великолепно знала дорогу и торопилась засветло в теплый хлев. Петров проспал всю дорогу. Его обросшее волосами лицо заиндеVELO, как намыленная мочалка. Когда мы подъезжали к Любятину, словно его кто пырнул в бок: он вскочил, смахнул с лица иней и, хлопнув рукавицами, подмигнул мне:

— Шкета бы раздавить! И тогда цены б нам не было. Айда в лавочку.

Я, конечно, отказался и вылез из дровней. Он гикнул, огрел вожжами лошадь и понесся к лавочке «давить шкета».

Когда в комиссии встал вопрос, кому идти в Завал проводить подписку, я первым вызвался, согласилась и Ольга Андреевна заодно провести там беседу о международном положении, а в качестве проводника нам выделили избача Костю Локоткова.

Из Любятина мы вышли с рассветом и добрались к вечеру, когда уже воздух потемнел и на небе меркли алые полосы заката, когда, словно стеклянные, сквозь чащу блестящих болотных озерца, когда уже всю дребезжащими голосами пели лягушки и, как молодые ягнята, кричали бекасы. Еще не выйдя из леса, увидели темный с полукруглой вершиной холм, словно перевернутый гигантский ковш, и черные на нем, как бородавки, дома, четко рисовавшиеся на фоне зеленоватого неба.

Выселок Завал в семь дворов вылез на вершину холма. Стоит выше леса и насквозь продувается всеми ветрами. Он совершенно гол, ни одного деревца, ни куста, над крышами домов высились шести скворечников с за-

сохшими березовыми ветками. Дома низкие, в три окна, с темными крышами, обложенные со всех сторон высоченными поленницами березовых дров.

Встречать нас высыпало все население Завала, во главе с председателем. Наш визит, вероятно, был не слишком желательным и застал его врасплох. Петров стоял в черной дубленой женской шубе, брошенной прямо на рубашку. Полы шубы едва касались колен. Когда мы подошли, он замахал руками и пророкотал:

— Пролетарский пламенный привет товарищам! — слово «товарищам» прозвучало как «щам», бабы кланялись, согнувшись пополам, а старики стащили шапки. Признаться, такое приветствие меня ошеломило. Но когда председатель с преувеличенной радостью бросился жать нам руки, я понял: Петров только что из винокурни. Так от него несло дымком, сивухой и луком. Председатель явно трусил: непрерывно махал руками, как горох, сыпал слова. Говорил он обо всем, что взбредет в голову: о погоде, и о плохой дороге, не думая и не придавая этому никакого смысла, безжалостно ругал жизнь и расхваливал власть. Во время этого нелепого разговора он как-то незаметно щелкнул пальцами и жители стали торопливо расходиться. А Петров повел нас к себе ужинать. Дорогой он также размахивал руками, нервно суетился, как курица, которая никак не может снести яйцо.

Дом председателя состоял из кухни и чистой половины. В комнатах было душно. От полов и бревенчатых стен несло запахом мыла и веников. Чистая половина полностью оправдывала свое название и была довольно-таки шикарно для крестьянской избы обставлена. Дюжина с гнутыми спинками венских стульев, широкий диван, на который со стены спускался богатый ковер. На ковре висел великолепный «Сименс». В углу стоял громоздкий старомодный комод, а на нем — приемник «Родина».

Стол уже был накрыт к ужину. Петров сбросил с плеч шубу, снял резиновые сапоги. Сунул ноги в белые валенки, а поверх рубахи натянул теплый овчинный жилет и по-кержацки на прямой пробор расчесал волосы. В комнату вошла хозяйка с огромной сковородой, на которой шипела и потрескивала в сале картошка. Поставив на стол сковороду, она прижала руки к груди и низко поклонилась. Лицо у нее светилось, словно подмасленное, и желтая кожа на оголенных руках тоже блестя-

ла. Поклонившись, она переглянулась с мужем, сердито вскинула брови и, мгновенно опустив голову, вышла из горницы. Петров, глядя ей вслед, поскреб подбородок и жалобно протянул:

— М-да-а. Вишь ка-ак...— и, спохватившись, стал топтать нас садиться за стол. Он как-то сразу присмирел: не махал руками, двигался осторожно и неуверенно, и глаза его все время смотрели куда-то в сторону.

Хозяйка поставила на стол горшок с топленным молоком и протянула нараспев:

— Иште, гости дорогие, небось, дорогой проголодались. За харч уж извините. Разных городских закусок и разносолов не знаем, живем, как лешие на болотах, в грязи, да и в бедности потонули. Прости ты нас, мать Божия,— скороговоркой проговорила хозяйка и перекрестилась. Стол был завален всевозможными соленьями и жарениями: огурцы, грибы, с розовой прожилкой шпик, творог, обильно заправленный сметаной, жирная холодная баранина.

Ольга Андреевна усмехнулась и, прищурив глаза, спросила Петрова:

— Что же это ты, Андрей Петрович, к такой закуске горячего не подаешь? Неужто нет, аль жалеешь?

Петров даже вскочил, словно собрался бежать за горячим, но, встретив грозный взгляд супруги, сел, съезжился и прохрипел:

— Не балуемся, Ольга Андреевна.

— Ой! — воскликнула Чекулаева.— Давно ли?

— С рождества. Доктор запретил,— не поднимая глаз, ответила хозяйка и, подцепив с краями ложку творогу, отправила ее в рот и крепко, тыльной стороной руки вытерла губы.

— Жаль, очень жаль. С дороги бы неплохо,— притворно вздохнула Ольга Андреевна.

Петров мгновенно засиял, заулыбался и хотел было взмахнуть руками, но, взглянув на супругу, осекся и, втянув голову в плечи, прохрипел:

— Подлая язва желудок гложет.

Слушать этот разговор было странно и смешно. Всему району было известно, что выселок Завал — самогонный край. Сивуха здесь круглый год не выводится. Гонят здесь самогон все: молодые и старые, вдовы и женатые.

После ужина Петров пошел собирать народ на собрание. Избач залез на печку и мгновенно захрапел. Хозяй-

ка занялась своими делами. Мы остались с Чекулаевой, разговорились, и она рассказала мне много любопытного о Завале, его обитателях и о самом председателе.

Никто из колхозников в районе так хорошо и привольно не живет, как заваловцы. Они природные торговцы — рыночники. Торгуют всеми дарами природы: грибами, орехами, рыбой и даже вениками. Ну и, конечно, картошкой и мясом.

Заваловцы поселились на стыке двух областей. Если для своей Н-ской области Завал благодаря непроходимым болотам недосыгаем, то от соседней области его отделяет река Шаронь. И все экономические и культурные связи заваловцы ведут с соседней областью. Дары лесов и собственных огородов переправляются лодкой через Шаронь, потом три километра — тропинкой до железной дороги, а там — поездом до города рукой подать.

Освобожденные от забот и опеки государства, заваловцы живут в свое полное удовольствие и на все приказы и постановления райисполкома и облисполкома о переселении в близлежащее село Любятино отвечают: «Нужно это нам переселение, как зайцу семафор».

Председатель колхоза Петров по характеру — чистый ушкуйник. Он не боится ничего и никого, кроме своей жены. Было бы у него покрепче здоровье да помягче жена, он не побоялся бы выйти с топором на дорогу. Но дни Петрова сочтены. У него рак желудка. Глаза у Петрова мутно-лиловые, лицо пепельное, а изо рта несет гнилью. Он, по-видимому, это чувствует и берет от жизни все, что еще можно взять. Попойки с похабными песнями и драками — любимое занятие председателя. Он не стыдится избивать в кровь стариков и женщин. И сам нередко ходит в синяках. Это следы крепких, как гири, рук супруги, которая в два раза сильнее и злее мужа. Но о проделках председателя официально никому не известно. Заваловцы не любят выносить из избы сор. Петров командует колхозом, как старшина ротой. Но, несмотря на фельдфебельские приемы руководства и узурпаторство, народ его любит и пойдет за своим председателем в огонь и воду. Петров это знает и в свою очередь готов заложить за них голову, вместе со своей великолепной куньей шапкой.

Петров был на войне. Привез с фронта две медали, партбилет, ковер, «Сименс» и три огромных чемодана, набитых под коленку немецким барахлом. Ковер с ружьем

висит на стене, медали хранятся в коробке под немецким барахлом на дне огромного, как ларь, сундука. Партбилет год назад по суду отобрали. Судили его за растрату общественных продуктов.

Как известно, сам бог освободил заваловцев от всех поставок и обязательств перед государством. За них сдавали соседние колхозы. А это, по словам самого председателя, как червь точило его честную и добрую душу. Тогда он собрал с каждого дома по два килограмма сливочного масла и понес через болота в Узор на молокозавод. Однако масло у председателя не приняли: оно оказалось с душком. Что делать, не тащить же его в такую даль обратно. «Конечно, глупо тащить назад,— поразмыслил Петров и немедля отправился на рынок, а с рынка — прямым ходом в чайную, а из чайной его под руки привели в милицию. Прокурор совершенно не обратил внимания на то, что масло было с «душком», важно то, что оно было колхозное. Получив семь лет лишения свободы, Петров и года не отбыл: отпустили на волю по состоянию здоровья, или, как выражается он сам, «сактировали». Вернувшись в Завал, Петров опять, против воли и желания районного начальства, стал председателем. Впрочем, больше и выбирать было некого...

Председатель вытащил на собрание все население Завала. Оно составило ровно девятнадцать человек: три старика, пять старух, восемь женщин полупреклонного возраста, сам председатель, парень лет двадцати, худосочный, с серым болезненным лицом, и плотная крупная дивчина. У нее было все красное: и платок, и грубая шерстяная кофта, и лицо, и губы, и даже веки глаз.

Петров выдвинул стол на середину комнаты и поставил три стула. Сам сел в середине, а по бокам посадил меня и Ольгу Андреевну. Поплевав на ладони, он пригладил волосы и, как палкой, постучал по столу пальцами, потом уткнулся в лежащий перед ним лист бумаги и резким хриплым голосом выкрикнул:

— Анисья Яичкина!

Ему никто не ответил.

— Анисья, ты чего молчишь? — грубо спросил председатель. — Встань и говори: «Здесь». И все, кого буду вычитывать, бойко вставать и говорить «здесь».

Анисья Яичкина встала и сказала: «Здесь».

Петров пристально, с ног до головы, оглядел ее и, видимо, остался недоволен.

— Что же это ты на собрании, в чистой избе, перед товарищами из района в вонючей шубе развалилась? Пооди на кухню и сними.

Анисья покорно встала и пошла на кухню снимать шубу, а Петров уткнулся в бумагу и выкрикнул:

— Степан Волконос.

Лохматый до бровей Волконос вскочил и гаркнул:

— Здесь, Андрей Петрович.

— Молодец,— похвалил его Петров и пояснил: — Наш передовик. Вы не глядите, что он так старо выглядит, это он от темноты и малограмотности не бреется. А так он мужик еще хоть куда. Степан, сколько у тебя трудодней?

Степан вскочил и гаркнул:

— Не могу знать, Андрей Петрович!

Председатель с притворным изумлением вскинул брови:

— Как же это ты не знаешь, сколько у тебя трудодней? — и сокрушенно покачал головой. — Вот она, наша русская темнота и малограмотность,— и обратился к супруге: — Подай-ка мне ведомость!

Хозяйка сходилa на кухню, принесла лиловую папку с черными шнурками. Петров развязал шнурки и, прикрываясь от нас локтями, уткнулся носом и долго что-то выискивал в папке, а потом поднял вверх палец и торжественно произнес: «Сто пятьдесят два трудодня и двадцать пять соток».

Ольга Андреевна мне хитро подмигнула. Я понял, что это — липа. Никаких ведомостей и учета у него не ведется.

Петров продолжал перекличку. Когда все по очереди были опрошены и расхвалены, он спрятал лист в папку, завязал на шнурки и передал ее супруге. Потом встал, кашлянул в кулак и прохрипел:

— Всем слушать внимательно и не спать. Слово предоставляю товарищу из райкома Чекулаевой.

Ольга Андреевна — натура страстная и вспыльчивая. Она всей душой ненавидит подлость с несправедливостью, встречая их на каждом шагу, идет по жизни с высоко поднятой головой и презрительной усмешкой на губах. Она смотрит на все это, как на временное и неизбежное зло, как смотрят при строительстве дома на грязь и мусор. Она верит, что когда построят это чудесное здание — коммунизм, вьются дворники в белоснежных хала-

тах и всю грязь и нечисть, подлость, зависть, тщеславие, ханжество, карьеризм — все они выметут, выбросят на свалку, сожгут или глубоко закопают в землю. Она давно уже вся в будущем, и верит ему и поклоняется. Испытывая жалость к людям, она одновременно и презирает людей, за их неверие и равнодушие.

В районе ее считают чудаковатой энтузиасткой, живущей миром простодушных детских представлений. Она резко, прямо в глаза режет правду-матку, не взирая ни на чины, ни на должности. И это ей с улыбкой прощают, за что другой бы дорого поплатился. Не думаю, что это — скидка на ее наивность и женское существо. Скорее всего, Чекулаева для работников района — их утраченная совесть. То, что у карьеристов на дне души чуть-чуть шевелится, то у Ольги Андреевны бурлит и плещет через край. И это в какой-то степени мирит ее с нами.

В течение часа Ольга Андреевна говорила о трудностях послевоенного времени, о мужестве народа, преодолевающего эти трудности, красиво рисовала жизнь при коммунизме.

Потом началась подписка на заем. Заваловцы подписывались с шутками, прибаутками и с такой охотой, словно им денег девать было некуда. Петров, веселый, довольный, размахивал руками, хвастался:

— У меня чудо-народ. Скажи: «Степан Волконос, подписывайся на тыщу...», — и подпишется. Подпишешься, Степан?

— Так точно, Андрей Петрович, — скаля зубы, гаркнул Степан.

Все это было так. Если бы Степану предложили подписаться на миллион, он бы не моргнув глазом подписался. Но подписался бы, и только. Не было случая, чтобы заваловцы когда-нибудь, не исключая и председателя, уплатили по займу хотя бы копейку. Когда Ольга Андреевна предложила вносить деньги сразу наличными, они дружно повалили на улицу. Мы не удерживали их. Наша задача была выполнена. Мы их подписали. Чего же еще надо?!

Я остался ночевать у Петрова. Ольга Андреевна пошла в соседний дом. Мне постелили на диване. От необыкновенных простыней пахло затхлостью и нафталином. Я лег и попросил Петрова включить приемник, прослушать последние известия. Он с большой неохотой, жалуясь, что батарея села и лампы вот-вот совсем сгорят, все

же включил. Диктор сообщал об успешной подписке на заем. Батарей действительно сели. Приемник еще кое-как поговорил о трудовых успехах, потом перешел на шепот и, наконец, пикнув, умолк, Петров почесал поясницу, каким-то ошалелым взглядом покосился на иконы, безнадежно махнул рукой и, сбросив с ног валенки, не раздеваясь, завалился на кровать. Вошла хозяйка, задула лампу, легла с ним рядом. Она тоже не разделась. Видимо, прошло для них то славное золотое времечко, когда они ложились в постель не только затем, чтобы спать. Я с головой завернулся в одеяло, сжался в комок и с ужасом подумал об обратной дороге в Любятино.

ИЮНЬ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

В окно моей комнаты видны железнодорожная насыпь, будка на ней, два куста вербы и лоскут белесого неба.

Утро. Солнце насквозь прожигает стекла, в комнате светло и жарко. Васюта под окнами кормит кур. Я знаю, что она сейчас придет и расскажет какую-нибудь новую историю.

— А вчерась-то... Не слышали? — начнет она. — Аптекарь чуть не утонул. Налил глаза и пошел в баню. А около бани яма. Он в эту яму с пьяных глаз нырнул и не вынырнул. Почти мертвого вытащили и на «скорой помощи» увезли в приемный покой. Положили там его на стол, завернули рубаху и только было хотели по евонному животу ножом полыснуть, а он очухался, открыл глаза и начал потихоньку матюкаться. Во срамник-то. Говорят, весь спирт в аптеке вылакал.

Потом Васюта побежит к соседке Наталье, а от нее — к подружке Марье. И каждый день будет передавать эту историю по-новому. И покатится по Узору десятков самых невероятных легенд об утоплении бедного аптекаря. Хотя это никакая не история и даже не событие. Обыденный серенький случай. Пошел аптекарь в баню, на мостках оступился и упал в яму, сильно ушибся, и его отвезли на машине в больницу. Меня всегда возмущает мещанская страсть находить в человеке только плохое и радоваться этому, и раздувать до нелепых размеров. Одни это делают из злобы, другие ради забавы, третьи — так просто, и сами не знают для чего. Этим грешат не только мещане, но и интеллигентные люди. В институте один

кандидат юридических наук, кажется, Кениг, читал нам лекции о половых преступлениях. Примеры он брал из личной жизни замечательных людей. С каким удовольствием он смаковал все дурное, словно бы он сам подсматривал все это в замочную скважину. И мы, студенты, вместо того, чтобы оборвать пошляка, слушали его восхищенно, раскрыв слюнявые рты. Почему же это так получается? Почему мы не ищем с таким усердием в человеке хорошие, добрые начала и не развиваем их? Уверен, если бы мы так поступали, и жизнь бы наша была намного светлее и отраднее...

Выходной день. Скука. Не знаю, куда деваться от тоски. Симочка давно уже мне не пишет. Что с ней? Помнит ли она меня? Ее наивный, милый упрек: «Ах, Семен, зачем?» — я повторяю теперь по нескольку раз в день.

Разыскиваю последнее ее письмо, читаю (какой уж раз!) исписанный Симочкой тетрадный листок, так мелко, словно бисером усыпанный. В нем много ошибок. В первый раз, читая, я подчеркнул их красным карандашом. Тогда это мне доставило какое-то удовольствие. А теперь я об этом жалею. В этом же письме она грозилась скоро приехать. Но прошло пять месяцев, она не едет и не пишет. Какое-то смутное предчувствие беспокоит меня. Почему характер Васюты с каждым днем черствеет и портится? Разговаривая со мной, не смотрит в лицо, поджимает губы, слова роняет, как тяжелые капли. На днях потребовала деньги за квартиру уплатить за месяц вперед. А вчера заявила, что мясо на рынке подорожало. Черт с ней, с Косихой, и с мясом, буду ходить в чайную. А придет Симочка, и все само собой уладится. Но почему она не пишет? Неужели ее молчание — начало конца? Я не хочу этого! Я теперь очень люблю Симочку. А может, это все только кажется, и мои страдания не что иное, как тоскливая блажь. Почему же я тогда все равно думаю о ней? Разве мало в Узоре хороших девушек? А вот меня тянет к ней. Симочка ничуть не красивее, не добрее, не умнее своих подруг. Но у нее есть то, чего нет у других. А что это, я затрудняюсь объяснить. Она вся какая-то уютная. А мне этого уюта очень не хватает. Вот почему, мне кажется, я о ней думаю. Думает ли она обо мне?.. Надо выяснить немедленно, сейчас же, иначе будет поздно.

Я сажусь сочинять письмо. «Симочка, здравствуй...»

В голове вихрем кружатся: «Милая», «любимая», «радость», «голубка», а сбросить их с пера на бумагу не хватает сил.

По радио исполняют фортепьянный концерт Шопена. Дивная неземная музыка захватывает меня, и я забываю и о Симочке, и о Васюте, и о своей скучной неуютной жизни. Я слушаю без волнения, без радости, уронив на стол голову. Пианист едва касается пальцами клавиш, а мне больно, словно он бьет по сердцу. Музыка смолкла, и мне так грустно, словно мимо промелькнуло что-то неповторимо прекрасное.

Вошла Васюта и остановилась в дверях, держа руки под фартуком.

— Завтрак-то готовить, или в чайную пойдешь? — и ушла, что-то бормоча под нос.

Я скомкал письмо, швырнул его в печку, оделся и пошел в чайную.

По случаю воскресенья чайная пустовала. У входа дежурил хромой бездомный дворянин Пират. Обычно, когда в чайной народу невпроворот и официантки мечутся, как угорелые, Пират околачивается меж столов, с успехом нищенствует.

В просторной с низкими потолками комнате, словно голубая кисея, висел кухонный чад, пахло луком и еще чем-то таким, отнюдь не съедобным. В дальнем углу уполномоченный по сенозаготовкам Рассказов пил водку. Он уже третий месяц безвыездно живет в Узоре и с утра до вечера просиживает в чайной. Прокурор на него поглядывает с вожделием. Да и мне кажется, что Рассказов, видимо, не в ладах с Уголовным кодексом.

За другим столом Ольга Андреевна Чекулаева отчитывает повара Федю Тюлина. Федя стоит перед нею навытяжку и, как солдат, повторяет одно и то же:

— Так точно. От нас не зависит.

— А грязь от вас тоже не зависит? — спрашивала Ольга Андреевна.

— Так точно. Это дело официанток, — бойко отвечает Федя.

— А плохие обеды тоже от вас не зависят?

— Так точно. Не зависят.

— От кого же тогда?

— От потребсоюза. Что дают — из того жарим, парим, варим.

— А мухи в борще от кого зависят? — Чекулаева

подцепила ложкой муху и поднесла под нос повара. Федя даже не моргнул и бойко заявил:

— Это не муха, а жареная луковка.

Ольге Андреевне пришлось пригласить свидетелей: меня и Рассказова. Под строгим надзором шести глаз, Федя стал близоруко и внимательно изучать муху.

— Ну да, луковка, самая настоящая подгорелая луковка,— откуда же тут мухе быть? Разве что с потолка свалилась.

Ольга Андреевна приказала Феде немедленно убрать тарелку с борщом. Федя взял тарелку и, ворча, что надо самой дома обеда готовить, а не по чайным шляться, пошел на кухню. Рассказов, глядя ему вслед, мрачно сказал:

— Таких подлецов надо лупить и вешать.

Аппетит у Ольги Андреевны пропал. Она отказалась от борща с гуляшом и выпила один лишь стакан чая. Я же от роду не брезглив. Что мне муха, когда я пережил ленинградскую блокаду и окопы синявинских болот. Но из солидарности тоже не стал обедать. Только вместо чая заказал бутылочку пива. Рассказов, увидев такой оборот дела, попытался переключиться за наш стол. Ольга Андреевна спросила: «Зачем?», и он, не зная, что на это ответить, удалился в свой угол допивать водку.

Время уже подходило к полудню. Я пожаловался Чекулаевой на безысходную тоску и скуку. На это Ольга Андреевна ответила, что ей и хотелось бы немножко поскучать, да нет ни минуты свободного времени.

— Отчет о работе парткабинета готовить надо? Надо. Статью в газету написать надо? Надо, Семен Кузьмич,— улыбнулась она и зажала второй палец.— В среду опять занятие по марксизму, и к экзаменам в институт готовиться ой как надо! Сессия на носу, а у меня еще и конь не валялся. Когда же тут скучать? Когда на сон не хватает времени. Жаловаться на скуку с тоской могут только бездельники да пустые люди.

Я хотел ей возразить, но она меня перебила:

— А ты что, не можешь найти себе в выходной день разумного дела? Не можешь? — И, не ожидая моего ответа, заявила: — Так я это дело тебе сейчас подберу. Поезжай в свой колхоз и проведи занятие с коммунистами.

Я сказал, что у меня занятия по пятницам. Она усмехнулась:

— Знаем мы эти пятницы. Уверена, опять не поедешь,

скажешь, что завален делами. Ты и так уже подряд четыре занятия пропустил. Смотри, как бы на бюро не вытащили. По-хорошему поезжай. Теперь тебе и ехать-то недалеко. Каких-то пятнадцать километров, и поездом.

В этом году меня повысили: назначили руководителем кружка по изучению краткого курса ВКП(б) в колхозе «Новая жизнь».

Время до вечера девять некуда. Погода отменная: полное безветрие и солнце. Оно захватило все небо и нестерпимо колет поселок жгучими лучами. Воздух застыл, и Узор как будто вымер. Пират от жары дышит, как загнанный. Язык у него изо рта вывалился и болтается, как тряпка. Около чайной куры лениво перетряхивают лошадиный помет. На самой макушке высоченной ели чучелом торчит ворона. Ей даже каркнуть лень. Ни писать, ни читать, ничего не хочется. И спать тоже. И в самом деле, почему бы не поехать в колхоз? Провести занятие и — гора с плеч.

Иду на станцию и успеваю как раз к приходу поезда. Поезд стоит в Узоре одну минуту, и билетов в летнее время на него не бывает. Но это меня не волнует. Перехожу на другую сторону поезда, степенно прогуливаясь вдоль вагонов и, как только они трогаются, вскакиваю на подножку, а следом за мной вскакивает парень в темно-синем костюме.

Паровоз набирает скорость, мелькает семафор, будка, Васютин дом, придорожный кустарник. Упругий прохладный ветерок хлещет в лицо, пузырем надувает рубаху. Чудесно!

Усаживаюсь поудобней на подножке, закуриваю. Парень тоже закуривает и косо поглядывает на меня.

— Далече?

— До «Новой жизни».

— Зачем?

— По делу.

— А кто вы будете?

Мне почему-то стыдно признаться, что я судья.

— Инструктор.

Парень смотрит на меня в упор и сплевывает окурок.

— Инструктор? Понятно... А какой инструктор?

Врать, так уж врать до конца.

— По физкультуре.

Парень усмехается.

— И давно?

— Что давно?

— Инструктором стали?

— А вам какое дело?

Глаза у парня стекленеют.

— Хватит врать, судья Бузыкин, кажись? Ну, что смотришь? — И невесело усмехнулся. — Своих не узнаешь? Пуханов я. Судил меня год назад за хулиганство.

Мне показалось, что поезд споткнулся и пошел назад. Я схватился за поручень с такой силой, что в глазах потемнело. Я онемел от страха. Да и как не онеметь? Преступник и судья на одной подножке поезда.

Это случилось в Павском сельсовете. История и трагичная, и до тривиальности плоская. Пуханов, он, кажется, был трактористом, ходил в женихах. Его невеста работала секретарем директора МТС, редкой красоты девушка, но избалованная и пустая. Ее словно бы слепили не из нашего теста. Кожа ее казалась то смуглой, то светлой. Цвет глаз уловить было почти невозможно. Темнота их в одно мгновение сменялась синевой, синева — прозрачной голубизной, порой они были золотистыми и в ту же минуту гасли, становились темными, глубокими, как омут. У нее все было легкое: и фигура, и походка, и особенно взмах рук, которые напоминали крылья. В то же время она была взбалмошна и пуста, как драгоценная шкатулка на выставке.

Пуханов, парень видный, отчаянного нрава, любил ее до безумия. Об этом можно судить по преступлению, которое им было совершено из ревности. Оно отличалось невероятной дерзостью и опасностью.

Незадолго до свадьбы в Павске появился молоденький лейтенант. На нем все блестело: сапоги, погоны, пуговицы, кокарда и даже козырек фуражки с бархатным околышем. Этот блеск затмил солнечный свет, и голова секретарши закружилась, как карусель.

Поначалу тракторист не обращал на это внимания. Правда, он намекал, что при удобном случае намылит лейтенанту физиономию. И, безусловно, свою угрозу выполнил бы, если б не желтая кобура на боку лейтенанта. Но он не знал, что в кобуру вместо пистолета была засунута деревяшка. И очень жаль. Может быть, не было бы тогда ни суда, ни скандала, шум которого прокатился по всему району.

Прошла неделя, другая, и до Пуханова дополз слухок, что его невеста уезжает навсегда с лейтенантом.

Секретарша устроила не то помолвку, не то просто ве-

черинку. Хотя отвергнутый жених и не был приглашен, но он явился с компанией дружков и выпивкой. Невеста перепугалась, но Пуханов заверил, что пришел гулять по хорошему. И все было бы хорошо. Тракторист вмиг подружился с лейтенантом, за столом сидел с ним в обнимку, пил осторожно, был весел, остроумен, громче всех пел и ловчее всех плясал. Начались танцы. И тут секретарша все испортила. Пуханов пригласил ее на вальс, но она ему отказала и бросилась в объятия лейтенанта. Пуханов и это стерпел. Но когда она, танцуя, стала целоваться с офицером, нервы у Пуханова лопнули, как перетянутые струны, со звоном и грохотом.

В суде Пуханов рассказывал: «Меня словно кто ударил по голове, все завертелось, в глазах потемнело, и я полетел в какую-то пропасть». Он схватил стол и с невероятной силой ударил его об пол. Стол крякнул и развалился на куски. Гости бросились вон, давя у двери друг друга. Первым выскочил лейтенант, без шапки и шинели. Пуханов носился по дому, как ураган. Бил, громил, топтал, корежил. Когда уже больше бить и ломать было нечего, он сорвал с петель дверь, унес ее на спине и бросил в реку.

В суде Пуханов держался вызывающе. В последнем слове заявил, что он ни в чем не раскаивается, и, если бы в ту минуту ему под руку попал лейтенант, он бы его наверняка уколошил. Лейтенант на другой же день после скандала уехал. Когда я стал допрашивать секретаршу, она вся затряслась, заплакала и попросила простить его. Пуханова осудили на год лишения свободы. Он выслушал приговор и удивленно спросил:

— За что? За разбитые горшки? А что тут разбито вдребезги, — он постучал кулаком по груди, — так это вам ничего. Эх, вы, судьи!

Милиционер тронул его за рукав и сказал: «Пойдем».

— Пойдем, — вздохнул Пуханов и погрозил кулаком: погодите, отбуду срок — я вам все припомню!

Милиционер завернул ему руку за спину и вывел на улицу.

И вот через полтора года его угроза сверкнула, как молния среди ясного неба. Я мертвой хваткой вцепился в поручень и сжался в комок, думая, если он меня прирежет, то не так просто будет ему сбросить меня с подножки. А Пуханов насмешливо сквозь зубы цедил:

— Судья и преступник на одной подножке поезда. Вот так встреча. Расчудесные чудеса.

Я плохо слушал. Страх отнял у меня способность думать, понимать, соображать. В голове вертелась одна дикая мысль: махнуть с подножки под откос. Но поезд шел быстро и как раз по тому перегону, который здешний народ прозвал «проклятым». Зимой здесь погиб парторг колхоза «Новая жизнь». Он возвращался домой глубокой ночью в снежный буран с бюро райкома. Парторг шел по рельсам против ветра, закутав голову башлыком. Поезд подкрался сзади и раздавил его, как муху, а осенью на ходу из товарного вагона вывалилась свинья, и совсем недавно на этом перегоне паровоз сбросил с рельс корову. Только бы проскочить этот проклятый участок, там начнется подъем. Я мысленно молил бога, подгонял и торопил поезд. Пуханов, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Сидел он на ступеньке, сгорбясь, втянув голову в плечи. Но вот он пошевелился, кинул на меня косой взгляд и сунул руку в карман. И в то же мгновение какая-то неведомая сила толкнула меня с подножки. Я очень плохо помню, как это получилось... Его рука, схватив меня за воротник, придавила к ступеньке. Лицо у него было, как мел, а в расширенных веках вместо глаз метались огромные белки. Пуханова трясло. Он долго не мог поймать в пачке папиросу. Наконец это ему удалось, и он в пять глубоких затяжек выкурил ее. Я чувствовал себя так, словно меня опустили в парное молоко.

Накурившись, Пуханов несколько успокоился и, покачивая головой, стал размышлять вслух:

— Ну и ну... Вот так дела... Час от часу забавней. С чего это он?.. Жить, что ль, надоело...— и вдруг резко спросил: — Испугался? Меня?

Я не ответил. А что я мог ему сказать?

А Пуханов продолжал рассуждать:

— Вот люди, только о себе думают.— И опять обратился ко мне: — Если бы ты, судья, разбился, мне бы была последняя амба. Наверняка приписали бы убийство. Просто ужасно подумать,— он весь содрогнулся и с горечью произнес: — А я там как зверь вкалывал, чтоб досрочно освободиться. А тут...— и не договорив, махнул рукой.

Начался подъем. Поезд, сбавляя скорость, лязгая буферами, дергался, как ушибленный.

Пуханов встал, с презрением посмотрел на меня и плюнул.

— И ехать-то с тобой противно. Того и гляди еще какую-нибудь штуку выкинешь,— сказал он и прыгнул с под-

ножки, несколько шагов пробежал за вагоном и упал. Он лежал плашмя, не двигаясь, а потом медленно поднялся и стал тереть ушибленное колено.

Мне теперь ничто не угрожало. А мне было так плохо, словно я совершил непростительную подлость. Когда я вспоминаю этот дорожный случай, меня передергивает, как от озноба... И в то же время этот случай заставил меня смотреть по-другому на человека. В самом плохом, отвратительном я пытаюсь отыскать хоть крупицу доброго, хорошего. И когда мне преподносят человека как пример идеальности, я этому так же не верю, как и не верю, когда мне говорят о человеке, как о кладезе зла и пороков.

ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ

Уборка хлеба подоспела как раз к Ильину дню. Илья в Узорском районе празднуется широко и буйно. После него Магунов пожинает богатую ниву. Он заваливает судделами, связанными с самогоноварением, хулиганством, драками и даже убийством.

Русскому народу приписывают кучу всевозможных пороков, причем большинство из них злобно вымышленных. Но то, что наш простой человек не умеет отдыхать и веселиться, — бесспорная и горькая истина.

Ученые сделали удивительные открытия в химии, астрономии, биологии, медики умудрились заставить биться сердце в холодной стеклянной банке, оживлять мертвых, физики проникли в сокровенные тайны атома и выпустили на свободу чудовище, обуздать которое до сего времени не могут, и ничего до сих пор не предприняли радикального против такого древнего и страшного яда, как алкоголь. Борются с ним такими же методами и способами, как с насморком или с головной болью. Но чаще всего говорят: «Не пей». Но это все равно, что сказать больному: «Не болей».

Нельзя зараженному алкоголем поставить в вину, что он пьет. Это не вина — беда его. Я против всякого употребления алкоголя, как умеренного, так и неумеренного. Между ними трудно провести границу. Как умеренное, так и неумеренное парализует психику и разрушает организм.

Теперь-то я знаю, что преступления чаще всего совершаются не в состоянии глубокого опьянения, а «под хмельком».

Поработать бы ученым, подумать над тем, чтобы изобрести такой напиток, который так же, как алкоголь, возбуждал бы человека, но не дурманил бы и не разрушал его здоровья. Эта задача не менее важная, чем проблема межпланетных путешествий. И это был бы самый ценный подарок человечеству.

Узорский райком считает религиозные праздники источником всех бед, неудач, провалов. Сорвались сроки сева — виновата троица. Сенокос затянулся — по вине святого Ивана Крестителя. Не вовремя начали уборку — виноват Илья, потом Спасы с Флорами и Лаврами, и тому подобное.

Теоретическая борьба с религией в нашем районе, да и в соседних, сводится к чтке лекций, докладов, бесед...

Вызывают в райком завсберкассой Авенира Агеича Темкина, дают строгое задание: в колхозе «Красный партизан» завтра религиозный праздник — десятаяпятница. Выедешь сегодня, проведешь антирелигиозную беседу, а в праздник с утра организуешь стопроцентный выход людей на работу.

Темкин пытается всячески отвертеться. Ссылается на срочные дела в сберкассе, потом на свою болезнь, потом на болезнь жены и ребятишек, наконец, на свою малограмотность. Когда все уважительные и неуважительные причины исчерпаны, Авенир Агеич прибегает к прямым угрозам.

— Хорошо, я поеду. Но попомните, вместе с колхозниками и сам напьюсь, как свинья. Вы же знаете мою слабохарактерность...

В ту же минуту Авенира Агеича сражают наповал тяжелой, как свинцовая печать, фразой: «Будешь пьянствовать — положишь партбилет», после которой покоренный Авенир, прихватив в библиотеке брошюру «Религия — опиум и яд народа», выезжает в колхоз и пьянствует там весь праздник напропалую.

Практическая борьба с религией пошла по линии разрушения церквей. Причем все это делается не из варварского умысла, а с какой-нибудь благовидной полезной целью. В селе Щели сломали великолепный, в романовском стиле, храм, оттого, что МТС понадобился кирпич на строительство мастерских.

В трех километрах от поселка находится Малый Узор. Там стояла большая деревянная церковь. Райисполком постановил эту церковь разобрать, перевезти и построить из нее районный Дом культуры. Сколько было потрачено сил,

чтобы ее сломать и перевезти. И вот она уже второй год лежит бесформенной грудой на пустыре, и жители потихоньку растаскивают ее на дрова.

За день до Ильина дня я получил от секретаря райкома обычные инструкции по проведению праздника и строгий приказ не выезжать из колхоза до особого распоряжения, организовать там уборку хлеба и сдачу его государству.

Прежде чем ругать бога, надо кое-что о нем знать. А то можно оконфузиться хуже, чем оконфузился у нас один весьма почтенный лектор, специалист по антирелигиозной теме.

Ругать бога в деревне — и сейчас дело нелегкое, полное самых неожиданных сюрпризов. Наш колхозник, говорят, пока еще сероват и мешковат. Но страшно хитер и остроумен. Правда, его юмор далек от «англицкого». Он тяжеловесен и крепок, как железобетон. Но зато если врежет, то долго будешь чесаться и ежиться.

Так вот, этот почтенный лектор, а он действительно был почтенный: не пил, не курил, вместо очков носил пенсне. Его лекции отличались идейной стойкостью. Свои мысли он для пущей недоступности укреплял мощными непробойными цитатами.

В одном колхозе накануне пасхи этот почтенный лектор безжалостно поносил Христа с девой Марией. Его слушали с обычным равнодушием: без восхищения, одобрения и даже возмущения. Окончив лекцию и получив должную порцию аплодисментов, лектор спросил: «У кого будут вопросы?» Эту фразу лектор произнес не потому, что ему хотелось вопросов, наоборот, он даже боялся их, а сказал просто так, ради заведенного порядка. И уже уверенный, что никаких вопросов не будет, лектор поклонился, взял шапку, и вдруг неожиданно к столу протискался неказистый на вид старикашка, с бельмом на глазу. Он чем-то напоминал кактус: такой же сухой и колкий. Вид у него был настолько обшарпанный и жалкий, что лектору стало почему-то совестно за свое драповое с каракулевым воротником пальто.

Старикашка подергал свою бороденку, похожую на жидкий пучок кудели и гугняво сказал, что у него есть вопросишко, но задать его он боится, так как этот вопрос скабресный, а выражаться по-культурному он не умеет.

Лектор подбодрил старичка, заверил, что ему бояться нечего, ибо всякий вправе выражаться так, как он умеет,

да и вообще дело не в форме, а в содержании. Ободренный и обласканный старик спросил, видел ли лектор, как ходит корова по большой нужде. Лектор сказал, что он видел, как корова ходит по большой нужде, и даже не один раз. Тогда настырный старикашка спросил, как ходит по этой нужде овца.

— Горошком, — уверенно ответил лектор.

— Так, так, правильно, горошком, — прогнусавил старик, прищурив здоровый глаз и сверкнув бельмом. — А почему корова ходит лепешками, а овца горошками?

Озадаченный лектор пустился в пространное толкование о биологических свойствах разных организмов, запутался и сказал, что к этому вопросу он не готов, а в следующий раз он на него обязательно ответит. А старикашка с искренним сожалением покачал головой и сказал:

— Эх, товарищ, товарищ... Сам в дерьме не разбираешься, а нам о боге толкуешь.

Мне не хотелось иметь славу почтенного лектора, и я решил серьезно подготовиться к беседе с колхозниками. Если уж нападать на бога, так с оружием в руках. И решил я засесть за Библию. С Библией я познакомился в детстве, когда еще был жив мой набожный дед. Эта грозная, тяжелая, с медными застежками книга тогда внушала мне невольный страх. Дед заставлял читать Библию вслух. К концу жизни он совершенно ослеп. А чтение священных писаний для него было единственной услугой. Вначале я ее читал безропотно, с уважением, потом я к ней привык, а потом возненавидел. И как только наступал для деда час принятия духовной пищи, я улепетывал из дома. Но все-таки он опять усаживал меня за Библию, и я ее дня три читал с усердием, получая каждый раз рубль, а на четвертый день потребовал два рубля, потом дошел до трех, и дед платил исправно, но только каждый раз кричал и шептал себе под нос: «Прости ты нас, господи, грешных». Но когда я потребовал пятерку, набожная душа деда возмутилась. Он обозвал меня антихристом и отпустил увесистую оплеуху. Я и сейчас удивляюсь, как это он сослепу сумел так ловко звездануть меня по уху.

Конспект лекции я готовил с дальним прицелом, рассчитывая, что мне ее хватит, если уж не до конца жизни, то, по крайней мере, на весь период службы в Узоре. Получился весьма объемистый трактат против бога, но похвастаться им мне так и не удалось.

В село Юшки я прибыл в канун Ильи, под вечер.

Пастух гнал на покой стадо. Густая пыль поднималась из-под копыт клубами и повисала над домами плотной завесой, сквозь которую с трудом просачивались жидкие желтоватые потоки солнца. Ветра не было. Все предвещало на завтра отменную погоду. Стрижи вились высоко, дым из труб поднимался винтом, на небе растаяло последнее облако, над низинами нависал туман, и солнце, заливаясь мягким румянцем, осторожно, словно бы боясь уколоться, садилось на темный гребень леса.

По запахам, оживленности было заметно, что в Юшках готовятся к чему-то необычному. На реке ребятишки надраивали песком медные самовары. Везде мылись полы и дружно топилась бани. Доваривали самогон и начинали заваривать студень. В лавочке стояла очередь за мелкой ржавой рыбешкой. Нарасхват брались твердые, как камни, пряники и шоколадные конфеты. Все старались в честь Ильи вывернуть свои карманы наизнанку.

Уже появились пьяные. Бригадир Костя Говоров, качаясь, брел посредине улицы. И если бы у него в карманах не торчало по бутылке фруктового вина, то он наверняка бы потерял равновесие и свалился.

Председатель колхоза Ипполит Васильевич Ласточкин тоже был слегка навеселе. Он знал о моем приезде и встретил меня радушно. Но когда я ему сказал, что надо идти собирать на лекцию народ, мгновенно скис. Я отлично понимал его положение. И в обычный-то день вытащить колхозника на такую лекцию — задача не из легких, а в праздник... Я заколебался, а Ипполит Васильевич поднажал:

— Эх, Семен Кузьмич, одному лешему нужна нынче эта лекция. Зачем бередить нервы себе и другим. Пойдем-ка лучше в баньку.

Парились до одурения. Баня стояла на берегу реки. Обессиленный, я выползал из нее, с обрыва бросался в воду и плавал до тех пор, пока у меня не начинали стучать зубы, а потом опять забирался на полок. Ипполит Васильевич столько нагонял пару, что баня, будь она на колесах, поехала бы.

Придя домой, Ипполит Васильевич раскупорил поллитру, и мы ее в полчаса опорожнили под малосольные огурцы и студень с хреном. Прихватив подушку с одеялом, я добрался до сарая с сеном и уснул, как убитый.

Солнце давно уже взошло, когда я проснулся. Сквозь дырявую, как решето, крышу дождевым ливнем струились

его лучи, и весь сарай был испещрен яркими бликами. Под крышей на перекидном бревне сидел голубь-сизак и, склонив набок голову, пристально разглядывал меня. Я сладостно потянулся, но, вспомнив, где я нахожусь, и о своих обязанностях, с испугом посмотрел на часы. Шел девятый час...

Солнце ложилось яркими квадратами на пол. В печи трещали дрова, плевался котел и сердито шипели угли. Хозяйка разливала по мискам студень. Ласточкин в валенках, в грубой нательной рубахе, сумрачный, обгладывал кости.

На мой вопрос: «Вышел ли народ в поле?» — Ипполит Васильевич ответил, что еще не выходил.

— Почему?

— Так ведь же праздник, Семен Кузьмич,— жалобно протянул Ласточкин.

Я сказал ему: есть приказ райкома — в праздник работать. Напомнил о честном слове, которое он мне вчера дал, что колхозники все, как один, с утра выйдут на косовицу хлеба.

— Зачем же вы обманули меня?

Но председатель ничуть не обиделся на мой резкий упрек и наивно ответил:

— Я ждал, когда вы проснетесь.

— Зачем?

— Чтоб вместе идти по домам, выгонять.

Я опешил.

— Что, это всегда так делается?

— А то как же. Без уполномоченного ни за что не пойдут.

Я пожал плечами и сказал, что в таком случае давно бы надо было разбудить меня.

— Так я ж пошел будить,— воскликнул Ласточкин,— и не смог. Уж очень вы, Семен Кузьмич, хорошо спали.

По тому, с каким сладким подхалимством это было сказано, я понял, что он и не думал будить уполномоченного, и не разбудил бы его, если бы он проспал в сарае весь праздник.

Пока Ипполит Васильевич умывался, одевался, а делал он все это с нарочитой медлительностью, прошел еще час. И когда мы вышли, солнце уже поднялось высоко и по всему сулило сегодня палить и жарить нещадно. Так всегда бывает в августе, когда устанавливается погода, самая благодатная для уборки хлеба.

Мы шли выгонять людей на работу. Боже мой, выго-

нять, как скот! Почему именно на меня свалилась эта отвратительная работа? Почему я должен в это чудесное утро портить людям хорошее настроение?

Знаю, что они пойдут с большой неохотой, озлоблением, потому что их будет выгонять судья. От одной мысли, что я для них только судья, погоняло, а не человек, мне стало невмоготу, тяжело и обидно.

Дойдя до моста через речку, я остановился и, облокотясь на перила, долго смотрел вниз на темную, как густо заваренный чай, воду. Ипполит Васильевич, свесившись, тоже смотрел на нее и вдруг неожиданно спросил:

— А почему китайцы желтые, а индейцы красные?

Я поднял на него глаза.

— А зачем это тебе?

Ипполит Васильевич потянулся, зевнул и махнул рукой.

— А так. Спать хочется.

Я отослал его домой спать, а сам пошел в сельсовет и позвонил в Узор председателю райисполкома, сообщил, что не стал трогать колхозников и разрешил им праздновать все два дня. На это Сергей Яковлевич сказал, что я поступил и гуманно, и глупо, так как разрешения не требовалось: они и сами бы не пошли. А этим разрешением я могу нажать кучу неприятностей. Я спросил у него совета, как об этом передать секретарю райкома. Он посоветовал мне не откровенничать и сослаться на то, что никто не вышел на работу.

Я так и сделал. Кондаков обозвал меня тряпкой, потребовал, чтоб я не выезжал из колхоза и принял все меры к организации уборки хлеба и сдачи его государству.

Два дня в Юшках пили, гуляли, плясали и пели. Я же два дня болтался, как неприкаянный. Правда, мне старались оказывать всевозможные почести, и каждый считал за великую честь усадить за свой стол судью. Но я чувствовал и понимал, что тут я всем в тягость. Это омрачало общее веселье и угнетало меня.

Илья в Юшках на этот раз прошел без драк. Но в этом заслуга не Семена Кузьмича, а судьи — Бузыкина.

Сразу же после праздника четыре жнейки выехали косить рожь. Но работали вяло, давали себя знать хмельной угар и общая усталость. Но через день все вошло в норму, и жизнь в Юшках покатилась по своей глубоко накатанной колее.

Озимые выдались на редкость. По мнению Ипполита Васильевича, на круг по сто — сто двадцать пудов с гек-

тара должны были взять. Но колхозники не радовались. — Сколько бы ни уродилось, все равно нам ничего не достанется, — говорили они.

Однако работа шла ходко. Добрый урожай невольно поднимал энтузиазм и настроение. В день скашивалось и застоговывалось до трех — пяти гектаров. Колхоз «Новая жизнь», как по пахотному клину, так и по населению, пожалуй, самый богатый в районе. По сравнению с соседями, он зажиточнее. Да и сам народ здесь ходит бодро и смотрит весело.

В конце недели из МТС приволокли молотилку. Райком потребовал немедленно приступить к обмолоту и сдаче зерна. Ипполит Васильевич помрачнел и захандрил. А мне прямо сказал, что опять начинается сызнова, как и в прошлые годы, колхозники останутся без хлеба. Когда я заметил, что к таким мрачным выводам нет оснований, он горько усмехнулся.

— Э, Семен Кузьмич, и в прошлом году урожай был не хуже, а получили на трудодень всего по двести граммов. А почему? Потому что половина погибла на корню, не убрали. А кто виноват? Думаешь, я — председатель? Колхозники? Как бы не так, — он вытащил кисет с табаком, свернул папиросу, закурил и вместе с дымом выдохнул: — Торопиловка во всем виновата.

Ипполит Васильевич довольно-таки убедительно доказал, в чем виновата эта «торопиловка».

— Видите ли, Семен Кузьмич, по моему, мужицкому, мнению, соревнование за то, кто первый вывезет хлеб, занятие глупое и вредное. Райком требует: молоти и вывози. Всех людей, транспорт мы бросаем на обмолот и вывозку зерна на станцию. А хлеб в это время стоит, осыпается, а если ненастная погода — гниет и погибает. Вот сейчас такая погода, только коси да стогууй. Разве можно упускать это время? А обмолотить и сдать всегда успеем.

Ипполит Васильевич затоптал окурки и выжидательно посмотрел на меня.

— Надо идти наряжать людей к молотилке.

— Погоди, — остановил я его, — попытаюсь поговорить по этому вопросу с Кондаковым.

Но как только я услышал его резкий голос и вопрос: «Когда будет хлеб?», я понял, что об этом говорить с ним не только бесполезно, но и опасно. Я решил действовать на свой страх и риск.

Невыполнение приказа райкома усугублялось еще тем,

что я наживал нового врага — директора МТС. Каждый день простоя молотилки влетал ему в солидную копейку.

Я всю ночь ломал над этим голову и, наконец, решил: продолжать косовицу хлеба и одновременно приступить к обмолоту.

С невероятными трудностями нам с Ипполитом Васильевичем удалось создать молотильную бригаду. В нее мы собрали все, что только можно собрать: стариков, учителей с ребятишками, фельдшера, кое-кого из дачников и прочей местной аристократии.

«Аристократ» Тимофей Сеницын за все годы существования колхоза умудрился не выработать ни одного трудового дня. Какие только ни принимали меры, чтоб заставить его работать. Поначалу он вывертывался, как налим, а потом открыто заявил: «Хоть сажайте, хоть убивайте, а работать в колхозе все равно не буду». Зимой Тимофей подпольно шьет полушубки, овчинные рукавицы и страшно уродливые меховые шапки; летом промышляет в лесах корье. За недозволенный промысел — портняжество — райфинотдел ежегодно штрафует Тимофея. Но ни разу ему не удалось взыскать этого штрафа. Из года в год растет штраф и не взыскивается. Не с чего! Имуущества, которое бы можно было описать, у Тимофея нет. Единственно, что можно описать, — швейную машинку. И вот уж какой год подряд фининспектор гоняется за этой машинкой. И никому не известно, где Сеницын ее прячет.

Тимофея накрыли в лесу за его криминальным ремеслом: он обдирал елку. Составили акт за порчу строевого леса. И передали мне как судье. Я предупредил Тимофея, что если он завтра не выйдет молотить хлеб, то акту будет дан должный ход, и ему будет крышка.

И вот бригада сколочена. Председатель на укрепление ее подкинул трех колхозников, обещал еще выгнать из конторы счетовода. Я же уговорил принять участие в молотье председателя сельсовета с его секретарем.

Ночь я провел тревожно. В голове, как заноза, ныла одна мысль, соберется завтра моя разношерстная бригада или обманет, а перед глазами в темноте отчетливо маячили почему-то две рожи: Тимофея Сеницына, одутловатая, с красными, как сырое мясо, губами и молодой рыжеволосой дачницы — красивая и до бесстыдства наглая. Дачница приняла нас с Ипполитом Васильевичем в шикарном халате. Под халатом у нее все было так упруго, выпукло и крепко сколочено, что, когда мы выпустили

обойму таких священных слов, как труд, совесть, честь, долг, помощь,— они не пробили ее, а застряли, как пули в глине.

Потом из темноты выплыло грустное заплаканное лицо Симочки, губы у нее шевелились и она, казалось, шептала: «Ах, Семен, Семен, Семен, зачем?»

И я подумал: «Действительно, Семен, зачем тебе все это? Зачем тебе эта бригада? Зачем волноваться, беспокоиться, страдать? И потуги твои, Семен, бессмысленны и жалки. Они лишь способны у одних вызвать усмешку, у других озлобление. В райкоме скажут: «Опять Бузыккин филантропию разводит»,— колхозники, вероятно, подумают, что судья старается у них все до последнего зерна выгрести. Зачем тебе это, Семен? Сидел бы ты в правлении, да покрикивал на председателя: «Давай, Ласточкин, коси, молоти, вози...» — или плюнул бы на все, как делают другие «погонялы», сидел бы на берегу у речки, удил пескарей».

А другая мысль, как молотом, бьет в темя. «Не прав ты, Семен. Отказаться от добра — человеколюбия — это значит громоздить кучу зла и подлости. Если бы не было людей честных, добрых, смешных донкихотов, тогда бы зло, подлость выросли до невероятных размеров. У меня нет сил бороться с жестокостью, потом у меня слишком много пороков. И все же я лучше тех, кто считает, что не имеет их, кто ничем не уязвим и крепок, как сталь. Они неуязвимы в своей мнимой беспорочности, к ним не подступишься, их не проймешь».

Эту ночь я почти не спал — не давали мысли и думы. Они били из моей головы, как пена из бутылки.

Утром я был приятно удивлен и обрадован. Бригада собралась полностью. Пришел даже дурачок Лутонюшка по личной инициативе.

Общее руководство бригадой взял на себя Ипполит Васильевич. Женщин он поставил на подвозку снопов и под соломотряс — отгрести солому. Председателя сельсовета с Тимофеем Синицыным — оттаскивать мешки с намолоченным зерном. Дурачка Лутонюшку — крутить веялку, а ребятишек — кидать на станину снопы. Сам он занял место у барабана, а меня со счетоводом поставил рядом, развязывать и подавать ему снопы.

Тракторист завел трактор, засаленный приводной ремень захлопал, как петух крыльями, молотильный барабан взвыл, схватил растрепанный сноп ржи, с хрустом изжевал

его и швырнул на соломотряс, а тот с грохотом выбросил солому на головы женщин. Они подхватили ее вилами и, передавая друг другу, отправили в сторону, где намечалось быть скирде. И пошло — только успевай поворачиваться.

Ребятишки со всех сторон кидали нам на помост снопы, норовя попасть счетоводу в голову. Тот ловил их на лету и швырял мне, а я с размаху обрубком серпа рассыпал их, и мне был приятен хруст тугих связок, а Ипполит Васильевич беспрерывно совал снопы в ненасытный барабан.

Поначалу работа чем-то напоминала озорную игру. Под утренним прохладным ветерком молотить было легко и весело. Но не прошло и двух часов, как начала одолевать усталость. Своей руки с ножом я уже не чувствовал, перед глазами все заволочло желтой соломой, от воя и грохота заложило уши, и я как будто издалека слышал голос Ипполита Васильевича, который мне кричал прямо в ухо: «Давай, давай, не задерживай!» И я считал: вот минута, еще одна, еще, и я свалюсь, и не смогу подняться. Наступил момент, когда мне показалось, что я уже не в состоянии и пальцем пошевелить. И как раз в этот момент заглох трактор. Стало так тихо, словно все замерло.

Счетовод снял рубашку, размазывая полицу грязный пот и измученно улыбаясь. Женщины, развязав платки, отряхивались. Я же, как деревянный, сполз вниз, упал в солому и лежал, не двигаясь. Одни ребятишки были неутомимы. Они поначалу затеяли шумную возню, а потом принялись задирать Лутонюшку. Лутонюшка, двадцатипятилетний парень, рослый и здоровый, был законченный дурак и свой идиотизм усиленно демонстрировал всем на потеху. Он два часа без передышки крутил веялку, и за это никто не сказал ему ласкового слова. Наоборот, когда он сидел, тупо уставясь в землю, какой-то озорник подполз к нему сзади и дернул за косичку волос. Они у него были длинные, грязные и нечесаные. Лутонюшка взвыл, как сирена, и начал плевать. И все покатались со смеху. Смеялись и учителя, и председатель сельсовета, а Тимофей Синицын чуть не надорвал живот. Когда озорник попытался выкинуть новую каверзу над бедным Лутоней, Ипполит Васильевич, изловчившись, схватил его за ухо и так вертанул, что тот закрутился волчком. И все опять захохотали. И, насмеявшись вдоволь, стали просить Лутона поплясать. И Лутона стал плясать, высоко вскидывая худые

грязные ноги с коричневыми, как каштан, пятками, нелепо размахивать руками и гнусаво петь какую-то неразбериху.

Мне было не до концерта. Я с тревогой смотрел на свою ладонь. Кожа большого пальца вздулась кровавым пузырем.

Пятнадцатиминутный перерыв, и опять молотилка затрещала, завывала, захлопала. В бригаде произошли кое-какие изменения в расстановке сил. Заартачился Лутоня — ему надоело крутить веялку. Спорить не стали. На его место поставили Тимофея Синицына, а Лутоню отослали к председателю сельсовета оттаскивать мешки. Мы поменялись местами со счетоводом. Теперь он разрезал снопы, а я ловил и подавал их ему. Теперь ребяташки старались мне попасть снопом в голову. А может, у них это получалось случайно. Один сноп, как бороной, ободрал мне лицо и шею.

Я задыхался от пыли, спина и руки, настеганные колосом, горели, а гора снопов вокруг меня росла и росла. Меня закидывали окончательно. Счетовод тоже зашивался и кое-как тыкал обрубком серпа. Ипполит Васильевич сам руками потрошил снопы, совал их в барабан и отрывисто покрикивал: «Давай, давай, не задерживай!» И, как и в первый раз, в самый критический момент, когда я уже падал, тракторист внезапно остановил молотилку...

За день я насчитал четыре таких перерыва.

Вечером жена Ипполита Васильевича, рассматривая мою спину, разрисованную красными полосами, ахала. Я растирал мокрым полотенцем грудь, с вымученной улыбкой убеждал ее, что молотить — одно удовольствие, а сам про себя думал: «Нелегко достается хлеб наш насущный». Вот почему крестьянин никогда не бросит закостеленую корку в помойное ведро, как это с легкостью делает горожанин.

И второй день наша бригада работала по-ударному, хотя и без воодушевления, третий день — с заметной ленцой, а четвертый — она развалилась. Правда, развал этот начался со второго дня, с невыхода Лутони и председателя сельсовета. Потом забастовали ребяташки. Но и за три дня было сделано немало. Обмолочено и сдано государству три тонны зерна. И колхоз полностью закончил косовицу озимых. И по сдаче хлеба занял первое место в районе. Однако колхозники посматривали на меня косо. А одна пожилая женщина резко бросила мне в лицо, что я нарочно послан к ним, чтоб выгрести все до последнего зерна. Когда я об этом пожаловался Ипполиту Ва-

сильевичу, он ничуть не удивился и сказал, что так все колхозники думают.

— Почему?

— Да потому, что вы так усердно стараетесь,— простодушно пояснил Ипполит Васильевич и, вздохнув, покачал головой.— Эх, Семен Кузьмич, да колхозу выполнить положенный план — пять тонн — раз плюнуть. Взялись бы — в одну неделю вывезли. А что дальше? — и сам же ответил на свой вопрос: — Райком прикажет сдавать хлеб за колхоз «Рассвет», потом за «Красный партизан» Вот так все вывезут и нам опять ничего не оставят.

— А вы не сдавайте.

— Нас не спросят. Не первый год так делается.

— А нынче эта практика осуждена. Сам секретарь райкома нас так заверил. Выполнил колхоз свой план — все, больше его не трогай.

Ипполит Васильевич сморщился.

— А он и в прошлом году обещал. Мы поверили и остались без хлеба.

— В этом году такого не будет. Есть указание свыше. Выполняй план, Ипполит Васильевич, со спокойной душой. А если это повторится, то я сумею за вас постоять.

Ласточкин к моим словам отнесся настороженно и посоветовал поговорить с народом. Он собрал колхозников, я выступил перед ними, призвал выполнить первую заповедь: в срок и полностью рассчитаться с государством, и заверил их, что теперь они за других выполнять поставки не будут, а если это и случится, то я, как судья, встану на их защиту.

Они выслушали меня равнодушно, но без возражений. А когда стали расходиться, громко заговорили, заспорили.

— Опять обманут.

— Не обманут, сам судья за нас.

— Что судья? Повыше его найдутся.

— Все они хороши.

— Ты, Ксения, язык-то попридержи.

— Судья — он ничего, за нас...

— Посмотрим, сказал слепой...

И все же не прошло и четырех дней после этого собрания, как я докладывал секретарю райкома, что колхоз «Новая жизнь» отправил на сыпной пункт последнюю подводу с хлебом.

Кондаков искренне поздравил меня с успехом. Но когда я заикнулся, что мои полномочия исчерпаны и мне пора

возвращаться в суд, он попросил, чтоб я посидел в колхозе еще два-три дня. Я же твердо решил сегодня же вечером выехать в Узор. У меня болело сердце за мою работу. Пока я находился в районе, судил Иван Михайлович Иришин.

Но выехать мне в этот день так и не удалось. Я только что собрался идти к поезду, как из сельсовета прибежал секретарь и сказал, что меня вызывает к телефону Кондаков.

— Вот что, Бузыкин,— заговорил он сухим и требовательным голосом,— твоему колхозу надлежит сдать еще двадцать пять центнеров хлеба.

— Почему так?

— Потому что «Красная нива» зашивается.

— Значит, мы теперь должны выполнять за других?

Я чуть не задохнулся от бешенства, но с трудом сдержал себя и сквозь зубы спросил:

— Где же ваше слово, товарищ Кондаков?

Он солидно, с достоинством мне ответил:

— Мое слово — партии слово. И вы, как коммунист, обязаны его беспрекословно выполнить.

А я не выполнил. И на другой день в обеденный перерыв Кондаков опять меня вызвал к телефону.

— Хлеб направлен?

— Нет.

— Почему?

— Колхозники против такой практики.

— А ты что?

— Я солидарен с ними.

— Ты саботажник. Немедленно явись в райком.

Когда я приехал в Узор, Кондакова в райкоме не было. Мне сказали, что он с начальником райотдела МГБ и прокурором выехал в колхоз «Новая жизнь».

Я не знал, что мне теперь делать, и пошел посоветоваться к председателю райисполкома. Сергей Яковлевич сказал, что ему все уже известно.

— Ну и как вы на это смотрите? — прямо спросил я.

— Как на твою очередную глупость,— ответил он.

— Почему же так?

Сергей Яковлевич вспылил.

— А при чем тут Кондаков или я? Из области пришло распоряжение. Сдать за соседний район четыреста центнеров зерна.

— Почему?

— Потому что там урожай хуже, чем у нас.

— А причем же мы тут?

Сергей Яковлевич пожал плечами.

— Абсолютно ни при чем.

— Так зачем же вы согласились выполнить это поряжение? — воскликнул я.

Сергей Яковлевич посмотрел на меня с сожалением.

— На вопрос «зачем» ни один мудрец не ответит. А кто такой вопрос задает, тот или непроходимо глуп, или же абсолютный невежда.

Я это проглотил, как горькую пилюлю, и, вздохнув, спросил, что же мне теперь будет.

— Ничего не будет. Если б ты был назначенный человек, то тебя бы просто сняли, из партии выгнали, а может быть, закатали куда-нибудь подальше. Но ведь ты же выборный. А с выборным возиться — слишком дорогая волокита. А вот выговор могут влепить. Да что выговор. У меня их уже два. Скоро будет, вероятно, и третий. Каждый год получаю. — Сергей Яковлевич устало потер лоб и, как бы разговаривая с собой, закончил свои размышления так: — Коммунист без выговора — все равно, что человек без тени.

Но я даже и выговора не получил. Пора была горячая, и заниматься мною было недосуг. Потом в мою пользу сыграло время. Оно затушевало, сгладило углы конфликта. И райкому поднимать его было явно не выгодно. Но отношение ко мне стало настороженное, подозрительное. Впрочем, я не очень от этого страдаю. Как уполномоченный, лектор, пропагандист, я исключен из списка актива. Хотя я и хожу свободным, без выговора, коммунистом, однако тень за мной тянется густая и длинная. А мой подшефный колхоз ободрали, как липку, говорят, все вывезли, даже семян на посев не оставили.

АВГУСТ ТОГО ЖЕ ГОДА

Третий секретарь обкома Иван Алексеевич Морев с виду нескладный: высокий и прямой, как шест. Руки длинные, до колен, голова, как желудь, лицо угрюмое и с таким выражением, словно у него все время болят зубы. В сущности, Иван Алексеевич добрейшая, с тонким юмором умница.

Морев является штатным уполномоченным от обкома

по нашему южному кусту, в который входят Узорский и Белебенковский районы. Южный куст, пожалуй, самый захудалый и бездорожный в области. И Иван Алексеевич прозвал его «тропиками», а обитателей — «козерогами». К своим подшефным вотчинам Морев привык и полюбил их по-своему. Дал им новые, более теплые прозвища. Так, наш район он называет «Знойный Узор», а соседний — «Солнечная Белебенка». Почти все лето, начиная с посевной и кончая уборочной, Морев «отдыхает» в «тропиках».

В Узорском районе считают Мореву моим другом и покровителем. К сожалению, это только досужие сплетни. Когда Иван Алексеевич бывает в Узоре, то ночует в доме Васюты Косых в смежной комнате, и мы с ним долго переговариваемся через тонкую дощатую перегородку, а утром вместе пьем чай из Васютиного самовара. И когда Васюта начинает вытряхивать из самоварной трубы золу, то вместе с ней вытряхивает пыль сплетен. Но кто же подхватывает эту пыль? Кому она нужна? Вопрос сложный и неприятный.

В Узоре между райисполкомом и райкомом идет скрытая затяжная вражда. Вернее, враждуют между собой Шилов и Кондаков. Причина одна. Председатель исполкома наотрез отказался быть бессловесной пешкой в руках Кондакова. И всеми силами отстаивает свою самостоятельность. В этой борьбе Морев встал на сторону Сергея Яковлевича, которого уважает и ценит на голову выше первого секретаря, как организатора, да и коммуниста.

Положение Кондакова незавидное и, видимо, ему придется уйти из райкома. Обиженный и обозленный, он ждет случая как-нибудь скомпрометировать обкомовского работника. Иван Алексеевич это чувствует, но не боится. Ему просто противна эта мышиная возня. Поэтому Морев все время находится в Белебенке. Узор он тоже не забывает, но задерживается в нем не больше трех дней. А то и суток не пробудет. Проедет на своем «газике» по колхозам, переночует у меня, а утром скажет:

— Ну, брат судья, пока.

— Куда же?

— Да опять туда же, в солнечную Белебенку.

— Что так скоро?

— А что мне у вас делать? Учить, подсказывать? Кому? Кондакову? Не стоит труда, а Шилову — как-то совестно. Он в этих делах лучше меня разбирается. Руководители у вас настоящие, стойкие, твердые. А в Белебенке послабее и помягче...

Однажды в один из таких наездов, уже ночью, лежа в кроватях, мы заспорили о причинах упадка сельского хозяйства. С некоторых пор мы стали доверять друг другу, и разговор вели прямой и откровенный. Морев всю вину свалил на отсутствие в сельском хозяйстве настоящих руководящих кадров.

— Когда же мы, наконец, будем ценить ум и способности? Когда же мы избавимся от дураков и горлопанов? — сетовал Иван Алексеевич. — Вот бы таких, как Шилов, хотя бы по человеку на район. То ли бы было. А то насажают разных «Яб»-идиотов, хоть плачь с ними.

— «Яб»? А что это? — переспросил я.

— «Яба» — прозвище одного председателя райисполкома, — пояснил Иван Алексеевич и рассказал мне о дикой глупости и самодурстве этого руководителя.

Неделю я ходил под впечатлением рассказа Морева. Он не давал мне покоя. Я не сдержал себя, сел и переложил на бумагу.

Когда я прочитал рассказ Ивану Алексеевичу, он поморщился и сказал: «Не напечатают».

Мне очень хотелось напечататься. И я послал рассказ заказной бандеролью в толстый столичный журнал. Жду ответа ¹.

ЯБА

В колхоз «Красные Бугры» лучше всего добираться пешком. Болото, потом лес, потом еще болотце, погрязнее и подлиннее первого, и появятся три бугра один за другим, а на них деревни: Малые Ковши, просто Ковши и Большие Ковши. Справа бугры прорезал овраг, на дне которого еле шевелится река Капуха. С другой стороны до леса тянутся поля водянисто-зеленой озими и рыжей зяби.

Жизнерадостный народ поселился на буграх. Когда была война, ковшата говорили: «Вот кончится война, тогда мы заживем».

Война давно кончилась, но живут ковшата так себе, однако не унывают: «Ничего, — говорят, — теперь-то что, выдюжим. Будет и у нас на буграх праздник».

Председателя райисполкома Филимона Петровича

¹ Рассказ «Яба» был напечатан впервые в альманахе «Молодой Ленинград» в 1956 году, позднее включен в книгу В. Курочкина «Осиновый край». — М.: «Советская Россия», 1969 г. (Г. Н-К.)

Стульчикова хорошо знали в «Красных буграх». А ребята как увидят длинную тощую фигуру, похожую на столб с подпорками, так и запоют:

— Яба приехал. Яба приехал...

Яба — прозвище Филимона Петровича. Прилипло оно к председателю исполкома, как чирей: хотя и не болит, но страшно мешает. Кто кличку выдумал — трудно сказать, а назвали председателя Ябой за его манеру при каждом случае заявлять: «А я бы так поступил... Я бы вот как!..» Все я бы да я бы.

Филимон Петрович всегда очень строг. Как увидит председатель колхоза машину Филимона Петровича на самом дальнем бугре, так сразу начинает газету искать: Филимон Петрович первым делом спросит председателя:

— Газету читал? О чем в передовой пишут? Плохо читал. Читай еще, а потом о делах говорить будем.

Знали в Ковшах Филимона Петровича как важного начальника. Об этом лучше всего говорил его желтый бумажник, который разбух от документов, как сдобный пирог с начинкой...

Филипп Егоров тоже своего рода начальник, только у него никаких особых документов нет. А если они ему понадобятся, то председатель колхоза напишет справку, что Егоров Ф. А. действительно является пастухом колхоза «Красные Бугры», внизу поставит подпись с закорючкой и прихлопнет печатью.

Пути к славе у Филимона с Филиппом разные. Один — председатель исполкома, другой — всего лишь пастух. Но в жизни, говорят, только гора с горой не сходятся... И вот Филимон с Филиппом сошлись.

Это случилось зимой, в январе, на общем собрании колхозников... Перед собранием Филипп с соседом ходили в баню, где два раза слазили на полók, и нагнали столько пара, что будь баня на колесах — она поехала бы; потом дома они выпили по кринке крепкой браги. В клубе Филипп сидел на первой скамейке и беспрерывно курил... Махорочный дым полз в президиум и повисал над головой Филимона Петровича сизыми кольцами.

Филимон Петрович держал речь.

— Что такое колхоз? — громко спросил он, выждал, снял очки и, описав ими круг, ловко посадил их на место. — Это, я бы сказал, боевая эскадра. А бригада, — Филимон Петрович вытянул шею и рассек пальцем кольцо дыма, — это я бы назвал — боевой корабль, кровная часть эс-

кадры. А бригадир, — Стульчиков понизил голос и перешел на густой бас, — это командир, который выполняет одну и только единую задачу эскадры. А вот понимает ли это бригадир Ремнев? Не понимает товарищ. Он не читает газет, он не чувствует запаха сегодняшнего дня, — Филимон Петрович сложил пальцы щепоткой, поднес их к носу и понюхал. — Вот утром спрашиваю я Ремнева: «Почему новые порубни не ставишь?» А он мне: «Много вас, указывателей, найдется, а отвечать мне одному». Это, товарищи, нездоровые настроения. Я бы рассматривал поведение бригадира Ремнева, — Филимон Петрович с маху ударил по всем своим голосовым связкам, — как са-бо-таж. — Он остановился, перевел дыхание. И вдруг кто-то крикнул с задней скамейки:

— Правильно делает Ремнев. Нельзя опалубку в мерзлую землю пихать. Весной расплзутся парники.

Стульчиков повел очками:

— Кто сказал? Председатель, кто это сказал?

Председатель нехотя поднялся, посмотрел сначала на потолок, потом куда-то в угол и медленно проговорил:

— Ты помолчал бы, Максим, а не хошь слушать — иди домой.

— Это голос бесплатного адвоката, — пояснил Филимон Петрович, — но я и другое скажу. Ремнев плохой организатор. Встречаю я опять же сегодня колхозницу и спрашиваю: «Куда дрова везешь?» — «Домой, — говорит, — бригадир Ремнев разрешил». Вот как используются лошади в бригаде. Вместо того чтобы возить навоз под кукурузу, они возят дрова частным лицам.

— Не лицам, а колхозникам, товарищ Стульчиков, — резко перебил Филимона Петровича мужчина в сером полубубке. Сидел он во втором ряду на краю скамейки, закинув ногу на ногу.

У Филимона Петровича дрогнул подбородок, словно он прикусил язык.

— Вы, товарищ Ремнев, не волнуйтесь. Вам дадут слово — и вы расскажете, как расшатываете дисциплину, как потворствуете прогульщикам и...

— Батюшки, что ж нам теперь — замерзать с ребятами? — раздался женский крик. Но Филимон Петрович тотчас заглушил его:

— Так вот, товарищи! Я бы заменил бригадира Ремнева, как неспособного руководителя.

Стульчиков сел. Председатель колхоза встал.

Председатель колхоза Илья Фомич отличался мягким нравом и благоразумием. Он одернул полы пиджака, взглянул на Филимона Петровича и сказал:

— Так вот, товарищи колхозники, надо кандидатуру.

Колхозники зашумели:

— Чего там кандидатуру! Не надо. Пускай остается Ремнев. Лучшего бригадира не найдешь.

— Товарищ председатель, Илья Фомич, дозволю слово,— послышался робкий голос. Филимон Петрович вытянул шею и увидел Филиппа в шапке с завязанными ушами. Он стоял, подняв кверху рукав полушубка.

— Я туда не полезу,— махнул Филипп в сторону президнума,— я прямо отседова скажу. Я вот что скажу. Правду говорит Стульчиков...

— Стульчиков,— нажимая на «у», поправил Филимон Петрович.

— То есть товарищ Филимон Петрович, председатель райисполкома,— поправился Филипп.— Правильно: бригадир — командир корабля. Он должен все усмотреть, чтоб на берег не наткнуться, людей не потопить в глубоком месте или еще там чего... А вот Антон Ремнев и хозяйственный мужик, а тут-то и не додумал, не пошевелил мозгой. Опалубку в мерзлую землю совать нельзя, это факт. А только выход есть: нешто нельзя землю отогреть? А потом, ты, Антон, больно прямой человек, язык у тебя как бритва. Нешто можно такие слова в глаза самому товарищу Стульчикову говорить? Начальство все-таки... Вот что я скажу!..— Филипп сел, руки у него дрожали, а лицо побагровело от волнения.

— Правильно, правильно товарищ выступает,— скороговоркой заметил Филимон Петрович и потер ладони.

Однако и после выступления Филиппа никто не называл имени нового бригадира. Колхозники сердито шумели, в углу ребята рассказывали анекдоты про Стульчикова, а девушки давились от смеха.

Тогда опять встал Филимон Петрович:

— Товарищи, мне ясно, что вы затрудняетесь подобрать бригадира. А я вижу его. Я бы вот кого рекомендовал,— и Стульчиков ткнул пальцем в сторону Филиппа,— вот он!..

— Он у нас пастух,— возразил председатель колхоза.— Не справится он...

— Нельзя Филиппа. Такого пастуха упускать? Кому

скот оставить? — загудело собрание. — Ремнев — хороший бригадир...

— Пастух! — воскликнул Филимон Петрович. — Что такое пастух? Это фигура, это своего рода тоже организатор. Нам нужно смело выдвигать способных людей на ответственные посты. Вы слышали, как он сказал? Отогреть землю! Просто и умно. Вы здесь сто человек с председателем не додумались, а он, пастух, додумался.

Выборы прошли гладко. Поднял руку один председатель колхоза, хотя трудно было понять: хотел ли он голосовать или только почесал затылок. Остальные не голосовали. Зато в протоколе записано было: «Против и воздержавшихся нет...»

А бородатый колхозник Максим Хмелев, уходя, буркнул:

— По нашему председателю — хоть черного борова бригадиром ставь, раз начальство велит. Вот поглядим...

Филипп ничего не понимал и беспокойно оглядывался. Выступление Стульчикова оглушило его, лишило языка.

Придя домой, Филипп с маху швырнул полушубок на лавку.

— Ты чего развоевался? — спросила Авдотья.

— Чего! На-ка вот, понюхай, чем пахнет, — и он сунул под нос Авдотье кукиш. — На-козь возьми меня. Кто я теперь?

— Кто ж ты? — изумилась Авдотья.

— Бригадир!

— Бри-га-дир?!

— Ну, что уставилась? — вспыхнул Филипп. — Миром выбран. Сам Стульчиков рекомендовал. — И он повел перед глазами Авдотьи заскорюзлым пальцем. — Сидишь тут, горшки считаешь.

Рано утром к Егоровым заявился Ремнев. Филипп только что встал и, свесив с печки босые ноги, жадно тянул из кувшина квас.

— Ты чего так рано, Антон, аль дела какие? На-ка вот, прохладись, — и он протянул Ремневу кувшин.

Ремнев, прикончив кувшин, крякнул, вытер рукавицей губы и сказал:

— Иди, принимай хозяйство.

— Чего, какое хозяйство? — замигал Филипп.

— Бригаду.

— Бригаду? Постой, постой, — Филипп потер лоб, подергал бороду, — так это что ж, Антон, меня и взаправду

бригадиром назначили...— и Филипп вспомнил о вчерашнем собрании, вспомнил и ахнул.

По дороге в правление он решил отказаться от бригадирства наотрез.

— Вот и новый бригадир,— приветствовал Филиппа председатель колхоза.

Филипп снял шапку, помял ее и кашлянул в кулак.

— Так что ж это, Илья Фомич, как же так?

— Так-то, брат,— вздохнул председатель,— принимай бригаду.

— Уволь, Илья Фомич, малограмотный я. Скотину пастить — вот это дело я понимаю.

— Не могу, Филипп, не могу. Так уж получилось...

— Нет уж, уволь, Илья Фомич, не совладать мне.

— Ничего, ничего, привыкай командовать, а мы поможем. Теперь слушай, какие работы твоей бригаде предстоят.

«Не иначе как божье наказание»,— решил Филипп и пошел принимать дела...

Когда прием подходил к концу и оставалось только разобраться с конской упряжью, приехал Стульчиков. Филимон Петрович шумно поздоровался, назвал Филиппа молодчиной. Но бригадир от этого не стало легче. Он отозвал Стульчикова в сторону и, глядя под ноги, сказал тихо:

— Эх, Филимон Петрович, не дело, право слово, не дело. Не совладать мне...

— Ничего, ничего, товарищ Егоров... Поможем. А ты газеты читай. Мы обязаны растить людей, смело выдвигать. Трудно будет — звони ко мне. В обиду я тебя не дам,— заверил Филиппа председатель исполкома.

Эту ночь Филипп не спал. Он кряхтел, ворочался с боку на бок, поминутно вставал, курил. Авдотья тоже не спала. Она то вспоминала господу, то шептала: «С ума сошел на старости лет, совсем ополоумел».

...Прошел месяц. Филипп похудел, почернел и все чаще жаловался на слабость. Глядя на него, Авдотья тоже хирела. Частенько, облокотясь на сухонький кулачок, она с тоской смотрела на Филиппа, пока он, обжигаясь, торопливо ел.

— Замучился ты, Филиппушка... Плюнь ты на это бригадирство. Ничего тебе не будет.

— Нельзя, Авдотья, хозяйство бросить... Спросят с меня,— возражал Филипп и, отложив ложку, вздыхал: — Что-то долго Филимона Петровича не видно. А как при-

едет, так и скажу: «Делай ты со мной, товарищ Стульчиков, что хошь, а я больше не могу...»

Но Филимон Петрович не приезжал. Он в это время отдыхал на курорте, не то в Кисловодске, не то в Крыму. Икалось ли ему там — трудно сказать, только Филипп вспоминал о нем каждый день. Встав чуть свет, он бежал в избы — давать наряд. Входил в дом, старательно обмахивал веником сапоги и, кашлянув в рукав, говорил:

— Степан, надо бы сегодня навозцу повозить.

А Степан отказывался:

— Не могу, товарищ бригадир, в город собираюсь — овцу продать, ребятишкам одежонку купить.

И Филипп соглашался со Степаном, что без одежонки ребятишкам холодно. В другом доме колхозница упрашивала бригадира оставить ее дома — белье постирать; в третьем — охали, жалуясь на боль в пояснице...

Потом Филипп шел в кладовую и принимался сортировать зерно. Заработавшись, он забывал о том, что надо бежать, просить, назначать и спорить.

В помощь Егорову председатель колхоза назначил Ремнева, надеясь, что он постепенно заменит Филиппа. Но нелегко было теперь и Ремневу. Ему частенько приходилось слышать: «Мы на таких начальников-мочальников начхали. Назначили нам бригадира — и ладно».

На совещаниях и в правлении председатель колхоза старался не упоминать Филиппа или делал это так:

— Что-то в последнее время вторая бригада начинает сдавать.

Филипп медленно вставал со скамьи и мял шапку.

— Не слушает меня народ...

— А ты построже будь. Ты не сам разрывайся, а их заставляй. Руководи.

— Не получается у меня, — разводил руками Филипп, — совсем народ не слушается.

Как-то председатель напомнил Филиппу о парниках. И Филипп взялся за парники. Взялся с жаром, не жалея ни сил, ни времени. Он сам рубил лес, надрываясь таскал бревна по глубокому снегу — к дороге. Нередко за полночь запоздалый ковшовец слышал на улице фырканье лошади, скрип снега под бревнами и хрипловатый голос Филиппа:

— Эй, милая, давай, давай.

Председатель подумал, прикинул что-то и направил в бригаду Филиппа всех колхозных плотников.

Радостное и вместе с тем тревожное чувство испытывал теперь Филипп. Работы на парниках подвигались ходко — это его радовало. Начинаясь оттепель, с крыш сочилась капель — и это его радовало. Но какое-то непонятное сомнение тревожило бригадира.

Наступил день, когда все было готово. Снег сгребли в огромные сугробы, на очищенной земле сложили березовые дрова.

— Завтра начнем отогревать, — говорил Филипп и улыбался, может быть, впервые с тех пор, как стал бригадиром. Он еще раз обошел подготовленные срубы и, присев на березовую чурку, вынул кисет с махоркой и взглянул на небо...

Уже вечерело. На западе быстро росла зеленоватая щель, расширялась, раздвигала тучу. Над самым горизонтом медленно выплыло оранжевое солнце. Лес принял резко лиловый цвет, мелкие облачка на небе окрасились: те, что были ближе к солнцу, просвечивались насквозь, подальше — горели ярко-красным огнем, а у самых дальних только накалились края. Бездымный пожар охватил деревню Большие Ковши. Окна, отражая лучи заходящего солнца, казалось, плавилась...

Но вот резко оборвался последний луч, стало вокруг серенько. Быстро стемнело. Но не так, как вчера: небо усыпало звезды... Филипп сидел как окаменелый.

— Будет мороз, — прошептал он и добавил: — Большой мороз.

И мороз действительно стукнул такой, что Авдотье пришлось сходить в хлев и старой шубой укрыть теленка, а чтоб петух не отморозил гребень, она сняла его с насеста и принесла в избу.

Ночью Филипп спал плохо, а утром с трудом отбил промерзшую дверь и пошел к парникам.

Утро выдалось яркое и чуткое. Каждый звук: и хруст под ногою, и визг колодезного журавля, и даже поскрипывание ведер на коромысле — необычно тонко и долго звенел в чуть подсиненном воздухе. Тополя, схваченные морозом, заиндевели и под белым зимним солнцем сверкали как стеклянные. Кругом блестел снег. Кучки изб на буграх казались издали мухами, облепившими сахар.

Внезапно над средним бугром встали три перевитых столба дыма. На самом дальнем бугре, увидев дым, сказали:

— Гляди-ка, бригадир-то наш разошелся.

Все три дровяные кучи на парниках пылали одновременно. Около них сгрудились колхозники с лопатами. Здесь же суетился возбужденный Филипп. Он старался быть веселым, смеялся, покрикивал и, гулко стучая рукавицами, шутил: «Эх, денек, мать честная, так денек!»

Вскоре его вызвали в правление. Убегая, Филипп наказал Максиму Хмелеву — не зевать здесь.

— Что же ты удобрения-то в снегу оставил? — спросил председатель колхоза, как только Филипп переступил порог.

— Виноват, Илья Фомич, запамятовал, — пробормотал Филипп.

— И торф на поля у тебя не вывозится; семена не сортируются. А ведь весна не за горами.

Филипп побелел и, сглотнув горький ком обиды, в первый раз в жизни выкрикнул в лицо начальства злобным тонким голосом:

— Я вам не гусь, товарищ председатель. Филипп туды, Филипп сюды. Только гусь умеет летать, плавать, ходить. А я не гусь.

Пока Филипп бегал, искал людей — возить торф, пока разобрался с удобрениями, прошло немало времени. А когда он возвратился на парники, там догорал последний костер. Около толпились мужики. Подходя, Филипп услышал:

— Председатель ему говорит: «Торф возить надо», а он машет кулаком и кричит: «Я вам не гусь! Ха-ха...»

У Филиппа что-то оторвалось внутри, в глазах потемнело.

— Что сидите? — задыхаясь, спросил он. Высокий парень вскочил, вытянулся, приложил к шапке рукавицу и, озорно поводя глазами, отчеканил:

— Разрешите доложить, товарищ бригадир: две кучи сгорели, — ждем, когда догорит третья...

— Почему землю не роете, сукины сыны? — вне себя закричал Филипп.

Стало тихо. Бородатый Максим Хмелев сдвинул на затылок шапку рыжего собачьего меха и протянул по складам:

— А ты по-ди по-смо-три...

На месте сгоревших дров чернела земля. Филипп стукнул лопатой, земля зазвенела.

— Ну вот и все, — сказал Максим и посмотрел на безоблачное небо: — Солнце на ели, а мы еще не ели...

Иди, иди домой, отдохни... Гусь! — Он беззлобно хохотнул, потрепал Филиппа по плечу и пошел. За ним ушли и остальные.

Домой Филипп пришел раньше обычного.

— Вздуй самовар, Авдотья, а я пока прилягу. Знобит что-то.

Но чай пить не пришлось... Филипп слег, а к ночи потерял сознание. В бреду выкрикивал: «Эх, Филимон Петрович, за что вы меня... вознесли?.. Мороз дело испортил».

...Еще прошел месяц. Наступил март. Бригадой теперь снова руководил Ремнев. Филипп все хворал. Он заметно ослаб, и что-то новое появилось в его бесцветных глазах. Днем Филипп, вытянувшись, тихо лежал на кровати, ни на что не жаловался и все молчал. Казалось, он непрерывно и сокрушенно думает о чем-то. Изредка он поднимался, держась за стены, добирался до окна и смотрел на улицу, поминутно вытирая глаза. От яркого света глаза у него слезились.

Солнце уже насквозь прожигало снег. С крыш теперь не капало — текло. Амбар напротив окна почернел и превратился в источенный червями гриб. А еще утром он, увешанный длинными сосульками, походил на стеклянный абажур с подвесками. Вчера около тына была одна прогалинка, сегодня их стало три, а на исходе дня вдоль тына проступала неровная черная кромка.

— Весна, весна... — шептал Филипп, постукивая пальцами по оконной раме.

Приходила Авдотья, сажала его за стол. Руки у Филиппа дрожали, щи из ложки лились на грудь, крошки сыпались на колени, застревали в поредевшей бороде. Потом Филипп опять ложился. Иногда он спрашивал:

— А что говорят-то про меня, Авдотья?

— Все пытаются, когда выздоровеешь.

— Так ли? — сомневался Филипп.

— Так, так. Вот наемни сам председатель спрашивал. Обещал в воскресенье навестить. Антон Ремнев каждый раз, как встретимся, кланяется тебе. И другие тоже.

— Антон-то у меня, когда, третьеводни был, — подумав, вспоминал Филипп. — Советоваться приходил...

— Ой, что же я забыла, — спохватывалась Авдотья, — Максим Хмель опять прислал тебе гостинец, — и она вынимала из кармана яблоко, — к чайку, говорит...

— Ишь ты, какое ядреное,— улыбался Филипп, разглядывая яблоко, а потом отдавал Авдотье: — На-ка, спрячь. Прибежит внучек, слопают.

...В конце марта Филиппа навестил Стульчиков. Авдотья щипала лучину на растопку. Филипп по обыкновению лежал, подсунув под голову руки. Брякнула щеколда. В сенях загромыхали под сапогами половицы. В избу вошел Филимон Петрович. Авдотья ахнула, растерялась, стала искать тряпку — вытереть гостю хромовые сапоги. Филипп сказал негромко:

— Ладно, Авдотья, не мельтеши тут.

— Лежать, лежать,— загудел Филимон Петрович, увидев, что Филипп пытается подняться,— отдых, спокойствие — лучший доктор.

— Полегчало теперь,— вмешалась Авдотья.— А то думала — умрет он. Ведь лежал без памяти... Твердил одно и то же: «Мороз помешал...» Все с вами разговаривал, Филимон Петрович.

— Ладно, ладно, Авдотья,— опять остановил ее Филипп,— иди, занимайся своим делом.

Филимон Петрович подвинул к кровати стул.

— Видишь, не забыл я тебя, Филипп. Я бы раньше приехал, да все дела да дела.— Филимон Петрович поправил подушку и подтыкал под Филипповы бока одеяло.

— Замаялся он, сердешный,— всхлинула Авдотья.

Филимон Петрович прошелся по избе и, заметив в переднем углу под образами вереницу почетных грамот, наклеенных на потемневшие бревна, воскликнул:

— Ба, вот так Егоров! Не просто пастух, а знаменитый пастух... Сколько же их — две, четыре, пять... восемь, девять,— сосчитал Филимон Петрович.— Молодец. Вот так Филипп!

— Он у меня почти что каждый год получал,— проговорила Авдотья за спиной Филимона Петровича и, подойдя, ткнула пальцем в крайний листок: — Эту еще до войны дали, а эту на второй год после войны уже. А вот эту позапрошлый год вы сами, Филимон Петрович, дали. Тогда еще в отделе были.

— Это что под Николаем-чудотворцем,— оживился Филипп,— ее с музыкой вручали, много народу было.

— Да-да, помню, помню,— подтвердил Филимон Петрович и, скосив глаза на иконы, покачал головой.— Место для грамот неловко ты выбрал, Филипп. Я бы не здесь повесил.

Филипп не ответил. Филимон Петрович еще раз прошелся по избе, подивился на старинные часы, которые были настолько дряхлы, что без двух гаек и молотка не могли двигаться; немножко посидел с Филиппом и стал прощаться.

— Выздоровливай, Филипп, болеть долго нельзя. Весна идет.

Филипп приподнял веки и пальцем поманил к себе Филимона Петровича. Стульчиков нагнулся. Филипп, тяжело дыша, прошептал:

— А землю-то отогреть можно было. Мороз помешал. Дюже в ту ночь большой мороз был. Насквозь проморозил землю... А вообще-то я — пастух. Чего вам взбрело тогда... Никак не пойму...

От волнения на лбу у Филиппа выступил пот.

Филимон Петрович открыл рот и выдавил одно только слово: «Яба». Больше ничего не успел сказать. Его перебила Авдотья. Схватив за рукав, она потянула Стульчикова, приговаривая:

— Идите, идите, батюшка, на что вам больной человек.

Филимон Петрович поспешно надел шапку, толкнул дверь и, перегнувшись пополам, шагнул через порог... А вслед ему раздался сдавленный старческий смешок:

— Яба, э-эх яба...

ОСЕНЬ

За окном сентябрь, ясный и тихий. Воздух чист и прохладен. Дышится легко, и дали проглядываются на редкость отчетливо. Далеко-далеко видны, словно отчеканенные, кромки лесов и пестрые полосы полей. Небо с двойным рядом облаков. Нижние, грязные, лохматые, плывут в одну сторону, верхние, белые, с легкой синевой, как весенний талый лед, — в другую. Каждый звук долго, явственно звенит и откликается.

Поезд с грохотом пересек пыльную улицу Узора. Изпод колес выкатился клубок пара, скатился в канаву и запутался в сухой жесткой траве. Мне очень грустно, что ушел поезд, ушло лето, ушел безвозвратно еще год моей недолгой жизни, и еще ушла от меня навсегда Симочка. С этим поездом она приехала в Узор. А я ее и не по-

думал встречать. Почему? Да потому, что она приехала не ко мне и не одна.

Но почему мне только грустно? Почему нет обиды и той щемящей сердце боли, когда от нас уходит любимый человек. Вероятно, в этом повинно время. Оно запыхало образ, заморозило страсть, застудило чувства. И с горькой улыбкой я утешаю себя всем известной соломоновой мудростью: «Эх, Семен, Семен, все проходит».

Раздумываю о том, где мне ночевать сегодня. В Доме колхозника или в своем кабинете на холодном диване. Новой квартиры не подыскал, да и искать не хочется. В Узоре мне осталось недолго прозябать. До перевыборов народных судей осталось ровно полгода. Я знаю, что меня не будут выбирать. И я этого не хочу, и другие не хотят.

Была ревизия суда. Она нагрянула неожиданно. Ревизор, законченный чинуша и, к тому же, еще и заика, как крот всю неделю копался в папках и бумагах, но вырыть, кроме мусора, ничего значительного не смог. Настроил акт на двадцати страницах, в котором суд изобразил помойной лоханью, а меня не то свиньей, не то бюрократором. А я без стенаний и упреков во всем согласился с ним. Спорить все равно было бесполезно. Такой вывод у него был еще до ревизии согласован и утрясен с начальством нашего управления. Однако моя покорность тронула и ревизора. Уезжая, он, страшно заикаясь, сказал:

— Товарищ Бузыккин. Вы не смогли ужиться с-с-с,— тут он споткнулся, зачмокал, зашипел, как паровоз, спускающий пары, лицо у него побагровело, щеки надулись, ему не хватало дыхания, и он, сложив губы воронкой, начал ловить воздух. Мне было страшно смотреть на него, и я поспешил подсказать ему слово: «Райком», которое он так и не смог выдать... Так что мое будущее в моих руках.

«Где же мне ночевать? В кабинете, или попроситься к своей уборщице в сарай на сеновал?» Я так задумался, что не заметил, как появилась в кабинете Васюта и заговорила нараспев, растягивая слова и при этом широко улыбаясь.

— Это что ж такое! Его там ждут, а он сидит и не чешется. Пошел, пошел,— потянула она меня за рукав, когда я стал отказываться.— Сам ведь позвал. Так и говорит: «За стол не сяду без жильца».— Васюта оглянулась и таинственно зашептала: — Стар он для Симушки, ох, староват. Не такого я зятя-то ждала, да-а, не такого,—

осуждающе посмотрела на меня, скривила рот и вытерла концом платка сухие глаза, но в ту же минуту оправилась и бойко, восхищенно продолжала: — А как человек-то очень хороший. Два платья мне подарил и платок пуховый. А как ее-то одел, — от наплыва чувств и радости Васюта закатила глаза под лоб и замахала обеими руками. — С достатком мужчина, из себя видный, представительный. От старой жены-то у него двое. Ну и то слава богу, хоть алиментов не платит. Ну, пошел, пошел, — и она опять потянула меня за рукав.

Что делать. Пошел. Отвязаться от Косихи было невозможно. Впрочем, любопытство тоже сыграло кое-какую роль.

Встреча с Симочкой меня все-таки волновала. Я не представлял себе, как мы будем смотреть друг другу в глаза, о чем говорить. Но вот мы встретились, посмотрели друг на друга и не потупились, заговорили без трепета, как будто мы только сегодня утром расстались.

Она мало изменилась, разве что слегка располнела. Но полнота очень шла к ее овальному, с острым подбородком лицу, к слегка вздернутому носу, к смолянному блеску глаз. Ее длинная коса теперь была уложена на затылке в тугой узел, и несколько пушистых завитков выбивалось возле ушей. И вся она была какая-то светлая, насквозь пронизанная обаянием и радостью.

Она заговорила просто, без намека на волнение, глаза ее смотрели на меня прямо, без тени смущения. Понизив голос до шепота, я спросил, любит ли она своего мужа. Она не увильнула от вопроса и даже не опустила глаз и спокойно ответила:

— Люблю. Он хороший человек.

— А меня?

— Ах, Семен, ты тогда... — и, не договорив, сдвинула брови к переносице, повернулась спиной.

Есть категория людей, которая покоряет одним взглядом. Борис Дмитриевич Полостов был таким. С первой минуты знакомства у меня не было и намека на неприязнь к сопернику. Полостов своей высокой, сильной, отлично сложенной фигурой как бы невольно подмял меня под себя. Я люблю крупных сильных людей. И по характеру они добрее, и смотреть на них приятнее. Маленькие, слабосильные — первые задиры. Они желчны, обидчивы, властолюбивы и, как правило, считают себя умнее всех. В компании держатся заносчиво, кричат громче всех и, изо-

щряя свой мозг, беспрерывно острят и язвят. А большие люди смотрят на них, как на детей, и снисходительно улыбаются. Правда, есть исключения. Но редко.

Полостов оказался умным, образованным и даже талантливym, хотя и не без странностей. И сделал он это без показухи, без бахвальства. А так просто, произвольно, как это умеют делать только дети.

Когда мы подходили к дому, Борис Дмитриевич стоял на крыльце в шелковой рубашке с расстегнутым воротом. И разговаривал с петухом. Вернее, говорил он, а рябой, тощий, с исклеваным гребнем петух кокал и с треском хлопал крыльями, и вдруг, согнув голову, перевернулся через хвост и припустился за курицей. Борис Дмитриевич хотел было припуститься за петухом, но, увидев меня с Васютой, остановился и, смущенно потирая руки, пошел навстречу.

— Здравствуйте, здравствуйте,— говорил он, подходя.— Значит, вы и есть судья. Очень, очень рад. У меня был один знакомый судья, Зусин Модест Петрович, в одной квартире жили. Вы знаете такого? Оригинальнейший человек. О своих подсудимых не мог без слез говорить. И давал им всем только «от» и «до». Вы тоже так судите?

Все это он проговорил быстро, но не торопясь, сочным звонким баритоном и, взяв меня под руку, повел в дом, не переставая балагурить.

— А Узор мне ваш сразу понравился. Ничего сквернее и не видывал. А вы что пьете? Водку, чай? А я так и то, и это. У меня специально припасена бутылочка «Петровской». Фу, ну и запахи же у тещи в сенях!

За столом Борис Дмитриевич полностью овладел разговором и заговорил всех окончательно. Я подметил у него шуточный тон. О серьезном он говорил несерьезно, а о пустяках наоборот. Судил обо всем резко, порой даже бранливо, но благодаря насмешливому тону, его брань не корбила, а веселила.

За каких-нибудь полчаса он успел рассказать десяток анекдотов. Симочку они не интересовали, а Васюта не понимала, хотя и слушала их с широко открытым ртом и выпученными глазами. Полостов рассказывал их ради меня. Я терпеть не могу анекдоты, особенно, если они рассказываются с целью посмеяться. Борис Дмитриевич рассказывал их забавно, обязательно по какому-нибудь поводу, и его анекдоты отличались свежестью, оригинальностью.

— О боже, бывают же такие чудеса,— вздыхает он, переходя от анекдотов на дорожное приключение.— Ехал с нами в одном вагоне невзрачного вида человечешко. Сидел в уголке тихо, как мышка, сжимая под лавкой ногами какой-то мешок и пугливо озираясь. И вдруг пропал. Никто не заметил, как вышел. Да и вообще, кому до него дело. Значит, приехал, если вышел. А на следующей станции в вагон вваливается наряд милиции и прет прямо в наше купе, и шашть под лавку. Вытаскивают мешок, обычный мешок, в каком бабы на рынок кур возят. Вытащили, показывают нам и хохочут: «Вы знаете, граждане, что в этом мешке? Триста тысяч!» Оказывается, этот тип — банковский работник, вез на весь район деньги. А на станции выскочил в буфет выпить кружку пива. Пока пил — поезд ушел. Если б деньги пропали, какую бы ты финансишке статью пришил?

— Преступную халатность,— сказал я.

— А это сколько?

— Предельно три года.

— А колхознице, укравшей с поля мешок картошки, сколько ты даешь?

— Минимум семь лет.

— Да здравствует правосудие,— захохотал Полостов, и все тело его всколыхнулось и тоже засмеялось. И только спокойными и серьезными оставались глаза. Как я заметил, у Бориса Дмитриевича вообще улыбались только брови и губы, а глаза серо-зеленые, с крапинками ржавчины вокруг, постоянно были острыми и хитрыми. Выражение их менялось, когда он обращался к Симочке. Тогда в них появлялось что-то кроткое и по-детски восторженное.

Поначалу мы изучающе примеривались, обращались друг к другу на «вы», при этом зачем-то обязательно наклоняя голову, раскрашивали речь такими фразами, как: «Позвольте мне по этому вопросу высказаться», или «Как я заметил, вы очень тонко выразились», и тому подобное. До слез хохотали над плоской остротой. Но вскоре как-то незаметно перешли на «ты», заспорили, перебивая друг друга, под финал сыграли в шахматы и расстались наипервейшими друзьями.

Наша дружба завязалась не случайно, закономерно, из потребности общения столь близких по характеру натур. Да и с кем я мог искать в Узоре общения? С Халтуном? Или с прокурором? Разве что с Сергеем Яковлевичем. Но он постоянно занят. Полостов, как и я, в Узоре одинок.

Все же он счастливее меня. Около него теплая, обаятельная Симочка. Мне же вдвойне хуже. Я все время чувствую вокруг себя пустоту и стужу.

Прошла неделя, и мы уже не могли провести вечер друг без друга. Правда, первые впечатления об уме, таланте его потускнели и, наконец, стерлись, но все же он приятней и интересней других.

Полостову пятьдесят лет, он — полковник на пенсии. Выйдя в отставку, сразу же поступил учиться на какие-то краткосрочные курсы по подготовке учителей. Во время учебы познакомился с Симочкой. Окончив курсы, приехал в Узор, чтоб навсегда в нем осесть учителем географии в средней школе.

С первых дней преподавательская деятельность пошла у Бориса Дмитриевича, как говорят, через пень-колоду. Он решил ввести свою методичку преподавания. Что это за методика, я не знаю. Но говорят, что у полковника Полостова на уроках ребятишки ходят на голове.

По вечерам мы встречались или у него дома, или у меня в суде. Как ни уговаривал меня Полостов остаться у Васюты квартирантом, я наотрез отказался и поселился в суде в крохотной комнатке, в которой ночевала моя уборщица и сторож Манюня. Для этого мне пришлось освободить ее от обязанностей сторожа и взять их на себя. Когда я сообщил об этом по телефону своему шефу, он неодобрительно проворчал: «Мне — что, смотри сам. Как бы чего не вышло». А что могло выйти? Как сказал один старик: «Разве ж разумный человек по своей воле в суд пойдет? Ни в жисть не пойдет. Его туда беда с милиционером за воротник тянут».

А меня другое тянуло в дом Васюты Косых. Хотя каждый раз уходил я из него разбитый и подавленный, давая себе слово больше в нем никогда не появляться.

Мне приятно сидеть в чистой, теплой, уютной комнате. От намытых полов пахнет можжевеловым и свежестью. Все свои мысли и заботы Васюта сосредоточила на уничтожении в доме грязи. Она весь день скребет и чистит. Да и внешне Васюту теперь не узнать. Одевается нарядно, ходит степенно, говорит односложно: «да», «нет», «ни к чему» и во всем старается подчеркивать свою значимость. Соседи называют ее теперь не Васютка Косая, а по имени и отчеству «Василиса Тимофеевна». По вечерам она сидит на кухне в очках и читает одну и ту же книгу: роман Елены Серебровской «Начало жизни».

А зять ее в это время с судьей сгорбились над шахматами.

Полостов играет прилично, но уж очень обдумывает каждый ход. Я же передвигаю фигуры, как хорошо отрегулированный автомат. Да и как тут думать сосредоточенно. За спиной по половикам ходит босиком Симочка. Я прислушиваюсь к ее шагам и просматриваю ход пешкой. Борис Дмитриевич мгновенно выигрывает партию. Начинаем другую. Симочка стоит у жарко натопленной печки, то покачиваясь из стороны в сторону, то глядит на нас подбоченясь, то поднимет руки к голове, чтоб поправить волосы, и все время говорит, то смеясь, то грустно, то с какими-то тяжкими притворными вздохами. Лицо у нее покраснелось, пышет жаром и счастьем: Меня подмывает желание схватить ее в охапку и убежать. Куда? Да не все ли равно, лишь бы убежать с ней. Но это несбыточная мечта. Не только потому, что рядом сидит ее законный муж, а главное то, что Симочка теперь со мной слишком откровенна и спокойна.

Как-то мне посчастливилось застать Симочку дома одну. Борис Дмитриевич задержался в школе, а Васюты не было. Я страшно обрадовался и попросил Симочку посидеть со мной, поговорить. Она села рядом на диван, поджала под себя босые ноги, зябко съежилась, накрылась шерстяным платком.

— Знаете, Симочка, что...— начал я не своим каким-то деревянным голосом.

— Что? — это слово она не сказала. Я уловил его по движению губ.

— Что я до сих пор люблю тебя,— сказал я, стараясь придать голосу твердость.

Она подняла на меня глаза и, как прежде, посмотрела на меня прямо и открыто. Я тоже смотрел ей в глаза в упор и долго. Но она не отвернулась, не мигнула, у нее даже не дрогнул волосок на ресницах.

Я заговорил торопливо, сбивчиво, с жаром, что люблю ее в первый раз, а может быть, в последний. Уверял, что мне без нее и жизнь не в жизнь. Благодарно расхваливал ее мужа, что он достойнее меня во сто крат, а я так несчастлив в своей любви, что она и представить себе не может. Кончил я свой жалостливый монолог такими словами:

— Симочка, я тебя ни в чем не обвиняю. Я даже рад, что у тебя так счастливо сложилась судьба. Я больше

тебе докучать не буду и ходить к вам больше не буду. Но знай, что я одинок, как никогда, и очень страдаю.

Но она даже не шелохнулась и не повела бровью, и на лице ее ничего нельзя было прочесть, кроме равнодушного недоумения. Я ждал ответа на свое признание. Симочка же молчала. Мне стало обидно. И я с горечью сказал:

— Я не верю, что ты любишь Полостова.

— А вот люблю,— живо откликнулась она.

Я усмехнулся.

— Раньше и мне ты это говорила.

— Я и тебя любила.

— А теперь?

Она посмотрела, закуталась в шаль, сжалась в комочек.

— Ну что же ты молчишь?

— А что мне говорить?

— Раньше ты любила меня, а теперь?

Она нервно передернула плечами.

— Теперь люблю Бориса Дмитриевича.

Я уныло опустил голову и устался в пол, как больная собака. Симочка бесшумно встала и вышла из комнаты.

Мы играем. Симочка посматривает то на нас, то на часы, пройдет по комнате, опять остановится у печки, вся вытянется, прикрыв рот ладошкой, зевнет и как бы между прочим скажет: «Уже одиннадцатый».

В кухне стоит самовар с чайником на конфорке, Борис Дмитриевич долго уговаривает меня выпить с ним стакан-другой крепкого чаю. Я долго ломаюсь, а потом сажусь за стол с таким видом, словно оказываю им великую услугу. Васюта с лицом мумии наливает мне густо заваренный чай и сердито швыряет мне чайную ложку. Васюта не терпит меня, как всех своих бывших квартирантов. Раньше она уважала меня, как судью. С появлением в ее доме важного и заслуженного зятя, я в ее глазах скатился до положения сторожа дровяного склада.

Когда же я не бываю в доме Васюты Косых, у меня сидит Полостов и ведет душеспасительные разговоры. Со мной он сбрасывает маску благодушия. Становится тяжелым, мрачным, грубым. Раздражается по каждому пустяку, злословит и все охаивает. Я вторю ему. И мы дуэтом все ругаем и злобствуем. Разговоры, как правило, о процветании ханжества, подлости, карьеризма. Мы охаиваем все настоящее и расхваливаем былое. Наши обвинения огульны, беспочвенны и строятся они преимущественно на воспоминаниях об ушедших счастливых временах. Мы превозносим

себя, бесстыдно хвастаемся друг перед другом талантами и умом, которые зажали в тиски и не дают ни расти, ни развиваться. Борис Дмитриевич жалуется, что армия погубила в нем ученого, гуманиста, философа. А через минуту начинает ругать и поносить школу и, вздохнув, с сожалением скажет: «В армии хоть и тупеет человек, зато он наперед знает, что ему надо сделать». Он любит повторять эту фразу. А я каждый раз думаю: «Интересно, сама она пришла ему в голову или Полостов взял ее напрокат из «Красной Лилии» Анатоля Франса?» Но об этом я его не спрашиваю. Так как я и сам чужие слова, мысли бессовестно выдаю за свои.

Мы брюзжим и клеветем до полуночи. В конце концов наше путешествие в пустозвонство, критиканство переходит в глумление, издевательство над человечеством. Но тут нас начинает одолевать зевота.

— Ну все, довольно. Я пошел. Будь здоров,— громко и отрывисто, словно в казарме, говорит Полостов и, стуча каблуками, уходит.

После ухода Полостова мне становится невообразимо тяжело и гадко. Слово этот разговор я не сам вел, а подслушивал его случайно у соседа через тонкую перегородку. И чувствую, как мало-помалу скатываюсь в какую-то глубокую вонючую яму. Я понимаю, что наше злословие, брюзжание не достойно порядочных людей. Сознаю, что все это надо кончать. Но как?! Завтра ко мне опять придет Полостов, и все начнется сызнова.

К счастью, мы начинаем надоедать друг другу. Встречаемся все реже и реже и, наконец, от случая к случаю.

Я почти никуда не хожу. Только по утрам выползаю на рынок и — раз в неделю — в библиотеку. Набираю охапку книг без разбору, что попадет под руку, и глотаю, не пережевывая, ночи напролет эту словесную мешанину. Сам готовлю завтраки и ужины в моей каморке на крохотной дырявой плите. Плита дымит нещадно, и моя каморка напоминает курную деревенскую баню.

Тогда я вспоминаю своего заседателя Вадима Артемьевича Ухорина. Сравниваю его жизнь со своей и не вижу существенных различий. Оба мы несчастны, никому не нужны, и наплевать-то всем на наше существование. Однако приготовление пищи меня не угнетает. В это время я чувствую себя человеком, занятым нужным и полезным трудом, и мне не так тоскливо.

Единственно, кто меня помнит и навещает, так это Ольга Андреевна Чекулаева. Позвонит по телефону и спросит:

— Ты еще жив, Буза?

— Существую.

— А как?

— Надо бы получше, да не умею.

— Ну так я к тебе вечером забегу и поучу немножко.

Она приходит, сильная, здоровая, и сразу же начинает наводить у меня порядок. Закатывая рукава кофты, Ольга категорически заявляет:

— Все мужчины — порядочные поросята. И образ жизни у них, как внешний, так и внутренний, поросячий.

— Вот что, голубушка,— говорю я наставительно.— Если ты желаешь сотворить ближнему добро, то вначале сотвори его в душе. А потом принимайся за это дело с тихой радостью, без попреков и оскорблений.

Ольга Андреевна, чтоб не рассмеяться, стискивает зубы.

— Подумаешь, великая радость чистить твой свинарник.

— Оставь и уходи.

Она вспыхивает.

— Эх ты, бревно неотесанное! Другой бы на твоём месте за великую честь почел, что к нему пришла такая молодая и красивая женщина. Что улыбаешься? Может, скажешь, что я некрасивая?

Она вплотную подходит ко мне, касаясь своими налитыми грудями, кладет руки на плечи и сильно встряхивает:

— Отвечай мне, красивая я?

Глаза у нее потемнели, ноздри раздулись, дышит порывисто и вся дрожит, как необъезженная лошадь. Мне становится почему-то жутковато, я опускаю голову и бормочу:

— Красивая.

— А еще какая? — шепчут ее губы.

— Сильная.

— И ты меня боишься?

Она ждет ответа с нетерпением. Пальцы ее рук словно клещами сжимают плечо. А я стою, молчу и глупо краснею. Ольга Андреевна отходит к окну, смотрит на улицу. Видит ли она что-нибудь там, не знаю. Скорее всего, что ничего не видит: мешают слёзы. Она давно любит меня. Но я как-то странно ощущаю ее красоту и любовь. Они не вызывают у меня ни желанья, ни наслаждения,

ни восторга, ни страсти. Мне жаль себя, жаль Ольгу, жаль того, что мы теряем что-то важное, необходимое и нужное в жизни.

Ольга Андреевна как быстро вспыхивает, так же быстро остывает. Минутная слабость прошла. Ольга Андреевна и командует и распоряжается мною, как хочет. Я таскаю ведра с водой, дрова, мусор, а она чистит, скребет и моет. И делает все с большим удовольствием.

Но вот уборка кончена. В комнате жарко и сыро, как в прачечной. Подсыхает пол, над плитой сушится полотенце. Из чайника хлещет пар, а крышка звенит и подпрыгивает.

Пьем чай, долго и лениво, и, разомлев, лениво, доверчиво болтаем обо всем и ни о чем. Потом начинаем жаловаться друг другу на скуку, невежество, жизненную неудовлетворенность и так далее и тому подобное.

Наедине со мной Ольга Андреевна старается избегать разговоров на политические темы. Ее больше волнует личная, интимная жизнь человека. Я стараюсь делать все ей в пику. И начинаю разводить жалость по поводу темноты и невежества.

— Вот тебе пример темноты и невежества наших колхозников,— начинаю я не без некоторого ехидства и рассказываю про одну женщину, которую вытащили в Узор из глухой деревушки на суд за неуплату сельхозналога. До начала судебного заседания эта женщина сидела в канцелярии суда. Два часа она высидела, не шевелясь, не сказав ни слова. И вдруг заговорило радио. Женщина забеспокоилась, вскочила и, озираясь, с испугом спросила: «Где ж это человек-то сидит? Спрятался, что ль?»

— Вот, Ольга Андреевна, плоды твоей пропаганды и культпросвета,— не без злорадства сказал я.

Чекулаева на это ответила, что подобное явление редкое, единичное, и никак нельзя строить на нем такие резкие обобщения, так как в основном наш народ знает радио, знает и телевизор, и еще кое-что.

Мой рассказ о том, как я судил старика за украденный с поля мешок турнепса, также ее не тронул.

— И правильно. Если не усилить борьбы с расхитителями, то воры и казнокрады растащат все: пальто не на что застегнуть будет,— резко заявила Ольга Андреевна.

— Да какой же он казнокрад! Он просто голоден. И взял-то он то, что принадлежит ему по праву. Он обра-

батывал это поле, он сажал этот турнепс. И ничего не получил за работу.

Ольга Андреевна смотрит на меня насмешливо.

— Он это так и сказал на суде?

— Этого он не сказал. Должен был сказать.

— Почему же он не сказал?

— Из уважения.

Она передернула плечами и махнула рукой.

— Хватит, замолчи.

Мне стало очень обидно и за этот жест, и за то, что она не понимает меня.

— А ты, наверное, думаешь, что он испугался это сказать. Он бы сказал, если бы его судил председатель колхоза в правлении. В его годах бояться нечего. А нам этого не сказал только лишь из уважения к массивному столу с зеленым сукном, стульям, у которых на высоких спинках герб, к портретам, к прокурорским светлым пуговицам, к непонятым бессмысленным словам адвоката, как «алиби», «юриспруденция», «право» и прочая шелуха. Из уважения он виновным-то себя признал. Хотя уверен, в душе-то он не считал себя преступником. Просто он ничего не понимал. А все непонятое невольно вызывает у человека уважение.

Двенадцатый час ночи. Но мы все еще сидим. Чтоб как-нибудь протянуть время, Ольга Андреевна начинает опять уборку. Моет посуду, подметает пол и делает все это нарочито медленно. Посуда вымыта, стол насухо вытерт, Ольга оглядывается, что бы еще такое сделать, и, убедившись, что больше совершенно нечего, садится, положив на колени руки. И так, не шелохнувшись, сидит долго, мучительно долго, морщит лоб, кусает губы. Она хочет что-то сказать и не решается, ждет, когда заговорю я. А я молчу, нехотя перевертываю страницы книги.

— Знаете что? — прерывает она молчание, обращаясь почему-то на «вы».

— Что? — равнодушно откликаюсь я.

Ольга испуганно вздрагивает и говорит совершенно не то, что хотела сказать:

— Какой час?

— Вероятно, первый.

— Так много. А спать не хочется, — говорит она, грустно улыбаясь, и ждет, не предложу ли я посидеть еще немножко.

А я по-прежнему молчу и по-прежнему равнодушно листаю книгу.

— Ну, я пошла.

Ольга встает, снимает с гвоздя пальто. Я помогаю ей просунуть в рукава руки и по ее грустным глазам вижу, как ей не хочется уходить. И словно в подтверждение моей догадки, она, вздохнув, говорит:

— Если б ты знал, как мне не хочется...

— Чего не хочется?

Она вскидывает потемневшие от тоски и обиды глаза и говорит, стиснув зубы:

— С утра ехать в командировку.

— Я провожу тебя.

— Зачем?

— Да так...

— Не надо. Прощай,— и хлопает дверью.

Каждый раз, уходя, она бросает мне это слово. Но я знаю, что она придет и придет обязательно, чтоб сказать мне его еще раз. Придет, раскрасневшаяся от радости, стыда. Она радуется, что ей приятно видеть меня, сидеть рядом, дышать вместе одним воздухом. И в то же время ей стыдно бывать у меня, оправдываться и лгать, чтобы замотивировать свой приход какой-нибудь очевидной ложью, вроде как: «Пришла проконсультироваться по одному юридическому вопросу». И я ее ничуть не осуждаю. Мне тоже приятно бывать у Симочки и дышать с ней одним воздухом. Правда, я не сгораю от стыда за свои визиты: они прикрыты дружбой с Борисом Дмитриевичем. Но все знают, что это тоже ложь. Знает и Симочка, и Васюта, и соседи, вероятно, догадывается и сам Полостов.

Однако всему есть конец.

Пришел конец и этой дружбе. Она оборвалась внезапно, легко, бесшумно, как истлевший кусок полотна.

Полостов получил письмо от дочери. Она сообщала, что выходит замуж, и умоляла отца приехать на свадьбу и разделить вместе с ней ее радость. В письме так и было написано: «разделить со мной мою радость». Борис Дмитриевич читал мне письмо вслух и дважды подчеркнул эту нелепую фразу.

Мы с Симочкой провожали его. Настроение у Полостова было приподнятое, возбужденное. А когда он в привокзальном буфете выпил водки, то к нему еще прибавились гордость и бахвальство. Статный, он, красиво поводя плечами, молодежато расхаживал по перрону, небрежно брал

меня за пуговицу, говорил: «Молодой человек, вот ты не испытываешь чувства отцовства. А жаль. Чудеснейшая, изумительнейшая эта штукаенция. Советую испытать,— олять ходил, насвистывая и слегка подрагивая ногой, брал меня за ту же пуговицу и со снисходительной грубостью поучал.— Запомните, молодой человек. Долг каждого мужчины быть отцом, так сказать, продлить и увековечить род человеческий». И слово «продлить» звучало неприятно и пошло. Симочка изумленно смотрела на мужа и ничего не понимала. А он просто не замечал ее, а может быть, вообще забыл о ее существовании. И только когда подошел поезд, он вспомнил о ней, наспех поцеловал в лоб, сказал: «Не горюй. Веди себя умненько...», вскочил на подножку и помахал платком.

Прошло дня три. Настроение все это время было отвратительное, а в тот вечер особенно. Ничего не хотелось: ни думать, ни делать.

После работы два часа провалялся на диване, читая глупейший роман Панферова «В стране поверженных». И встал только за тем, чтобы приготовить ужин. За окном зияла непроглядная тёмь, дул ветер и хлестал дождь. Я затопил плиту и стал чистить картошку.

В сенях под грузными шагами застонали половицы, дверь от рывка распахнулась и через порог переступил Полостов. Но в каком виде! Ботинки покрывала густая грязь, словно он шел напрямик по раскисшей пашне. Поля шляпы обвисли. Лицо мокрое, опухшее, измятое.

— Что это? — воскликнул я.

— Т-с-с. Тихо надо. Я как тать в ночи в полнощной прокрался в твой дом,— прохрипел он.— А ты картошку варишь? И то дело!

Полостов засмеялся отрывисто и хрипло, как старый мотор, и, резко оборвав смех, громко, словно командовал полком, приказал:

— Отставить картошку, начнем пить водку.

Полостов шагнул к столу и вытащил из кармана поллитру. На месте, где он стоял, осталась большая грязная лужа. Борис Дмитриевич стащил с себя пальто, бросил на диван, и туда же швырнул мокрую шляпу. Он не сел, а свалился на стул и, обхватив руками голову, простонал:

— О люди, если б вы знали, как все ужасно!

— Что случилось?

Полостов поднял на меня мутные пьяные глаза.

— Судья, ты слышал поговорку: «Бог шельму метит»?

Он хотел улыбнуться и не смог. Вместо улыбки задержались щеки, скривился рот, а глаза обозленно сверкнули.

— Ну, что стоишь, смотришь? Подай стакан.

Полостов зубами сорвал с бутылки пробку, с бульканьем налил с краями стакан и, расплескивая водку, с отвратительной жадностью выпил. С минуту он сидел не дыша, не двигаясь, выпучив глаза. Потом, хватая губами воздух и поглаживая живот, просипел:

— Пошла, пошла. Уф, как хорошо-то стало! Подавай-ка сюда теперь картошку.

Он выхватил из кастрюли картофелину, покидал с руки на руку, обмакнул в соль и, обжигаясь, проглотил ее. Глядя на него, я не удержался и захохотал.

— Ты словно с голодного острова, а не со свадьбы.

— Почти двое суток не ел.

— Что так?

— Пил.

— Что же случилось?

У Полостова задержались веки, но он пересилил себя, вероятно, чтоб не расплакаться.

— Бог шельму метит. Вот что случилось,— он налил еще полстакана водки и упросил меня составить ему компанию. После второго захода он как-то сразу обмяк и прослезился.— Семен, ты хотел бы знать всю мою подноготную, жизненную трагедию удачливого человека? Ну так слушай. С чего же ее начать?..

Полостов долго тер лоб, морщился и, наконец, заговорил, с трудом подбирая слова.

— Я, Семен, родился в семье приличной, даже, если так выразиться, и с достатком. Мой отец был инженер, железнодорожные мосты строил. Мать тоже была образованная. Детство свое я опущу. Оно было обеспеченное и неинтересное. Учился в гимназии и, должен сказать, учился почему-то скверно, хотя возможности и способности у меня были недюжинные. Батяка хотел, чтоб я топтал его дорожку. Но, видя, что из этого ничего не получается, махнув рукой, сказал: «Не хочет быть инженером, пусть будет офицером», взял меня из гимназии и отдал в военно-морской кадетский корпус. Революцию я встретил гардемаринном. Отец, как и все порядочные русские люди, революцию принял и приветствовал. Ну и я, конечно. В гражданскую воевал, стал красным командиром, только артиллеристом. Женился на умной красивой женщине. Как она меня

любила! — Полостов застонал, закачался из стороны в сторону, схватил со стола бутылку, плеснул в стакан водки, выпил и продолжал:

— В общем, это брак был настоящий. От него у меня, то есть у нас... у меня-то сейчас ничего нет... осталось двое огарков. Сейчас я их тебе покажу, похвастаюсь...

Полостов сунул руку в потайной карман, вытащил фото и подал мне. Карточка была пробита пулей.

— Не правда ли, славные ребятишки? — пробормотал он, вытирая слезы.— Старший сын Андрюша, младшая — Ирочка. Сам фотографировал. Андрей ужасно не любил сниматься. Уговорили за взятку. Волосы у него стояли дыбом, как у ежа, а щеки от слез были красные и мокрые. Ирочка стояла рядом в белом платице, серьезная, с вытянувшимся личиком. Я все просил ее улыбнуться, но у нее никак не получалось. А все-таки неплохо вышли, как живые,— Полостов отобрал у меня фотографию и долго глядел на нее, глубоко вздохнув, повторил: — Как живые... Жаль, только вот пуля фотографию попортила.

— Где же она была?

— У сердца.

— И ты остался жив?

— Пуля в ребре застряла.

— А потом?

Полостов посмотрел на меня совершенно трезво и неприязненно.

— Ты меня не торопи и не сбивай с мысли. Я и сам собьюсь. О войне я тоже опущу. Хотя она во всем виновата. То, что у меня на фронте были женщины, ты не удивляйся; у многих много их было. Но все они для меня были как снег: прилипали, таяли и испарялись. Но одна на меня свалилась, как глыба, и придавила. Из-за нее я потерял жену, детей. Ужасно вредная и подлая скотина попалась. Когда я ее бросил, она столько на меня грязи вылила, что мне ничего не оставалось делать, как уйти из армии. Я бросил службу, бросил стерве квартиру и явился с повинной головой к Наде, то есть к Надежде Семеновне. А ты знаешь, как она меня приняла? Ужасно! Словно ей покойника в дом втащили,— Борис Дмитриевич схватился за волосы и омерзительно замотал головой...— Стою, молчу, не смею чемодан опустить на пол. А она, Наденька, даже не смотрит на меня. Повернулась спиной, глядит в окно. Словно она за столько лет одна не нагляделась. Потом повернулась вполоборота, чувствую, хочет что-то

сказать. На шее худенькой, тонкой, часто бьется синяя жилка. И такой она мне в эту минуту родной, желанной показалась, что у меня потемнело в глазах. «Пришел?» — спрашивает. «А что делать?» — прошептал я и чуть не заплакал. «Зачем?» И вот тут я, видимо, дал маху. Заулыбался, как идиот, и говорю: «Былые радости, уснувшие печали опять в душе моей, как прежде, прозвучали». Хотел мило пошутить. А получилось глупо и пошло.

Полостов залпом выпил водки, закусил коркой хлеба. Я не утерпел и спросил:

— А что она?

— Как «что она»? — недоумевая, переспросил Борис Дмитриевич.

— Что тебе жена на это сказала?

— А-а,— он поковырял пальцем зуб,— ничего утешительного, сказала: «Фу, гадость. Пошел вон, ничтожество». Правда, она так не выразилась. Она вообще ничего не сказала. Я это по ее глазам догадался,— проговорил он, криво улыбаясь, и протянул к бутылке руку.

Я попытался отобрать у него бутылку. Но Полостов неожиданно вскипел и заартачился, как всякий пьяный.

— «Хватит»,— передразнил он меня,— где ж «хватит»? Тут воробью не хватит. Долью и еще пошлю тебя за водкой. Потому я со свадьбы, и хмель у меня еще не прошел.

Я решительно заявил, что никуда не пойду, да идти бесполезно, так как поздно и водки уже не достанешь.

Он стукнул по столу кулаком.

— Я достану. Из-под земли достану,— попытался подняться и не смог. Плечи у него обвисли, красное опухшее лицо сморщилось, как у новорожденного ребенка. Подпирая рукой голову, вытянув нижнюю губу, он уставился в одну точку. Я посоветовал ему лечь, выспаться. Но Полостов только отмахнулся.

— Не хочу.

— А что делать будешь?

— Ты — что хочешь, а я буду думать,— грубо отрезал он.

— О чем?

— О подлости человеческой.

— Пьяный разговор,— заметил я.

— Пьяный?! — глухо, по-звериному зарычал он.— Ты, наверное, думаешь, что я совсем детей бросил. Нет?! Никак нет-с-с. Детей я не забыл и не забываю.

Когда они стали совершеннолетними, и тогда не забывал. Помог сыну институт кончить и дочери тоже. Каждый месяц высылал им деньги, и немалые, стипендия по сравнению с моими переводами — тьфу, — он плюнул на пол и зашаркал ногой. Видимо, хотел растереть плевок, который был совершенно в другом месте.

— Ты мне не веришь? Да у меня ворох этих квитанций.

— Дело не в них. Квитанции — для очистки твоей совести, — сказал я.

Но Полостов опять отмахнулся от меня и, все больше возбуждаясь, стал доказывать мне свою порядочность, честность и обличать подлость.

— Я старался делать для них все. Они же как со мной рассчитались! Сын от батьки отказался, и видеть не хочет А дочь? — он горько усмехнулся. — На свадьбу пригласила. А зачем? Чтоб поиздеваться. Подлость, какая подлость! Пусть я плохой отец, но все-таки отец.

— Что же произошло-то? — поинтересовался я.

Полостов не обратил на меня внимания и продолжал

— А с какой радостью я ехал на свадьбу! Последний раз поцеловал Ирочку, когда ей было одиннадцать лет. Это было очень мягкое, теплое и невообразимо милое существо. И вот она уже невеста; как-то она встретит старого, давно забытого батьку? Мне было одновременно и страшно и радостно. Признаться, я опешил и едва устоял на ногах, когда пышная красавица с весьма развязными манерами повисла у меня на шее. Но я узнал свою дочь, как узнают звери своих детенышей. Она жадно схватила мои подарки, кое-как поцеловала и убежала к жениху. А свадьба была ничего, веселая была свадьба. Все говорили, и никто никого не слушал. Много пили, пели, кричали «горько», и я тоже кричал «горько», и мне действительно было очень горько. Потом на меня снизошло какое-то забытье, словно все вокруг заволочло туманом. А когда туман рассеялся, за столом уже никого не было. Ни дочери, ни жениха, ни гостей — один только я.

Все время он говорил, опустив голову, а когда кончил свой рассказ, поднял ее.

— Ну, что ты на это скажешь, судья?

— Судьба шельму метит.

— А-а-а? Иты, наконец, понял?! — Полостов отрывисто захохотал, словно залаял. — И тебе она, Бузыкин, отомстит Конечно, если ты тоже делал подлости и гадости. Сама

жизнь отомстит. Она все видит и ничего не забывает. И бьет в самый критический момент, по самым больным местам, бьет наверняка, наповал. Запомни это, Семен, заруби на носу. Твори в жизни только благо. И начни это дело сейчас же, немедленно. Оставь меня у себя на ночлег. Кому я такой нужен. Да и Косые не знают, что я вернулся со свадьбы. Я ведь прямо с поезда — к тебе. Чтоб никто не видал, огородами, задворками пробирался. А завтра утром явлюсь, и все будет в порядке. И еще прошу тебя: никому и ничего не рассказывай. Впрочем, это дело твоей совести.

Я помог Полостову перебраться со стула на диван, стащил с него ботинки, сунул под голову подушку, а сверху набросил пальто, и он мгновенно захрапел. И всю ночь он храпел, да так, словно по моей каморке развезжал гусеничный трактор.

Теперь мы не бываем друг у друга. Не только потому, что это мое желание, но и сам Борис Дмитриевич уже не тот Полостов, моложавый полковник, каким он явился в Узор. Учительствовать бросил. Живет по-стариковски: тихо и разумно, никуда не ходит, ни с кем не знается. На глазах жиреет, дышит тяжело и все чаще откидывает назад голову. Утром Полостова можно встретить с женой на рынке. Идет важный, солидный, с сознанием своего превосходства. И все ему уступают дорогу. О мясе, луке, картофеле толкует так, будто всю жизнь только и занимался сельским хозяйством. Проходя мясной ряд, тычет пальцем, спрашивает: «Сколько?» — и, не слушая ответа, идет дальше. Выбрав кусок, тщательно ощупывает, обнюхивает и скаречно торгуется. И совершенно не обращает внимания, когда торговка плюет ему вслед: «Тьфу, а еще полковник».

Иногда встречаю Полостова в березовой рощице, около больницы, на берегу реки. Каждый вечер он ходит туда с женой прогуливаться. Делаем вид, что необыкновенно рады видеть друг друга, неестественно хохочем, хотя говорим о самых обычных, серых и скучных вещах. Приподняв шляпу, Борис Дмитриевич желает мне «здоровья», поворачивается спиной и, осторожно ставя ноги, словно боясь оступиться и попасть в яму, уходит. Рядом с ним, прижавшись к рукаву, словно внучка к дедушке, плывет Симочка. Она тоже изменилась. Ее дивные милые глаза округлились, словно от испуга. Они теперь не вспыхивают, не гаснут, они очень равнодушны, смотрят — да и только.

Полостовы бродят между белыми стволами берез, как

тени, и, наконец, исчезают. А я иду к реке, выбираю сухое место, усаживаюсь поудобней и долго смотрю на темную холодную воду. В ней отчетливо отражается рыжая шуршащая осина, осеннее, с голубыми проталинами небо, кровавые ягоды бузины, голые серые ольхи, тянутся бесконечно желтые березовые занавеси.

Налетевший ветерок поднимет рябь. И все сольется в один пестрый яркий вертящийся клубок. Но вот ветер стих. И опять все стало на место.

Поднимаю голову. Все то же, что и в реке, только во много раз огромнее, светлее и проще.

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ

Глава первая

МОЛОДЧИНА

В паспортном столе городской милиции значится, что гражданин Овсов Василий Ильич появился в П*** в тридцатых годах, что он происхождения из крестьян-средняков, семейный и служит в артели «Разнопром». Другие данные о нем пока милицию не интересовали, да и незачем: Овсов не пьет, квартплату вносит аккуратно, с жильцами не судится. Наоборот, в доме, где он проживает почти двадцать лет, не только не причинил никому зла, но даже не сделал ничего такого, в чем бы можно было его упрекнуть.

— Золото Овсов! Сколько живем здесь — и ничего плохого от него не видели. Незаметный он человек, — говорили про Василия Ильича.

Василий Ильич мог незаметно где-либо появиться и еще незаметнее исчезнуть. Все, казалось, было пропитано в Овсове незаметностью: и поведение его, и наружность, и даже праздничный костюм. Если бы у жены Овсова спросили: «А какой у Василия Ильича нос?» — она бы, махнув рукой, сказала: «А я что-то и не помню. Нос как нос».

Как и когда появился в артели Овсов, также не заметили. Однажды председатель артели с техноруком, заглянув в проходную, увидели Василия Ильича.

— Кто ты? — спросил председатель.

— Вахтер.

Председатель взглянул на технорука. Тот пожал плечами.

Позвали сторожа. Тот посмотрел на Василия Ильича, потом на начальство и ухмыльнулся:

— Эва, так это ж Овсов. Вахтер наш. Вместе нанялись: Лет уж семь как. — Для уверенности сторож пересчитал пальцы. — Да, пожалуй, семь будет. А то и все восемь наберется.

Жил Овсов во «дворце полей», — так назывался в П*** один из самых старых домов на окраине, по со-

седству с кирпичным заводом и кладбищем. Этот дом — в три этажа — был построен при императоре Павле и резко отличался от всех прочих домов. Вероятно, он некогда имел вид: на темных, словно прокопченных стенах еще сохранились куски крепкой, как цемент, штукатурки и чугунные кронштейны; сверху дом оседлала замысловатая надстройка с дырами вместо окон и круглой, как зонтик, крышей, с которой свисали ржавые железные лохмотья. «Дворец» тесно обступали сараи. За сараями с одной стороны «дворца полей» — сам П*** с высоченной трубой городской бани, с другой — кладбище с деревянной церквушкой. Сбоку кладбища овраг, заросший рябиной, а за оврагом железная дорога с красной песчаной насыпью. От «дворца» до обвалившихся ям с зеленой водой и ссохшихся куч глины протянулось ровное, как стол, поле... Все оно было изрезано зелеными квадратами, перетянуто проволокой, перегорожено заборами и заборчиками. Это поле горисполком временно отдал под огороды обитателям «дворца».

Обитатели «дворца полей» заслуживают особого описания.

Если бы автору дали право все перекраивать на свой лад, то он бы «дворец полей» переименовал во «дворец сторожей». И не без основания. Почти весь дом был заселен сторожами. Лучшую квартиру занимал сторож универмага. Он выгодно отличался от других сторожей высоким ростом, хриплым басом и добротным овчинным тулупом; кроме того, ежегодно запахивал двадцать соток земли. Сторож фуражного магазина круглый год ходил в валенках с резиновыми галошами и под старую офицерскую шинель поддевал жилет на заячьем меху. Сторожа булочных мало чем отличались друг от друга: брились они по праздникам, постоянно возились с молочными бидонами и пили горькую. Называли их «парашютистами». Эта кличка была безобидной и носила чисто профессиональный характер. Дело в том, что сторожа, отправляясь на рынок с молоком, брали сразу два бидона и вешали их на себя, как парашют: один на грудь, другой на спину... Аристократом «дворца» считался сторож дровяного склада. Кроме коровы и двух боровов, он держал голубей с кроликами, копил деньги на «победу», а в выходной день надевал бостонский костюм.

Кладбищенский сторож, болезненный старичок, входил в разряд захудалых. Доходы он имел мизерные. Ле-

том потихоньку торговал черемухой и сиренью, а зимой топил печь крестами брошенных могил. Прочие сторожа считались середняками: имели по коровенке и по десяти соток огорода.

Не хуже других жили и Овсовы, как говорят — дай бог каждому. У них тоже были и корова, и поросенок, и огородишко. Семья не обременяла Василия Ильича: он сам, жена и дочь-невеста. Василий Ильич был уже не молод, но и не так уж стар. Худощавый, узкоплечий, с овальным добрым лицом, он казался значительно моложе своих пятидесяти лет. Марья Антоновна, высокая, грузная женщина, выглядела старше мужа, хотя ей было всего только сорок. Она считалась отличной хозяйкой. Кормила, одевала семью на зарплату мужа и кое-что откладывала на «черный день». Нередко Марья Антоновна жаловалась соседям:

— Как мне надоел этот телевизор! Покою от него не вижу: все гости да гости.— Или: — Наталье-то своей опять справили новое пальто, да не нравится. Говорит, немодное. Другое надо покупать. Не жизнь — разорение одно. Хоть бы поскорей с рук ее сбить.

День шел за днем, год за годом. Событие следовало за событием. Но ничто, казалось, не задевало Овсова. Он выполнял только то, что от него требовали,— ни больше, ни меньше. Радостным его не видели, горестями он не делился, да и не с кем было делиться. У него не было ни друга, ни собутыльника. Может быть, этому способствовала некоторая замкнутость Василия Ильича или другое что, но, так или иначе, Овсова сторонились. Правда, случалось, в субботу зайдет к нему сосед и дружески хлопнет по плечу:

— День-то нынче крайний! Сходим в баньку, попаримся, пропустим стакашек по жилочкам. Э-э-эх!

Василий Ильич поморщится и скажет:

— Водка бела. Только ведь она, сосед, красит нос и чернит репутацию.

Он посещал собрания, но никогда не выступал, не возражал, подписывал обязательства и говорил начальству: «Слушаюсь». Одно время занимался в политкружке. Терпеливо переписывал из «Краткого курса» страницы, потом прочитывал их на семинаре и считался примерным слушателем. Но если кто-нибудь заводил с ним разговор о политике, он, как правило, отвечал так:

— Не нашего ума дело.

И тот, уходя, пожимал плечами:

— Черт знает, что у Овсова в голове.

И вдруг о нем заговорили...

— Слыхали, Овсов в колхоз просится?

— Это какой Овсов?

— Да тот же, вахтер.

— Не может быть!

— Заявление подал.

— Вот это да!

— Подъемные задумал отхватить.

— Какие там подъемные! Он не на целину, а в колхоз, на родину.

— Вот чудеса. Жил человек тихо, незаметно и вдруг — смотри пожалуйста.

А заявление действительно поступило. Было оно очень короткое — в три строчки.

«Прошу дать расчет. Уезжаю на постоянное местожительство в колхоз. К сему — Овсов».

Секретарь партбюро был в недоумении. Он несколько раз прочитал заявление, нажимая на слово «колхоз», и задумался: «Не пойму. Ну кто этого мог ждать от Овсова? Разобрался-таки в решениях ЦК. Нет, видимо, мы еще плохо знаем своих людей».

Когда к нему вошел Василий Ильич, секретарь спросил:

— Вы это окончательно и добровольно, товарищ Овсов?

— Да. И я хочу успеть к севу, — спокойно подтвердил Василий Ильич.

Секретарь партбюро подошел к Овсову, взял его руку и крепко пожал.

— Молодчина! — И, стараясь не глядеть в лицо Василия Ильича, смущенно добавил: — Извини меня, не так о тебе думал.

Овсов, переступая с ноги на ногу, молчал.

— Ну, бывает же... А с отъездом мы вас не задержим... — И, сжав пальцы Овсова, парторг опять сказал: — Молодчина! Удивили вы меня, Василий Ильич; от души признаюсь, не ожидал я этого от вас!..

И после ухода Овсова секретарь еще долго удивлялся и спрашивал себя: «Что с человеком случилось?»

А вот что случилось погожим октябрьским днем тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года.

С утра, разорвав лучами сизую морозную дымку, из-за кладбища выкатилось солнце и, уставясь на «дво-

рец полей» желтым прищуренным глазом, ехидно улыбнулось. Марья Антоновна, подойдя к окну и откинув тюлевую занавеску, зажмурилась от удовольствия.

— Ох, и день же нынче будет! Только белье сушить.

— Да, денек будет,— подтвердил Василий Ильич и, сунув ноги в резиновые сапоги, пошел в сарай. Накинув на рога коровы веревку, он отвел ее к кладбищу на отаву; потом принялся чистить хлев.

День разгорался. Это был редкий в наших краях октябрьский день, с бездонно голубым небом и низким, чуть теплым солнцем. На березах еще кое-где висели листья, маленькие, ярко-желтые, как новые пятаки. Овраг и окраина кладбища были охвачены бездымным огнем осени. И только сирень по-летнему бодро держала упругие темно-зеленые ветки. Хорошее, праздничное и немножко грустное было в этот день в природе.

Приподнятое настроение с утра охватило и сторожей. Они все были необыкновенно добродушны и приветливы. Сторожа булочных без ругани взвалили на себя бидоны с молоком и, поддерживая друг друга плечами, отправились на рынок. Казалось, и солнце, прилипнув к бидонам, отправилось вместе с ними. Пока сторожа не скрылись за глиняным бугром, оно сидело на их спинах и беззаботно смеялось. Сторож дровяного склада все утро гонял голубей. Он стоял на крыше сарая, крутил над головой шест и кричал:

— Э-ге-гей! Го-лу-боньки, э-ге-гей!

И никто на этот раз не назвал его ни дураком, ни жуликом. Жены сторожей на редкость были милы. Развешивая во дворе белье, они любезничали, стараясь угодить друг другу.

Всех удивил кладбищенский сторож. Он вышел с балалайкой и, сев на ступеньку того, что раньше называлось крыльцом, сыграл «Барыню». А сторож универсама, подбоченясь, топнул кирзовым сапогом:

Барыня с горы катилась,
У ней юбка тра-та-та...

Трудно сказать, чем бы кончился этот удивительный день..

Может быть, так, слегка, повеселились бы они, да и разошлись; а может быть, сторожа раскошелились бы и закатали бы такую складчину, какой «дворец полей»

не видел с мая; а может быть, и поругались бы. Все может быть... Если бы...

Приблизительно через час из-за того же бугра, за которым скрылись небритые «парашютисты», появился трактор.

А на тракторе сидело солнце, и улыбка у солнца была такая широкая, что сразу захватывала кабину тракториста, фары и обе гусеницы. Трактор выполз тяжело и медленно, тсчъ-в-точъ как сторож с трехпудовым мешком отрубей на спине. Въехав на бугор, трактор на минуту остановился, а потом сполз вниз, волоча за собой два прицепа, заваленные кирпичом. Сторожа приумолкли, скучились и с тревогой наблюдали. Они сразу вспомнили о повестках, полученных еще весною, о советах горисполкома — перебраться на другое поле. Трактор некоторое время недобро гудел, потом затрещал, захлопал, одна гусеница у него дернулась и, шлепая траками, обогнала другую. Затем он вместе с прицепами свернул на огороды. Кто-то охнул, кто-то заголосил... Василий Ильич вытер со лба пот и беспомощно растопырил руки. Трактор разорвал проволоку на его картофельном участке, полез на дощатый заборчик... Слабо треснул забор. Развернувшись, трактор сдвинул в кучу земляничные гряды...

— А я только усы новые посадил... Зачем? — спросил Овсов и оглянулся.

Кладбищенский сторож оказался рядом.

— Сколько ж раз повестками предупреждали!.. Все на авось надеялись? Давно известно: дома будут от завода.— И пальцем провел по струнам балалайки.

Глава вторая

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ СНЫ

Потерю пустыря сторожа переживали болезненно, но по-разному... Сторож универмага принялся писать жалобы. Полгода он их писал, а потом плюнул и стал хлопотать о пенсии. Сторож дровяного склада недолго тужил: сначала продал очередь на «победу», потом корову с голубями и поступил учиться на курсы шоферов. Сторожа булочных сбросили с плеч бидоны и пошли работать на завод — выставлять обожженный кирпич.

Был выбит из колеи налаженной жизни и Василий

Ильич. Все потеряло для него смысл и значение. Даже квартира стала казаться ему пустой, холодной и совершенно ненужной.

— Зачем мне этот сарай?.. Зачем? — спрашивал он себя.

Жена, которую он ценил за сноровку и изворотливость, теперь представлялась ему неумной и вздорной бабой. А дочь Наталья, которую он недолюбливал за то, что она дочь, а не сын, стала ему и вовсе в тягость.

Наталья, полногрудая разбитная девица, служила в поликлинике не то сестрой, не то санитаркой. Она безумно любила танцы и военных кавалеров. Вечеринки с танцами часто устраивались на квартире Овсовых. Наталья Васильевна лихо плясала, громко пела и еще громче визжала, когда ее щипали кавалеры. Марья Антоновна любовалась дочерью, а Василий Ильич ругался:

— Кобыла, двадцать лет, а она все ржет.

— Пусть гуляет. Наживется и замужем — невелика радость, — говорила Овсова и тащила мужа посмотреть на нового кавалера.

Василий Ильич нехотя поднимался и заглядывал в приоткрытую дверь.

— Который?

— Без кителя... Огурец жует.

— Ну и что?

— Ухаживает за нашей...

— Ухаживает?! — Василий Ильич плотно закрывал дверь. — С пятнадцати лет за ней ухаживают. Удивляюсь, как она в подоле тебе не принесла.

Не говоря уже о том, что суглинистый участок на пустыре ежегодно приносил три — четыре тысячи дохода, он был дорог Василию Ильичу своей связью с далеким прошлым. Сын крестьянина-земледельца, Василий унаследовал от отца вместе с псковским выговором любовь к земле. И как ни старались обстоятельства вытравить эту любовь, ничего не получилось. Правда, они исковеркали это чувство, но полностью убить его не смогли: любовь к земле теплилась в сердце Овсова.

До войны Василий Ильич также имел огородишко, но тогда он для Овсова не имел столь важного значения.

— Для забавы держу, чтоб не разучиться картошку растить, — говорил он. Сам же Овсов работал тогда на кирпичном заводе.

Война не обошла и Овсовых. Без вести пропал стар-

ший сын. Василий Ильич тоже не миновал фронта и даже побывал в госпитале... А вернувшись домой, с первых же дней занялся хозяйством. Срубил сарай и поставил туда корову, потом взялся за огород. Незанятой земли на пустыре тогда было много.

На кирпичный завод Овсов не вернулся, а чтобы не мозолить соседям глаза, устроился в артель вахтером. И все пошло своим чередом. Огород на пустыре цвел вовсю. Ему Василий Ильич отдавал душу и все свободное время. В проходной артели он томился, а здесь отдыхал.

«Наконец-то жизнь налажена так, как я хотел», — думал Овсов. И вдруг в один день все полетело кувырком.

Тоскливые думы раздражали Василия Ильича. Марья Антоновна видела состояние мужа и старалась по-своему его успокоить.

— Что ты мучаешь себя и нас?.. Что ж, теперь с ума сойти из-за огорода? Ведь не один ты пострадал... Все люди как люди. На хорошие места поустраивались. Тысячи зарабатывают.

— Тебе все тыщи. А ты пойди заработай!

— И пошла бы на твоём месте на завод...

Марья Антоновна не понимала, что, пытаясь утешить мужа, она только растравляла Василия Ильича. Пойти на завод! Нет, это не только вовсе не входило в планы Овсова, но и было противно его натуре. Все, что было связано с производством — машины, железо, соревнование, — вызывало у Василия Ильича болезненное раздражение.

«Зачем все это? Разве нельзя жить без машин, соревнований, без собраний? — спрашивал он себя, и сам же отвечал: — Можно... Надо жить тихо, спокойно».

Перед Новым годом еще одно событие посетило Овсовых. И хотя этого события Василий Ильич ждал давно и с нетерпением, он отнесся к нему совершенно равнодушно.

В один прекрасный день Наталья привела в дом мужа. Марья Антоновна ахнула, а Василий Ильич только рукой махнул.

— Привела, и ладно. Места хватит. Вот продадим корову и свадьбу сыграем.

Корову продали, справили угарную свадьбу, и новый человек вошел в овсовскую семью. А Василий Ильич, казалось, и не заметил. Он еще больше замкнулся, стал

рассеянным; видно было, что Василий Ильич о чем-то давно и сокрушенно думает.

Жизнь его постоянно раздваивалась, и в последние два года эта двойственность обострилась. Одна жизнь, которую он не любил, заставляла повседневно думать, раздражаться... Вторая — была личная жизнь Василия Ильича, из которой он исключал даже жену и дочь. Это была мечта о таком уголке, где бы ничто не напоминало о первой жизни. Бессонными ночами и во сне Овсов видел этот уголок. Небольшая опушка березового леса. Избушка под соломенной крышей. Прямо от нее к ручью спускается огород, забраный высоким частоколом. В огороде гряды с луком, капустой, огурцами; вдоль ограды кусты смородины, малины, под ними ульи пчел. А он в одной рубашке, с дымарем в руках бродит по огороду. И никого, только он один. Ни крика человека, ни лязга железа, ни рокота мотора. Только гудят пчелы, беззаботно хлопочут птицы, перебираясь по камням, картавит ручей. Сознывая, что такая жизнь невозможна, Овсов все же надеялся найти хотя бы часть ее на родине, в Лукашах, где стоял заколоченный отцовский дом.

«Заведу свое маленькое хозяйство. С женой буду помаленьку работать в колхозе... Мы уже в годах — теперь с нас много не спросишь», — думал Василий Ильич.

В деревне Марья Антоновна бывала давно — в первые годы замужества. Впечатления от этих поездок у ней остались невеселые: работают много, а живут плохо. Долгое время о колхозе она и слышать не хотела. Мужа называла комедиантом и решительно заявляла, что скорее станет дворником, чем колхозницей. Но муж был настойчив. Всю зиму он рисовал Марье Антоновне прелести сельской жизни. И она стала задумываться. Хотя она и продолжала возражать, но не так решительно.

«Нам можно жить и в колхозе... Василий выхлопочет пенсию. Заведем сад, огород, посадим яблонь, землянику будем разводить», — размышляла Овсова.

И колхозная жизнь теперь уже рисовалась ей вся в яблоках, пересыпанная сочной земляникой.

— Что ж нам не жить в деревне. Свой дом, сад, — хвастливо заявляла Овсова на кухне.

— Вот и хорошо. И нас не забудете, Марья Антоновна. Может, когда на дачку пригласите, — ехидно говорили соседки. Но когда Овсова уходила, злословили: — При-

гласит она, дожидайся. У нее зимой снега не выпро-
сишь.

Теперь Овсовой снились только земляничные сны. То она видит банки — и все с земляничным вареньем. Марья Антоновна считает их, сбивается, опять пересчи-
тывает; неожиданно банки начинают двигаться, потом
пропадают. То появляется блюдо с молоком, в котором
плавает большая, похожая на грушу, земляника. Марья
Антоновна хочет поймать ее ложкой, но ягоды исчезают,
и она узнает красное курносое лицо соседки. Лицо, пла-
вая, гримасничает, злорадно улыбается: «А-а, земляни-
ки захотела Овсова».

Как-то Марья Антоновна увидела во сне огромную
земляничную гору. Свет от нее был вокруг багровый,
как от пожара. По горе вверх карабкался человек. Че-
ловек уже было дополз до середины горы, но оборвался
и скатился вниз. Засыпанный земляникой, он долго ба-
рахтался и, наконец выбравшись, пошел к Марье Анто-
новне... Она узнала своего Василия! От сильного толчка
в бок Марья Антоновна проснулась.

— Что ты стонешь каждую ночь? — проворчал Васи-
лий Ильич. Опомившись, Марья Антоновна заплакала и
стала умолять мужа не ехать в колхоз.

За перегородкой, затаив дыхание, их слушали дочка с
зятем.

Таково было положение в семье Овсовых. Впрочем,
жили они мирно, если не считать мелких ссор Марьи
Антоновны с зятем, во время которых она заявляла, что
скоро развяжет ему руки.

Наконец то, чего ждала и боялась Овсова, случи-
лось. В тот день Василий Ильич явился с работы раньше
обычного. Марья Антоновна перебирала в буфете посуду.

— Ну, Маша! С городом теперь покончено, расчет
получил. Будем собираться. Сегодня напишу письмо со-
седу Матвею Кожину, чтоб встретил нас.

Марья Антоновна охнула. Стакан из ее рук выскольз-
нул и упал на пол. Василий Ильич хотел крикнуть:
«Раззява!» — но, подавив раздражение, усмехнулся.

— Хорошая примета, Марья, когда посуда бьется.

Марья Антоновна устало опустилась на стул.

— Ну полно тебе, — смущенно проговорил Василий
Ильич и, подойдя к жене, погладил ее по голове.

— Да как же «полно»? Уже ехать. Скоро-то как.
Дай хоть опомниться, — всхлипнула Марья Антоновна.

— Ничего, не горюй, Маша. Проживем. Теперь мы будем дома. А дома, говорят, и солома едома.

— Ох, не к добру, Василий. Чует мое сердце — не к добру.

— К добру или к худу, теперь ничего не изменишь.

Марья Антоновна вытерла лицо и, встав, сухо проговорила:

— Что ж, будем собираться. Но помни, Василий, если не по душе придется — уеду. Одного оставлю, а уеду. Ты это помни.

Разговор происходил в присутствии Натальи и ее мужа.

— В поездах теперь свободно ездить. До Зерков прямой поезд ходит, — сказала Наталья.

— Я так люблю дальнюю дорогу. Да если порядочная компания соберется... Батарей пива, преферанс, — поддержал Наталью муж, но, видимо, поняв, что говорит не то, взъерошил волосы и обратился к Овсову:

— Вы, Василий Ильич, насчет билета не беспокойтесь. Устроим.

Марья Антоновна тяжело вздохнула. К ней подошла Наталья.

— Мама! Не на тот же свет собираетесь. Не понравится — опять приедете. Разве мы вас оставим? Верно, Андрей?

— Да, да, конечно, какой может быть разговор, — поспешно заверил Андрей.

Глава третья

В ЛУКАШИ

Поезд отошел глубокой ночью. Пассажиры, рассовав по углам вещи, притихли... Супруги Овсовы заняли в купе нижние полки. Марья Антоновна вырядилась в новый сатиновый халат и улеглась спать, подсунув под голову дорожный мешок. Василий Ильич не отрывался от окна. Бесконечной, плотной, черной стеной проплывал лес; по белесым пятнам он узнавал березу, по остропикой макушке — елку, большими темными кучами мелькала ольха.

Радостное и вместе с тем тревожное чувство испытывал Василий Ильич. Он ехал в родные Лукаши. Овсов

закрывал глаза и видел их. Над домами сцепились развесистые дряхлые ветлы и стоят, поддерживая друг друга, чтобы не упасть. За садами, среди синеватой капусты и темно-зеленой картофельной ботвы, извивается Холхольня — река, на редкость капризная и каменистая. И видит Василий Ильич старый отцовский дом — почерневший, сгорбленный, крыша осела, буйно поросла крапивой и сивым репейником. «Наверное, и палисадника под окнами нет, и калину вырубил, а сколько ее росло...»

В последний раз Овсов был в Лукашах на похоронах отца. Уезжая, наглухо заколотил толстыми досками окна и входные ворота. Вспомнил Василий Ильич свой отъезд. Дождливой осенью по изрытой ухабами улице кривой мерин тащил телегу, в которой болтались корзинки и соседский сын Мишка. Мальчуган махал хворостинной, дергал вожжами и, подражая взрослым, покрякивал:

— Но-о-о... Чтоб тебя волки сожрали, ленивого!

Василий Ильич шел стороной. В окнах, сплюсывая на стеклах носы, торчали ребятишки, из-за простенков выглядывали взрослые. В конце Зареки Василия Ильича остановила Устинья, дряхлая старуха.

— Ты, Васька, батькино хозяйство порушил, а своего не нажил,— проскрипела она.— Вот я и говорю — не в Илью ты пошел, нет, не то семя. Батька твой крепко за землю держался, зато и в почете был. Смотри, Васька, легче прыгай, ногу не вывихни! — И Устинья погрозила костлявым пальцем.

«Нет, бабка, не свихнулся я», — усмехнулся Овсов, вспомнив теперь в поезде Устинью.

В последнее время Овсова засыпал письмами сын соседа Мишка — тот самый Мишка, который отвез его тогда на станцию. Парень настойчиво просил продать дом.

Начало светать. От горизонта небо постепенно светлело, но вот все отчетливее и отчетливее стала проступать лимонная полоса и, расширяясь, теснить груды темно-серых облаков. Кончилась завеса дождей. Сквозь легкую, как марля, пленку тумана проглянуло чистое небо и плоский, бледно-желтый круг солнца. Туман редет, синь неба все ярче и ярче; солнце, поднимаясь, сжимается, наливается золотом. Показалось село с дымными крышами; за ним долго кружились рыжие поля зяби. Потом дорогу стеснил молодой сосняк с голубоватыми

почками на концах веток. Поезд рвет прохладный утренний воздух и, развешивая на кустах хлопья пара, уходит все дальше и дальше от темно-синего севера. Мелькают столбы, стучат колеса, наматывая километры, и тревожное, но теплое чувство наполняет Василия Ильича.

Через сутки поезд подошел к станции Зерки. Овсовых встретил Михаил Кожин. Василий Ильич не узнал его. Из белобрысого лопухого мальчугана получился высокий румянолицый парень. Он легко поднял чемоданы Овсовых и отнес их к машине. Работал Михаил шофером и приехал за гостями на колхозной полуторке. Марью Антоновну поместили в кабине. Василий Ильич сел в кузов, где уже набралось с десятков случайных пассажиров-попутчиков. Стоял на редкость жаркий апрельский день. Небо от жары побледнело. Асфальт почернел и блестел, словно подмасленный. Грузовик взбирался на холмы, поросшие частым сосняком, спускался к водянисто-зеленым лугам, по которым еще бежали мутные ручьи.

Машина свернула с шоссе и покатила вдоль прошлогоднего картофельного поля, которое было сплошь забросано иссохшей белесой ботвой.

Показались Лукаши. Бревенчатые, рубленные то в угол, то в лапу, кое-где обшитые тесом дома, сильно почерневшие, с громоздкими мезонинами... Среди них белели два новых сруба.

«Строятся. Интересно — кто?» — подумал Овсов.

Над домами разбросали свои кривые сучья дряхлые, дуплистые ветлы и березы с замшелыми стволами. Верхние ветви у берез голые, но уже почернели от набухших почек, как будто на них пала густая тень, зато нижние уже покрыла голубоватая пороша весны. На макушках деревьев кучами висят гнезда и, громко крича, дерутся тощие белоносые грачи.

Машина прошла мимо куч битого кирпича. Лучшая часть широкой улицы замусорена, покрыта пылью. Сердце Овсова больно сжалось. Раньше на этом месте стояла деревенская церковь с узкими решетчатыми окнами и зеленым от мха куполом. Над куполом торчал черный крест, на котором так любили отдыхать птицы. Но это было давно. Крест еще в первые годы колхоза свалил комсомолец Петька Трофимов. Потом от старости рухнула и сама церковь.

Полуторка прогремыхала по бревенчатому настилу

моста через реку Холхольню. Вода шла на убыль, и река пестрела серыми горбами щербатых валунов. К берегу подходил трактор, волоча за собой по непролазной грязи неуклюжие дровни с навозом.

Машина въехала в заречную сторону деревни, по-местному — в Зареку. Василий увидел свой дом. Окна заколочены длинными тесинами, по обветшалому карнизу серыми гроздьями лепятся гнезда ласточек, а на входных воротах висит тяжелый ржавый замок. Но, взглянув на крышу, Василий Ильич удивился: она была сплошь покрыта свежими заплатами драни.

Михаил остановил машину около своего дома. На крыльце стояли Кожины — Матвей и его жена Анна. Матвей состарился: голова у него совсем облысела, а лицо, наоборот, заросло редким белым пухом.

— Ну, здорово, здорово, соседushка. С приездом, — сказал Матвей, обнимая Овсова. Анна накрест поцеловалась с растроганным Василием Ильичом и заплакала. Подошла жена Михаила — Клава, коренастая, сероглазая, пожала Овсовым руки и стала торопить в избу... Сели за стол, Михаил хлопнул по дну бутылки. Гости и хозяйка чокнулись, закусили. Разговор не вязался. А когда Матвей вторично наполнил стопки, Михаил кашлянул и осторожно проговорил:

— Я вашей усадьбой второй год пользуюсь. С папой-то мы разделились. Колхоз и отвел мне ее. Я и ограду поставил, крышу залатал. Совсем сгнила, течет, как решето.

Овсов грустно улыбнулся.

— Хотелось мне ваш дом купить, — продолжал Михаил. — До последнего дня не верил, что вы вернетесь...

Матвей вытер взмокшую лысину полотенцем и хлопнул им рыжую кошку, которая украдкой тянула лапу к тарелке с мясом.

— Правильно решил, Василий, — сказал он. — Деревню нельзя забывать. Поди, лет двенадцать на родину не заглядывал. Все позабыл, ничего не помнишь.

— Да, многое изменилось, — отозвался Василий Ильич. Он сидел, низко опустив голову, и равнодушно ковырял вилкой яичницу. Матвей налил еще по одной. Овсов с Михаилом отказались.

— Ну, вы как хотите, а я выпью. — Матвей потер ладони, потом лоб, опрокинул в рот стопку, пожевал корку хлеба и обратился к Овсову: — Как жил-то, Васи-

лий? Слыхали мы, кино свое имел... Как его, телемызор, что ль?

— Телевизор,— поправила Марья Антоновна и поджала губы.

— Ах ты, господи, кино свое,— вздохнула Анна и потянулась к бутылке: — Еще, что ль, будешь качать?

— Не трожь,— остановил ее Матвей.— Стало быть, неплохо жил, Василий...

— Да так себе,— пожал плечами Овсов.

— Мы ведь тоже теперь по-другому зажили, по-городски: зарплату получаем. Мне вот в марте две с Кремлем дали. Как ты думаешь, ничего?

— Двести рублей? — удивленно подняла брови Марья Антоновна.— И хватает?

Василий Ильич покосился на супругу, а Матвей усмехнулся и, посасывая огурец, проговорил:

— В нашу МТС из города инженер приехал. В Устинойной избе поселился. Бабка-то Устинья позапрошлый год померла.

— Люди в деревне теперь очень нужны,— пробормотал Овсов.

— То-то и оно. Про Ваню Коня слыхал? Когда уезжал в город, все начисто распродав, кола не оставил. Этой зимой вернулся опять в деревню. Колхоз ему новую избу ставит... Только я смотрю — плохо еще расколачивают домишки-то.

— Вот и я надумал, Матвей Савельич, в деревню перебраться.— Овсов хотел сказать шутливо, но сказал испуганно.

— Что же, ты не первый и не последний. Вот и с налогами легче теперь...

— А я вот что думаю: мы люди городские, и нам в колхозе нечего делать,— подала голос Марья Антоновна.

— Да-а,— крикнул Матвей и тяжело, исподлобья посмотрел на Овсову. Она громко прихлебывала чай, широко расставив локти и держа блюдце обеими руками. Матвей медленно перевел взгляд на окна и поднялся.

— Никак, сама голова колхозная к нам.

— А кто же у вас нынче? — поинтересовался Овсов. Матвей даже удивился:

— Нешто не слышал? Петька Трофимов, сын пастуха Фаддея.

В избу вошел худощавый, черный от загара человек, похожий на подростка. На макушке у него, задрав к

потолку козырек, сидела серенькая кепчонка, из-под которой выбивались прямые белобрысые волосы. Увидев Василия Ильича, он сморщился, по-видимому улыбнулся, и, протянув руку, пошел к столу.

— С приездом, с приездом... Как доехали? Как здоровье?

Матвей заметил, что Марья Антоновна поздоровалась как-то странно: откинулась на спинку стула и, не глядя на председателя, подала руку вверх ладонью. «Должно быть, по-городски»,— решил Матвей.

— Дороги тут тряские. Того гляди язык прикусишь,— сказала она.

— Что верно, то верно,— согласился Петр.— Дороги ужасные, особенно от Лукашей до большака.

Пока говорили о дорогах, хозяйка успела очистить место за столом и, поставив стул, пропела:

— Милости просим, Петр Фаддеевич, за компанию.

Петр хотел отказаться, но где там: Кожины гуртом обступили его и почти силком усадили за стол. Он смущенно стянул с головы кепку и сунул меж колен. Но хозяйка выудила ее оттуда, встряхнула и повесила на гвоздь рядом с зеркалом, а на колени положила полотенце, расшитое бордовыми узорами.

«Вот она какая деревня... С расшитыми рушниками, с шумным гостеприимством, обильным угощением»,— подумал Василий Ильич.

Петр выпил стопку водки, с одной тарелки подцепил огурец, с другой — томленую картофелину и, решительно отставив штрафную, которую Матвей поспешил наполнить, заговорил с Овсовым:

— А я поджидал вас, Василий Ильич. С нетерпением ждал.

— Даже с нетерпением? — усмехнулся Овсов.

— Не верите?.. Спросите у них.

— Это точно,— подтвердил Михаил.

— Смотри-ка, какой почет! Словно министру,— и Марья Антоновна захохотала.

— А я и место для вас подыскал,— продолжал председатель,— прямо с производства на производство...

Овсов машинально поддел ломтик шпика и долго держал его на вилке, как бы недоумевая, зачем он ему понадобился.

— Думаю свой кирпичный завод строить.— Петр выжидательно посмотрел на Овсова.— А вас хочу началь-

ником работ назначить: как мне известно, вы с этим делом знакомы.

Василий Ильич, не зная, что ответить, нехотя жевал шпик и постукивал вилкой. Его выручил Матвей:

— Не поднять нам завод, людей мало.

— Завод — слово громкое. Заводик — вернее будет сказать. Людей мало, действительно мало... И все-таки решился.— Петр опять обратился к Овсову:— А как вы смотрите, Василий Ильич?

— Пока я ничего не могу сказать... Дайте осмотреться,— глухо ответил Овсов.

— Да, да, конечно,— согласился Петр.— Пока устраивайтесь. Дом расколачивайте, огород пашите, оседайте на земле прочно, навсегда,— и широко улыбнулся.— А мы поможем чем можем.

Председатель переговорил с младшим Кожиным о предстоящей поездке на станцию за семенами, торопливо простился и так же торопливо вышел.

— И все-то он торопится, торопится и торопится, царица небесная,— вздохнула хозяйка.

— Потому что о колхозе беспокоится,— веско заметил Матвей.— Слышь, Ильич, он прокурором был. Вот мой Мишка в подметки ему не годится.

— Ладно, хватит; слышали,— обиделся Михаил и вышел из-за стола.

Поднялся и Василий Ильич.

Глава четвертая

ПЕТР ТРОФИМОВ

Что жизнь-то вообще чудесна, Пека — сын потомственного пастуха Фаддея Трофимова — узнал очень рано. Но он также рано узнал и другое — жить-то живи, но не забывай получше смотреть да оглядываться.

Пятилетним мальчонкой Пека получил в жизни первый щелчок. В те времена в Лукашах около пожарного сарая висел кусок рельса. Это был своего рода колокол, который поднимал лукашан на пожар или на деревенскую сходку. Особым вниманием пользовался рельс у ребятешек. На нем можно было качаться, а иногда колотить этот рельс тяжелым ржавым болтом. И вот как-то этот рельс легонько поцеловал Пеку в затылок. Пеку

унесли замертво. Но нет худа без добра. Пека стал самым знаменитым человеком в Лукашах, а поэтому трогать глубокую вмятину на затылке разрешал не всякому.

На восьмом году жизни Пеке посчастливилось попасть под первый трактор, появившийся в Лукашах. Доктора наотрез отказались его вылечить, заявив: «Нам с ним делать нечего». Но Пека все-таки выжил.

А в пятнадцать лет Пека совершил такое, чего и сейчас не могут забыть в Лукашах. Комсомольцы решили из старой церкви сделать клуб. Для этого решили раньше всего снять с купола крест. Решить-то решили, а смельчака — добраться до креста по круглому, обросшему скользким мхом куполу — не находилось. За это дело взялся Пека, предварительно поставив условие, что если он доберется до креста и привяжет к нему веревку, его сразу же примут в комсомол.

Посмотреть на Пекин подвиг сошлась вся деревня.

Пека, прикрепив к босым ногам досочки, утыканные гвоздиками, полез на купол. Внизу, потрясая кулаками, заголосили старухи, призывая господа покарать антихриста. И действительно, жутко было Пеке. Зеленый круглый купол походил на арбуз, и карабкаться по нему было очень трудно. Когда Пека поскользнулся и его потянуло вниз, старухи закричали: «Брось, Пека, бог покарает!»

Как добрался до креста, Пека и сам не помнит. Зато очень хорошо помнит, как батька до полусмерти порол его ременным чересседельником.

Неожиданно для всех Пека отличником окончил среднюю школу.

«Вот и не гляди, что батька пастух. Малец-то — голова!» — удивлялись лукашане, а потом решили, что Пека пошел по маткиной линии и удался в деда Федота, который умел складно и много говорить.

То было перед войной.

С фронта Пека явился офицером, с десятком орденов и медалей.

Жить в колхозе было тяжело. В Лукашах один за другим заколачивались дома. Фаддей Трофимов жил один — жену он схоронил сразу после ухода сына на фронт. Петр пробыл у отца месяц и тоже уехал. Что делал он в городе, в Лукашах точно не было известно, только ходили слухи, что якобы он выучился на юриста и работал где-то прокурором.

Он появился за неделю до Нового года. По пустынной улице прошел невысокий человек с чемоданом в руках, в драповом пальто с серым каракулевым воротником, в новых валенках и в шапке с кожаным верхом. Прошел медленно, пристально разглядывал дома, перешел по лавам через Холхольню и по тропинке свернул в Зареку. Матвей Кожин в это время пилил с женой дрова.

— Кто ж такой? — спросила Анна.

— Да кто ж?.. Не иначе как Петька Трофимов. По походке видно. Вона как носки по сторонам разбрасывает. Его походка.

— Какой справный, — заметила Анна.

Матвей что-то буркнул, плюнул на ладонь и с силой дернул пилу. Пила из реза выскочила и, пробороздив по бревну, уткнулась в овчинную рукавицу.

— Чего стоишь рот разиня?! — вскипел Матвей.

Анна нехотя оторвала глаза от дома Трофимовых и, вздохнув, принялась пилить.

Когда Петр вошел в дом, Фаддей лежал на кровати поверх одеяла, подсунув под голову руки.

— Здесь Фаддей Романыч Трофимов живет? — спросил Петр сдавленным голосом.

— Я Фаддей Трофимов, — ответил, приподнимаясь, старик.

Петр прошел по избе, посмотрел на стены, на запыленные рамки с фотографиями, на генерала с журнальной обложки, у которого видны были лишь погоны да пуговицы, на икону с мрачным ликом чудотворца и присел на лавку у окна.

— Тебе кого? Аль меня? — спросил Фаддей и, не получив ответа, опять лег.

С болью глядел Петр на стол, покрытый рваной клеенкой, на лампу, из которой сочился керосин, на засаленный рукав полушубка, свисавший с печки. У скамейки дремал большой черный кот. Петр погладил его. Кот, старательно выгнув спину, потерся об его валенки.

— Если ты, товарищ, насчет пастуха, так я буду пастухом. Кому же еще быть, как не мне, — проговорил Фаддей, спуская с кровати ноги.

Петр почувствовал, что дальше молчать невмочь, что его душит.

— Папа, ведь это же я.

Петр поддержал шагнувшего к нему отца и крепко обнял.

— Сынок, Петька, приехал,— пробормотал Фаддей, глядя лицо и плечи сына.— Вот ведь плохо видеть стал, Петенька. Совсем не вижу в сумерки.

Он заторопился вздуть лампу. Сквозь мутное стекло чуть виднелся рваный язык пламени.

— Давненько ты, наверное, стекло не чистил,— заметил Петр.

— Какое там,— махнул рукой Фаддей,— обжожусь так. За керосином далеко ходить, да и не нужна она мне. А ты голодный, Петька? Я сейчас печку затоплю, поужинаем. И мясо найдем, и яички есть... Давно тебя поджидал,— говорил Фаддей, гремя заслонкой.

— Не надо, папа,— остановил отца Петр,— есть чем поужинать. Печкой мы займемся завтра.

Он достал из чемодана банку консервов, круг копченой колбасы и полбуханки хлеба, поставил на стол бутылку коньяку. Фаддей разыскал стопки и старательно вытер их подолом своей рубахи. Отец с сыном выпили. Фаддей, понюхав корку, спросил:

— Это какое же?

— Коньяк.

— Ага,— понимающе кивнул Фаддей.— Дорогой, поди?

— Да не дороже нас с тобой,— улыбнулся Петр и пристально посмотрел на отца.

— Папа, на что ты деньги тратил, которые я тебе посылал?

— Да зачем их тратить? Разве деньги тратят? Деньги в хозяйстве сгодятся.

— Да в каком хозяйстве? — возмутился Петр.— Деньги я тебе присылал, чтобы ты на них жил, чтоб мог нанять человека белье постирать, пол вымыть. Ты смотри, что у тебя за рубаха!

Фаддей обиделся.

— Да на что тебе сдалась моя рубашка? Не рваная — и ладно, а изорвется — почию, нешто у меня рук нет.— И, помолчав, добавил: — А деньги твои, Петька, целы, все сберег.

— Да как же ты жил? — изумился Петр.

— А ты что ж думал, мы здесь с голоду пухнем? — усмехнулся Фаддей.— Я же пастух. А пастух нынче самый зажиточный человек в колхозе... А ты надолго ль ко мне? Ну-ну, налей мышьяку-то.

Фаддей выпил, закусил колбаской и весело взглянул на сына.

— Так много ль погостишь у меня?

— Я совсем приехал, отец,— глухо ответил Петр.

— Та-ак,— протянул Фаддей,— значит, не выдюжил, сорвался.

— Нет, отец, выдюжил, не сорвался.

— Аль несчастье какое? Может, она одолела? — и Фаддей пощелкал ногтем бутылку.

Петр улыбнулся:

— Да ты, я смотрю, недоволен...

— Мне-то что... живи.

Фаддей медленно наполнил стопку коньяком, опрокинул ее, долго мотал головой и вдруг грохнул по столу кулаком:

— Недоволен! Я зачем тебя учил?!

Петр смолчал. Старик еще хотел что-то крикнуть, но, видимо, вспышка гнева уже потухла. Он сгорбился и, упираясь руками в колени, покачал головой.

— Нет, видно, не получился из тебя человек. Опять ты в деревню. Батька — пастух, и сын тоже не лучше. А я в тебя верил, вот как верил.— И Фаддей, уставясь в угол, перекрестился.

Петру стало обидно и жаль отца... Но в тот вечер он ему ничего не сказал. Сказать было нужно, да слов не нашлось.

Неделю Петр занимался домашними делами. Открыл вторую половину избы, натопил печь, вымыл стены, протер окна, набил свежей соломой матрацы, собрал отцовское белье и отдал соседке в стирку. Фаддей ему кое-как помогал.

Вскоре в Лукашах прошел слух, что из района едет сам секретарь райкома Максимов — снимать Лёху Абарина с председателей.

В субботу состоялось общее собрание колхозников. Собрание происходило в доме правления колхоза, в шестистенной избе, когда-то конфискованной у кулака Самулая. Этот дом объединял сразу три колхозных учреждения: управленческое, хозяйственное и культурное. В бывшей кухне разместился склад хомутов, молочных бидонов, мешков и прочих предметов, вроде дырявой банки из-под керосина и полутора десятков бутылок; в проходной комнате находилось правление: стоял шкаф, похожий на большой ящик, поставленный на попу, три та-

буретки и длинная, от дверей до окна, скамейка. Третью — большую квадратную комнату — называли клубом.

На собрание Петр пришел раньше всех и одиноко уселся в уголок, под плакатом, который восторженно звал убирать урожай. Первыми появились две женщины. По старомодной, со сборками, шубе, по тяжелой бордовой шали и по рябинкам на щеках Петр сразу узнал Татьяну Корнилову. Татьяна, охнув, неуклюже опустилась на переднюю скамью. Вторая женщина, в летнем сером пальто, была в три раза тоньше Татьяны и казалась девочкой-подростком. Когда она развязалась и стала поправлять волосы, Петр узнал и ее. Это была молодая вдова Ульяна Котова. Они обе посмотрели на Петра и громко засмеялись. Через минуту Ульяна одна взглянула на Петра, и глаза их встретились. Ульяна покраснела, а Петр, вздрогнув, поспешил отвернуться, — так много было тоски и надежды в черных Ульяниных глазах.

Пришли еще двое стариков: Еким Шилов и Андрей Воронин. Сняв шапки, они поклонились и, сев рядышком, не мигая уставились на стол, за которым счетовод Сергей Михайлов, уткнув нос в бумагу, торопливо писал. Шумно ввалилась компания краснощеких парней. Они заняли заднюю скамью и сразу же, как по команде, полезли в карманы за табаком. Среди них Петр с трудом узнал по горбоносой журкинской породе смуглого непе-седу — Арсения Журку.

Через два часа собралось человек сорок. Больше было женщин и стариков. Счетовод поднял голову и, поглядев близорукими глазами, сказал:

— Кажется, сегодня все пришли.

«И только-то... — подумал Петр. — А сколько сюда собиралось народу пятнадцать лет назад! Плечом не пошевелить».

Вначале колхозники сидели молча, изредка перебрасываясь словами, а потом заговорили. Особенно выделялся густой голос Татьяны.

— Дали бы мне волю, я этого Абару-пьяницу повесила бы на поганой веревке, — повторяла она.

К правлению подкатила машина. Вместе с Лёхой Абариным вошли секретарь райкома Максимов и плотный мужчина с густыми короткими усами на широкоскулом лице. На нем был новый дубленый полушубок с пышным белым воротником, лохматая шапка и черные

катанки. На секретаре райкома мешковато сидело бобринское пальто с поднятым воротником. Мужчина в полушубке похлопал руками в кожаных перчатках и широко улыбнулся, отчего верхняя губа у него приподнялась и нос сразу обеими ноздрями сел на усы. Максимов снял кепку и тоже улыбнулся, но не так жизнерадостно, скорее грустно.

Лёха, видимо, чувствовал себя скверно. Он сел за стол, толстыми короткими пальцами расстегнул ворот шубы и тоскливо посмотрел в сторону окна. Лицо Лёхи было сонное, опухшее, с крупными складками под глазами. Он походил на человека, которого только что разбудили, кое-как нахлобучили шапку, против воли, полусонного, привели сюда и посадили за стол. Лёха пальцем, как палочкой, постучал по столу и открыл собрание.

В президиум избрали Татьяну Корнилову, двух бригадиров, Максимова и счетовода Сергея — писать протокол.

Лёхе дали слово — доложить о состоянии дел в колхозе «Вперед». Но не успел председатель и откашляться, как вскочил Арсений Журка.

— Прошу простить, — он прищурил левый глаз, — мне кажется, Алексей Андреевич не сможет этого сделать.

— Почему же? — удивился Максимов.

— Опохмелиться Алексею Андреевичу надо, — протянул Журка.

Все захохотали, а Татьяна закричала:

— Нет, пусть расскажет, пьяная рожа, до чего колхоз довел.

Лёха лениво посмотрел на нее:

— Ну, чего орешь-то? Постеснялась бы людей.

— А что мне люди! — заголосила Татьяна. — Самому министру скажу, — и, обратившись к секретарю райкома, сказала: — Вот, товарищ Максимов, до чего он нас довел, мазурик, — штанов не осталось.

Стало тихо. Татьяна оглянулась и, присмирив, стала кутаться в шаль...

Доклад председателя прошел под шумок. Его не слушали, да и сам он старался говорить невнятно, комкая фразы. Из сказанного Петр запомнил, что на трудодень досталось по пятьсот граммов ржи и по рублю деньгами, что кормов едва хватит на ползимы, а сорок гектаров разостланного льна засыпаны снегом.

Выступил Максимов. Но Петр ничего не слышал, в голове колом стояли рубль и сорок гектаров льна под снегом. Голос секретаря райкома донесся до Петра, как из тумана:

— Мы рекомендуем вам в председатели товарища Трофимова.

Петр прислушался.

— Он послан сюда партией. Работать идет с желанием, человек, по-видимому, серьезный.— Максимов махнул рукой и добавил:— Да что я вам о нем рассказываю. Вы же лучше меня должны знать: он же ваш односельчанин.

После минутного молчания кто-то громко произнес: «Та-ак».

— Позвольте вопрос,— поднял руку Арсений.— Вот у меня такой вопрос.— Журка опять прищурился.— А сколько ему колхоз платить будет?

— А это уж сколько он с вас запросит,— уклончиво ответил Максимов.

— Ага. Ну что ж, поторгуюсь! Поторгуюсь, товарищи колхозники? — вызывающе крикнул Журка.

Колхозники насторожились. «Ну и огарок вырос»,— подумал Петр о Журке. Но подумал без злобы: то, о чем говорил Арсений, лежало на языке и у Татьяны, и у Екима Шилова, и у Кожина — у всех; но они молчали. И Петр бессознательно, нутром почувствовал, что молчание страшнее Журкиного глумления.

Встал Матвей Кожин.

— Я вот что скажу,— начал он.— Петра Фаддеича я знаю. И не против, чтоб он был председателем. Только пусть вначале скажет нам — по своей воле идет в колхоз или по приказу.

— Скажи, Петр Фаддеич, пообещай нам,— подхватил с озорством Журка.

Петр вышел к столу... Четыре десятка людей не спускали с него глаз. Глаза были колючие и насмешливые, строго выжидающие или равнодушно-пустые; и только одни большие Ульянины глаза в эту минуту были мягкие и влажные. Петр мгновенно увидел эти глаза и, опустив голову, проговорил:

— Я ничего обещать вам не хочу,— он замялся и стал вертеть пуговицу,— не то что не хочу, а просто не могу,— и Петр развел руки. Пуговица упала и, подпрыгнув, покатилась под лавку. Никто не проронил ни слова, как

будто не заметили. И сам Петр не заметил, кто и когда ему подал пуговицу. Он услышал только чей-то глубокий вздох.

Он оглянулся и твердо сказал:

— Я иду по своей воле... Я коммунист.

— Ты нам скажи, сколько платить тебе, — торопливо напомнил Журка.

Петру стало жарко, подкатило желание крикнуть тоже злое и резкое, но он сдержался и сухо ответил:

— Я буду работать за трудодни.

Поднялся шум. Старики нагнулись и кричали друг другу в уши:

— За трудодни, говорит.

Абарин поплевал на ладонь, пригладил волосы и, подмигнув счетоводу, засмеялся. Багровое лицо его тряслось, шуба колыхалась, и вместе с ней колыхались серые клочья шерсти, торчащие из дыр. Петр стиснул зубы и резко бросил:

— Как видите, товарищи колхозники, не обременю вас.

И опять все примолкли. Петр смело взглянул на колхозников и увидел, что теперь они опускают глаза.

...В тот же вечер Петр провел заседание вновь избранного правления и настоял, чтобы подняли заваленный снегом лен. Правленцы долго и упорно сопротивлялись, доказывая, что хотя снег и неглубок, зато скован ледяной коркой, так как после оттепели были сильные морозы. Больше всех шумел бригадир Егор Королев:

— И думать нечего о льне, зубами его не выдерешь.

— Надо взять лен, это же тысячи! Оставлять его — безумие, — убеждал Петр.

— Так-то так, — соглашался Матвей Кожин, — только с нашим народом не осилить.

— Так неужели нет никаких способов взять из-под снега лен? — в отчаянии спросил Петр и посмотрел в угол, где сидел, помалкивая, председатель ревизионной комиссии Сашок Масленкин. Сашок, низкорослый мужичонка с детским выражением глаз, по-видимому, решил, что председатель спрашивает его, покраснел, неловко поднялся и бессвязно пробормотал:

— Снег ломать бороной если... Лошадь в борону — и ломать.

Все посмотрели с удивлением на Масленкина. А счетовод, хлопнув Сашку по плечу, серьезно сказал:

— Золотая голова у тебя, Сашок. Жаль, что язык чугунный.

Поддержка малозаметного Сашка оказалась решающей.

Всю эту ночь Петр не спал... И, не дождавшись рассвета, пришел в правление. Он зажег лампу и долго ходил из угла в угол... И чем больше ходил Петр, тем больше раздражался. Раздражало все: и пол, усеянный окурками, и старые плакаты с призывами, и громоздкая печь без дверки, и глухая, тоскливая тишина. За окном терлась о раму озябая ветка молодого тополя. Так прошел час. Устав ходить, Петр сел за стол, подкрутил у лампы фитиль. Желтый свет на минуту заглянул в темный угол за печку и, как бы убедившись, что там никого нет, потихоньку выбрался оттуда. Петр встряхнул лампу. Свет опять метнулся в угол, но сразу же там стало темно, как в печной трубе. Язык пламени задергался и стал быстро садиться, потом мигнул два раза и потух. Мутное, с лиловыми тенями, прилипало к окнам зимнее утро. А тополь все терся и терся, изредка нетерпеливо щелкая по раме.

В девять часов Петр вышел на улицу. Серое небо висело низко и за деревней сразу сливалось с таким же серым, тяжелым снегом. Дул сырой западный ветер. Председатель поднял воротник и направился к дому бригадира.

Петр постучал. Никто не ответил. А когда он резко ударил по раме, в избе что-то грохнуло, за стеклом показалось лицо и сразу пропало. Вскоре заскрипели двери, и на крыльцо в валенках, с полушубком на плечах, без шапки вышел Егор Королев.

— Кого надо?

— Пора уж, Егор Иванович.

— А, Фадденч,— осклабился Егор и, шаркая валенками, подошел к Петру.— Здорово.

— Здорово, бригадир,— ответил Петр, не подавая руки.

Егор, почесывая под полушубком живот, зевнул.

— Чего так рано?

— С людьми говорил?

— Сейчас пойду.

— Ладно,— и Петр, круто повернувшись, пошел в правление.

К десяти часам собралось всего восемь человек, в том числе Сашок, Матвей, Ульяна, бригадир и агро-

ном — полная, румяная девушка с равнодушными голубыми глазами.

Петр отозвал ее с бригадиром в сторону и строго спросил:

— Где люди?

— Сказали — придут,— в один голос заявили они.

— Хорошо, будете сами работать,— предупредил их председатель.

Весь день поднимали лен. Работали без обеда до вечера. Ночью Петр мучительно думал: «Неужели и завтра так?» Тяжелые, порой безнадежные мысли не давали ему покоя: «Ведь для них же стараюсь. Разве они сами себе враги?»

На второй день народу собралось больше, а на третий — вышли почти все. Петр работал наравне с колхозниками. А через неделю присланные из района машины вывезли тресту.

За лен колхоз получил пять тонн пшеницы, а на текущий счет перечислили десять тысяч рублей. Счетовод составил ведомость на выдачу первого аванса. Но взять эти деньги из банка оказалось не так просто. Колхоз считался в районе миллионером по долгам, и со всех сторон набросились кредиторы.

— Счет арестован,— заявил Петру управляющий банком, когда он приехал за деньгами.

Петр растерянно посмотрел на чек.

— А как же быть-то теперь?

— Финансовая дисциплина. Пять тысяч мы уже списали за ссуду.

— Пять тысяч!— Петр зябко поежился. Перед глазами замелькали снег, кучи, тресты, обветренные лица, красные, скрюченные пальцы. Матвей, со сдвинутой на макушку шапкой и охапкой льна, грозит ему пальцем: «Смотри, Фаддеич, не подведи...» Худенькая фигура Ульяны. Ульяна сбросила варежки и быстро выбирает лен, то и дело поднося пальцы ко рту. Окутанная паром лошадь с бороной, за ней маленький, с виноватым обмороженным лицом Сашок... Татьяна, подхватив на лету сдернутый ветром платок, кричит: «Давай, бабы, давай! Председатель обещал пять рублей».

— Списали? Что же я им теперь скажу?

Управляющий протер очки и, помахивая ими, почувствовал:

— Да, тяжело. Да ты не один в таком положении.

— Выдайте хоть остатки. Поймите, что вы отрубаете мне руки.

— Не могу, дисциплина.

Однако деньги Петру удалось вырвать с помощью секретаря райкома. Так, вместо обещанных пяти, колхозники получили на трудодень по два рубля и по килограмму пшеницы.

Незаметно пролетел месяц. Беспокойство, заботы изменили Петра. Он похудел, лицо его осунулось, и отцовский полушубок болтался на нем, как на гвозде. Все шли к нему: доярки требовали сена, свинарки — отрубей, конюхи — упряжи. Все было нужно, и ничего не было. Бригадиров колхозники не слушались, и Петр видел, что их надо заменять. Но кем? «Людей, людей! Ах, если бы мне еще десяток настоящих. Закрутилось бы, завертелось».

Ночами Петр забывался в мечтах. Он видел свой кирпичный завод. Горы красного кирпича. Кирпичные скотные дворы, кирпичные дома с белыми наличниками, клуб. По южному склону бывших барских полей тянется колхозный сад. До реки рядами спускаются яблони, усыпанные полосатыми анисами, золотистой китайкой; словно чернилами облитые, устало опустив тяжелые ветви, стоят сливы. В пойме реки зреют помидоры, на глазах разбухают кочны капусты... Деньги, деньги текут на счет. Управляющий торопливо подписывает чеки, а счет пухнет и пухнет. Уже два миллиона. Из города в колхоз едут лукашане. «Мы к вам, Петр Фаддеич, примите». — «А где вы были, почему не приезжали восстанавливать?» — «Нас никто не звал».

— «Никто не звал», — Петр приподнялся, нащупал под подушкой папиросы. — «Никто не звал», — вслух повторил он.

«Если написать, а? Написать письма...» Порою ему становилось обидно и горько до слез. «Как все-таки несправедливо, — рассуждал он, — кричат: «В деревне теперь техника». А в городе — на заводе, фабрике — разве ее мало? А людей там сколько — тысячи, а у нас... Ах, если бы мне еще десятка два. Закрутилось бы, завертелось».

Петр разведал адреса уехавших лукашан и послал им письма. Весь месяц с нетерпением ждал ответов. Но их не было.

В марте начали готовиться к севу. Дела шли плохо.

Скот отощал. Кормили его одной соломой, да и то не вдоволь. Настроение людей падало. Начались прогулы, бригадиры жаловались на грубость и ругань колхозников. Нужно было что-то предпринимать. Петр продал колхозный лес. Продал тайком, на корню, ведомственному леспромхозу. Деньги получил, минуя банк, и выдал на трудодень по три рубля. Лукашане благословляли председателя, но были и недовольные.

— Не тот выход, Петр Фаддеич, не по-хозяйски. Лес нам нужен. Не умирать же мы собираемся,— упрекнул Матвей Кожин.

— Знаю, что делаю,— обрезал Петр.

— Ну, коль знаешь, так и делай,— обиделся Матвей и, не простившись, хлопнул дверью.

Петр был взбешен, хотя отлично видел, что Матвей прав, и это его еще больше злило.

Отношения с отцом оставались натянутыми. Не помирило их и председательство Петра. На председателей Фаддей смотрел так: вначале попрыгают, потом поважничают, а под конец проворуются или сопьются, как Абарин. Свое недовольство Фаддей проявлял косыми взглядами и упорным молчанием. Но продажа леса взорвала старика.

Перед тем как сесть ужинать, Фаддей долго и истово крестился, необыкновенно аккуратно резал хлеб, боясь уронить крошку. Петр, наблюдая, как отец старательно скоблит ногтем ложку, думал: «Что с ним сегодня?» Наконец Фаддей начал хлебать щи, сопя носом и шумно дую на ложку. Поев, Фаддей отодвинул миску в сторону.

— Лес продал?

— Ну продал,— нехотя ответил Петр.

— Су-кин ты сын! Старики сто лет пуще ребенка берегли лес, над каждым деревом тряслись. А ты, сопляк, как им распорядился?

— Да как ты не поймешь, папа!— воскликнул Петр.— Разве я от хорошего лес продал?

— Всем хорошо не сделаешь.

— Я хочу заинтересовать людей.

— «Заинтересовать»!— передразнил Фаддей.— Так разве надо интересоваться? Нынче лес продал, а завтра чем будешь интересоваться?.. Молчишь.

Петр не выдержал. Он схватил полотенце и уткнулся в него лицом... Фаддей убрал со стола и, крича, забрался на печку. А Петр все сидел, не отрываясь от

полотенца. Потом он поднялся, вымылся и стал снимать сапоги. Фаддей окликнул сына:

— Петька, подь сюда.

Петр подошел.

— Я вот что скажу: жениться тебе надо. Вот брал бы Ульяну Котову. Хорошая баба, обмоет и обходит.

Хотя Фаддей и не смотрел на сына, Петр, нахмурясь, отвернулся.

— Об этом мне не было времени думать.

— Тебе и умереть времени не будет.

О продаже леса узнали в районе. Эта сделка заинтересовала прокурора, и благодаря ему лес остался стоять на месте. Петру на бюро райкома записали выговор.

Случалось, что у Петра опускались руки. Подкатывало желание бросить все и бежать. В эти минуты находилась тысяча причин, оправдывающих такое решение. Может быть, он и оставил бы Лукаши, если бы не памятная встреча у колхозного сарая.

Как известно, осенние ночи в наших краях очень длинные, очень темные и очень грязные. В одну из таких ночей Петр пешком возвращался из райцентра. Он сильно промок, усталость качала его из стороны в сторону, а в голове, как комар, ныла и ныла мысль: «Брось все и уйди. Уходи, уходи... Что тебе, больше всех надо?»

Около Лукашей Петр свернул с дороги и пошел к дому напрямик, усадьбами. Внезапно он услышал, как с глухим стуком к стене сарая привалилась дверь. Трофимов завернул за угол и увидел старуху с вязанкой сена.

— Ты что здесь? — крикнул Петр.

— Не погуби, кормилец! — заголосила старуха и бросилась в ноги.

— Ты что, с ума сошла, бабка?!

— По нужде, кормилец, — причитала старуха, — по нужде...

Петру было неприятно и стыдно, словно это его уличили в преступлении. Он поднял старуху и, стараясь говорить как можно мягче, спросил:

— Чья же ты будешь?

— Бобылка я, Аксютка Синицына, — всхлипнула старуха и вытерла концом платка глаза. — Одна у меня и есть коровушка. А сенца накосить нет мочи. В колхозе-то я все время работала. А теперь силушки не стало.

— Что же, ты так и живешь?

— Так, так, кормилец.

— Воруешь?..— с горечью спросил Петр.

Аксютка вздохнула:

— Что же поделаешь?.. Бог смерти не дает,— и она опять завыла:— Помоги, кормилец! Положи мне содержание!

Этот вой больно ударил Петра.

Он крикнул:

— Не реви! Положу!

Он дал себе слово «положить ей содержание». Но, кроме Аксютки, были престарелые Иваны, Екимы, Афанасии, и все они нуждались в содержании...

Прошел год.

В середине февраля в Лукаши приехал Иван Копылов, по прозвищу Конь. В первый же день, под вечер, Конь пришел на дом к председателю и заявил:

— Давай, председатель, жилье и работу.

— Бери животноводство,— предложил ему Петр.

— Нате вам, боже, что нам негоже,— усмехнулся Конь.— А как с жильем?

— Будем тебе избу ставить, а пока расколачивай любой дом.

— А как хозяйева?..

— Ну, это моя печаль.

— И тоже ладно,— сказал Иван.— Можно идти, товарищ начальник?

— Действуй, товарищ Копылов,— в тон ему ответил Петр. И они крепко пожали друг другу руки.

Приезд Овсова в Лукаши совпал с посевной горячкой. Петр измотался, как говорят, и физически, и душевно, дни и ночи проводя в бригадах. Он, как хозяин, рассчитывал делать одно, а районные руководители тянули на другое. Петр стремился увеличить посевы льна, создать кормовую базу за счет яровых, клевера и вики. Райком настаивал на кукурузе. Петр доказывал, что опасно новую, неосвоенную культуру засеивать на больших площадях.

— Сорок гектаров, не меньше,— требовал уполномоченный.

Но не это больше всего смущало Петра. Безлюдье — вот что было страшно. Народу выходило на работу так мало, что нередко Петра брала оторопь... Появление в

Лукашах Копылова, а следом за ним Овсовых подняло дух председателя.

— Видимо, и моя слеза до неба дошла,— шутил он.

Глава пятая

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ

По скрипучим ступенькам Овсов взошел на крыльцо своего дома. Глухо стукнул замок, тяжело заскрипели ворота. Василий Ильич вошел в сени. Повсюду густо висела паутина, пахло сыростью, с шумом сорвалась летучая мышь и, поднимая пыль, ошалело заметалась, ударяясь о стены. Дверь в избу Овсов открыл с трудом.

— Давно я здесь не был,— прошептал Василий Ильич.

Он увидел посудный шкаф с одной дверцей, оклеенный внутри газетой. У стены сгорбилась громоздкая железная кровать. На стене висел зеленый от плесени полшубок, под ним стояли большие головастые валенки. Овсов подошел к комоду и выдернул ящик. Там хранились мячик с помятым боком и зачитанный до дыр «Конец-Горбунок». С волнением трогал Василий Ильич давно забытые предметы, и все отчетливее всплывали перед ним далекие годы детства. Над комодом висело зеркало в тусклой бронзовой рамке. Василий Ильич ладонью провел по стеклу. Под толстым слоем пыли обозначилась кривая трещина.

— Вот она...

Венецианское зеркало, привезенное отцом из Петербурга, было единственной роскошью в доме.

Илья Овсов двадцать лет проработал котельщиком на Балтийском заводе. Степанида, жена, жила в Лукашах, надрываясь тянула хозяйство и растила малолетнего сына Васю. Илья не помогал. Наоборот, изредка навещая семью, он увозил с собой в город продукты на полгода. Сын подрастал. Жена со слезами умоляла взять его в город и обучить какому-нибудь ремеслу. Илья наотрез отказался.

— Пусть помогает по хозяйству; терпите, скоро все вместе будем.

— Да когда же это будет? Сколько же терпеть?.. Все жилы понадрывали. Ты посмотри, на что я похожа стала,— жаловалась Степанида.

Илье не хотелось смотреть на жену. Высокая смуглая Степанида до того высохла, что походила на старую почерневшую доску.

Не легче жил и Илья. Он терпел еще больше. Тяжелый труд котельщика измотал даже его железный организм. Ютился он у старухи в углу. Зарабатывал по тем временам большие деньги — семьдесят-восемьдесят рублей в месяц, а тратил на себя в день по пять — десять копеек. Хлеб, селедка и говяжий студень — таков был его стол. Рубашки носил домотканые, сшитые Степанидой; подметки его сапог были сплошь утыканы гвоздями и громыхали, как чугунные. Илья имел выходной костюм, но надевал его редко, когда это было крайне необходимо. Необходимо же было посещать один немецкий банк, где он хранил свой капитал. Русским банкам Илья не доверял, а кроме того, немцы платили три процента, а свои — два.

Овсова считали богачом, а о жадности его рассказывали анекдоты. Но он не был жаден, и не жаждя богатства руководила им. Илья мечтал облагородить свой род и копил деньги, чтобы купить мельницу у помещика Михеева. Мельница находилась недалеко от Лукашей, на берегу речонки, окруженной со всех сторон высокими елями.

Ваське шел восьмой год, когда он с батюшкой ходил к барину покупать эту мельницу. Барин был плешивый, в очках. Большой, как подушка, живот мешал ему глядеть вниз и нагибаться. Барин тянул шею, тыкал тростью в Васькины ноги и спрашивал:

— Больно?

Ноги у Васьки были покрыты крупными цыпками.

— Не-а,— морщась, отвечал Васька.

— Не больно?! А теперь?— барин нажимал трость.

Ваське было ужасно больно, но отец смотрел так, как будто собирался пороть его, и Васька говорил:

— А мне и ничуть-то не больно.

Потом барин постучал по Васькиной макушке пальцем и спросил:

— Глуп?

— Глуп. Не знаю, в кого такой дурак уродился,— подтвердил Илья.

Купить мельницу не удалось, не хватило денег. Придя домой, Илья крепко выругался, а на следующий день уехал в город, как он выразился, «добывать последнюю тыщу».

Шел тысяча девятьсот четырнадцатый год. Илья был близок к цели. И вдруг Германия объявила войну; прямо с завода Илья бросился в банк и встретил только одного швейцара.

— Все уехали, а куда — не сказали. Надо полагать, в неметчину сбежали... Вот так-то, брат, — объявил швейцар. — Много народу прибегало, одну барыньку замертво увезли, — и, подозрительно оглядев костюм Ильи, спросил: — У тебя тоже деньги? Деньгам теперь, брат, крышка. Ай да немец, ловкач, сукин сын. — Покачав головой, швейцар громко высморкался и захлопнул дверь.

Илья вернулся в Лукаши. Привез он с собою злобу, кожаный бандаж — подтягивать килу — и зеркало, купленное за бесценок на толкучке.

С год Илья пил. На огороде все лето шипел самогонный аппарат. В вине Илья не знал меры и был дурным во хмелю. Пьяный, рвал ворот рубахи и, стуча в свою волосатую грудь кулаком, кричал:

— У меня в голове ума палата! А вы все — дураки. И царь — дурак. Безмозглый Николашка войну про...

Илье затыкали полотенцем рот, связывали вожжами и клали в холодные сени.

Отрезвление пришло неожиданно. Как-то мужики пили самогон в бане хромого сапожника Степана Корнилова. Пили до одурения и завели спор про запоры в амбарах. Илья кричал и ругался громче всех:

— Да разве у вас, дураков, замки? Где вам взять их? У меня замок из Петербурга — в жисть никому не открыть.

В компании находился первый в Лукашах скандалист и озорник, одноглазый Афанас Журкин. Афанас встал, покачался, как маятник, перед носом Овсова и, заикаясь, проговорил:

— С-с-порим на в-ведро само-гг-гонки...

— Поди прочь, дурак, — прогнал его Илья.

Афанас ушел, а через полчаса вернулся с мешком муки.

— Узнаешь?

Илья тупо уставился на мешок, ощупал его и сжал кулаки.

— Ты это как?!

Афанас захохотал и бросил Овсову связку ключей.

Придя домой, Илья долго смотрел на киот с Николаем Чудотворцем, потом зажег лампаду и встал перед иконой на колени. Всю ночь он молился, каялся, причитал, и жутко становилось Васьеке от батькиного воя. Утром, кончив молиться, Илья выпил ковш кваса, еще раз перекрестился и сказал:

— Шабаш, Степанида. Погневил бога, и хватит.

Он сдержал слово: хмельного не брал в рот до самой смерти, даже по престольным праздникам.

В революцию Илья получил две десятины земли и засеял их льном. Прошла гражданская война. Овсовы постепенно разживались. Илья занимался скупкой льна и кое-что нажил на этом. Появились две коровы, лошади, льномялка. «Неплохо и работничка иметь, и сеялку с молотилкой купить»,— частенько подумывал Овсов. Коллективизацию он встретил как божье наказание, хотя и вступил в колхоз первым.

Василий Ильич на всю жизнь запомнил общее собрание в Лукашах. Уполномоченный — молодой парень в черной гимнастерке, туго перехваченной новым широким ремнем,— до полуночи убеждал народ идти в колхоз. Лукашане выжидали.

В десятый раз поднялся уполномоченный:

— Сейчас, товарищи, во какие ворота в колхоз,— и он до отказа развел руки.— Но помните,— процедил он сквозь зубы и постучал рукояткой нагана,— будет время, тогда вот...— и, сведя ладони, уполномоченный показал лукашанам узкую щель.

Никто не шевельнулся. И вдруг поднялся Илья. Наступая людям на ноги, он пробрался к столу.

— Пиши.

— Илья, опомнись!— истошно закричала Степанида.

— Молчать, дура,— цыкнул на нее Илья.

— Пиши: Овсовы.

— Кулака не принимать!

Голос прозвучал резко и неожиданно. Василий заметил, как дернулась у отца голова и как вытянулись у мужиков шеи.

— Это Аксютки Писарихиной Никифор. Его в детстве из-за плетня пыльным мешком хватили, так он

с тех пор опомниться не может,— спокойно пояснил уполномоченному Илья. И все захохотали.

— Раскулачить его,— снова закричал Никифор.

Илья выждал, когда успокоятся, и, повернувшись к народу, сказал:

— Отдаю в колхоз двух лошадей, корову, два сарая, ригу с шатром и льномялку. А ты что дашь, Никифор? Портки драные?.. Ну и все.— Илья нахлобучил до ушей шапку и вышел на улицу.

Дома Илья за весь день не сказал ни слова. А когда Степанида осторожно спросила его:

— Что же теперь будет-то?

Илья вплотную придвинулся к жене:

— Так надо, Степанида. Всякая власть — сила. Не пойдешь добровольно — сломают, на Соловки упекут. Слыхала, что Писарихин кричал?.. Нам теперь с тобой не много надо... Ваську в город спровадим. С нас, стариков, много не спросят.

Так Овсовы стали колхозниками.

Из Лукашей мужики один за другим потекли в город.

— Ну, а ты как смотришь, Василий?— нередко спрашивал Илья сына.

— А что смотреть? Пока мне и здесь неплохо,— отвечал сын.

Василию было уже двадцать лет. В тот памятный вечер он брился, спешил на гулянку в соседнее село. Десятилинейная лампа стояла на комод, касаясь зеркала высоким стеклом. У окна сидел отец и читал вслух газету. Намыливая щеки, Василий махнул помазком, и в тот же миг раздался треск, громкий, как выстрел из пистолета. Старинное зеркало лопнуло. Отец медленно приблизился к сыну. Был он на голову ниже, но зато шире в плечах и коренастее. Заскоружные пальцы его сжались; неожиданно Илья подпрыгнул и вцепился сыну в волосы, тот охнул, упал и на коленях пополз за отцом. Илья пинком ноги распахнул дверь и вышвырнул сына за порог. Всю ночь провалялся Василий в сарае на сене. Прибегала мать, плакала; звала в избу. Наутро он заявил, что уезжает в город. Его не отговаривали и молча проводили. Пока Василий собирался, мать, не двигаясь, сидела на табуретке и беззвучно глотала слезы. Илья топтался у стола, вздыхал, разводя руками...

— Вот как получилось...— задумчиво прошептал Василий Ильич и царапнул ногтем трещину.

В сенях громко заскрипели половицы. Пришел Михаил с топором и клещами. Старый овсовский дом затрещал, заухал; визг отдираемых досок звучно отозвался в пустых углах нежилой избы.

В первые дни Василий Ильич наводил порядок. Смастерил вешалки для одежды, сколотил расшатавшийся стол, починил табуретки, укрепил дощатые перегородки. Неделя пролетела незаметно. А когда за обедом Василий Ильич заявил, что собирается перебраться на крыльцо, Марья Антоновна равнодушно сказала:

— К чему тебе торопиться? Погоди. Может быть, передушаем.

Василий Ильич вспыхнул:

— На носу себе заруби, Марья: здесь наше место.

На следующий день он с утра принялся поправлять крыльцо.

Глава шестая

ВЕСЕННИЕ ДНИ

В начале мая весна зимовала: летел снег, по ночам землю покалывали острые морозцы.

— Май — коню сена дай, а сам на печку полезай,— жаловались колхозники.

Ждали тепла. Тепло принес обложной дождь. Он смыл холод, размочил землю, и освобожденная весна понеслась стремительно, широко разбрасывая мягкие зеленые крылья. Серые обмякшие поля и луга на глазах покрылись множеством ярко-зеленых лужаек. Потемнела озимь. Грязь на дорогах от солнца сморщилась, а ручейки похудели и старались поскорей ускользнуть в холодок. Незаметно разбухла черемуха, тополь сбросил с веток лиловых тусениц и выпустил липкие пучки пахучих листков. Ольха — серая, искривлённая — надела новую махровую папаху. Неуверенно, боязливо щелкнул соловей.

В полях загудели тракторы. Отполированный лемех рядами клал бурые пласты, потом их кромсали острые диски культиваторов, а зубья борон, словно гребнем, прочесывали пашню.

Василий Ильич забирал огород высоким тыном. Колья и жерди рубил в роще за рекой и таскал на себе.

Сбросив с плеч громоздкую связку ольховых кольев, боясь разогнуть спину, Овсов присел отдохнуть.

— Так и горб нажить не мудрено, сосед!

Василий Ильич поднял голову и увидел Матвея Кожина. Матвей снял фуражку с захватанным козырьком и, погладив лысину, присел рядом.

— Запоздала нынче весна.

— Запоздала,— согласился Овсов.

— Плохи дела, Василий...

Василий Ильич вопросительно взглянул на соседа.

— Сев-то пора кончить, а мы все еще возимся. Хуже всех мы в районе...

Чувство затаенной неловкости при встречах с односельчанами с первого дня приезда не покидало Овсова. Ему ни с кем не хотелось встречаться и особенно неприятно было отвечать на вопросы: «Ну, как на новом месте? Что собираешься делать?.. Почему из города уехал?..» и т. д. Даже с Матвеем, соседом, ему было неудобно и совершенно не о чем говорить.

Василий Ильич поднялся, но Кожин удержал его за полу пиджака.

— Да сиди ты... Успеешь...

Василий Ильич нехотя сел, сорвал травинку, пожевал ее, сплюнул с языка горечь и сказал что-то неопределенное:

— Да, видишь, оно как, а...

— Ты о чем?— Матвей похлопал по коленке фуражкой и, приставив к глазам руку, посмотрел на дорогу.— Конь, что ль, это? Куда его несет?

По дороге, загребая ногами пыль, шел Иван Копылов. Глядя на него, Василий Ильич думал, как метко окрестили человека Конем. Ступал Копылов редко и грузно, на длинной худой шее его, как у лошади, моталась голова. Заметив Матвея с Овсовым, Конь свернул и, сильно сгорбившись, зашагал к ним. Поздоровался молча, крепко, как клещами, сжимая пальцы, затем сел на землю по-турецки и стал закуривать.

— О чем разговор-то?

— Да так... О недостатках наших,— усмехнулся Матвей.

— А-а... Ну и что?

— Матвей Савельич говорит, самый бедный колхоз наш в районе,— сказал Василий Ильич.

— Ничего, вылезем. От нас зависит...

— Трудновато будет,— перебил Матвей Коня.— За что ни возьмись — все плохо. Вот хоть бы скот...

— Со скотом, и верно, жидковато,— сказал Конь.— Пока не приведем в порядок сенокосы и выгоны, не поднимать животноводство. Негде скотину пасти. Гоняем изо дня в день по одному месту.

— И сена из года в год не выкашиваем. А раньше оно у нас не поедалось.— Матвей встал, надел фуражку.— Ты, Василий, зря так надрываешься. Лучше сходи в правление, попроси лошадь,— посоветовал он Овсову.

— Успею еще. Пока в охотку, ничего,— улыбнулся Василий Ильич.

— Ну смотри. Усадьбу-то пора пахать.

— Завтра начать думаю,— Василий Ильич замаялся,— только вот не знаю, как с семенами быть.

— Сходи к председателю. Даст. Должен дать.

— Думаю, у вас, Матвей Савельич, подзанять картофеля на посадку. Не откажешь?

— Так-так,— и Матвей усмехнулся,— в колхозе не хочешь.

— Да как-то неудобно. Не успел приехать, и сразу давай.

— Ну, как знаешь. Дам семян. А в правление ты сходи, Василий. Председатель вспоминал тебя,— предупредил, уходя, Матвей.

Конь стоял в стороне и, ухмыляясь, поглядывал на Овсова. А когда Кожин ушел, сказал глухим басом: — А я, как приехал, сразу председателю на горло: дом давай, корову тоже давай... И дал. Вот так-то, Ильич. Деликаты нам не пристало разводить.

— У тебя другое... У тебя семья, детишки.— И, как бы извиняясь, Овсов добавил:— Да что просить — колхоз-то небогат.

Овсов приподнял связку кольев.

— Погодь, Ильич,— остановил его Конь,— просьба к тебе. Печь у меня в водогрейке дымит, да и жар плохо держит. Зашел бы, посмотрел... Ты, говорят, понимаешь в этом деле.

— Чудаки!— И Овсов засмеялся, но, взглянув на хмурое лицо Коня, смутился.— Я на кирпичном заводе работал давно...

— Значит, не можешь?

Овсов еще больше смутился.

— Я не печник... Крал когда-то печки, но разучился.

— А-а! Разучился...

«Дурак»,— мысленно обругал себя Василий Ильич и рыком вскинул на спину связку кольев.

Он старался идти медленно, твердо ступать, но ноги не слушались. Они против воли подгибались, семенили. И Василий Ильич не мог понять, что сильнее давит на них и подгоняет: тяжелая связка кольев за спиной или печально-угрюмые глаза Коня.

Дотемна Овсов ставил ограду и, отказавшись от ужина, сразу лег спать.

— Надорвешься сдуру-то,— заметила Марья Антоновна.

— Надо, Марья, надо,— пробормотал муж, засыпая.

На его хлопоты Марья Антоновна смотрела равнодушно:

— Потешится-потешится и бросит.

После того как Матвей, усмехаясь, сказал: «Землянику, Марья, у нас ребяташки в лесу собирают, а в огороде ее разводить — одно баловство»,— Овсова решила, что делать в Лукашах ей нечего. Теперь она считала себя только дачницей. День за днем она сидела под окном или на крыльце и все больше спала.

Василий Ильич уставал. Но в этой усталости было что-то новое, отличное от прежней жизни... Он словно помолодел.

Однако Василия Ильича все еще не покидало и чувство затаенного страха. Он не решался порвать с городом раз и навсегда.

«Пусть будет само собой, постепенно,— рассуждал Василий Ильич, медля со вступлением в колхоз.— Успею еще подать заявление, это никогда не поздно».

Василий Ильич задумал обзавестись хозяйством, но сделать это без чьей-либо помощи, своими силами, чтобы не быть никому обязанным.

Лошадь — вспахать огород — он решил взять у цыгана Мартына... Мартын жил «на зимних квартирах» — в бесхозной избе в два окна. Стояла изба на отшибе, на глинистом бугре, и продувалась насквозь ветрами. Нижние венцы у нее подгнили, и если бы стены не поддерживались со всех сторон подпорками, изба давно бы рассыпалась.

Мартын готовился в поход. Из рябиновых хлыстов цыган гнул обручи и ставил их на телегу. Около дома цыганка готовила обед. Столом ей служила входная дверь, которая не закрывалась, а ставилась на ночь. Два цыганенка, оборванные, нечесанные, чумазые, играли в чехарду. Они первыми заметили Василия Ильича и, подтянув штаны, подбежали к Овсову.

— Дядь, дай денежку, на животе спляшем!— загалдели цыганята и, не получив согласия, заголосили:

Сковорода, сковорода, сковорода горячая,
Полюбила лейтенанта — дело подходящее!

Потом шлепнулись на землю и, изобразив таким образом танец на животе, вскочили и протянули свои грязные ладошки.

Василий Ильич сунул им двугривенный.

Подошел Мартын — низкорослый цыган с маленькой лохматой головой. Трудно было рассмотреть его лицо, так густо оно обросло. Черные жесткие волосы лезли из шеи, ушей, ноздрей и даже из глаз.

— Я к тебе, Мартын, по делу,— проговорил Овсов, пожимая костлявую руку цыгана, которую тот насильно сунул Василию Ильичу.

Мартын пристально с ног до головы осмотрел Овсова и сказал:

— Коня не дам: кормить коня надо. Скоро в дорогу айда.

— Ну, раз не дашь, то о чем говорить,— обиделся Овсов и повернулся идти. Мартын схватил его за рукав:

— Стой! Я раздумал. Дам коня. На один день дам.

— Мне больше не надо.

— Эх, голова! Так бы и говорил, на один день.

А то — «дай коня».

— Сколько за него?— прямо спросил Овсов.

— Не жалко. Любую половину возьму.

— Какую половину?— удивился Василий Ильич.

— Пятьдесят рублей.

— Да ты спятил, Мартын. С других двадцать пять, а с меня пятьдесят.

— Так я ж тебе дам другого коня; у меня их два, пойдем покажу.— И Мартын потащил Овсова в кусты, росшие за домом. Там паслись две лошади: гладкая кобыла рыжей масти и гнедой мерин, до того тощий, что,

казалось, стоит ему надуться, и ребра прорвут кожу. Мерин поднял голову и попытался заржать, но горло его издало только хриплое бульканье.

— Выбирай,— и цыган громко чмокнул.— Вот этот конь — половина,— показал он на кобылицу,— а этот — двадцать пять.

— И этот твой?— усмехнулся Василий Ильич, разглядывая мерина.

— Мой! Подарили. Сказали — бери, Мартын, коня, только шкуру принеси, как подохнет. А зачем подыхать такому коню? Ты посмотри на глаза,— Мартын повернул мерину голову и показал мутные, печальные лошадиные глаза.— А зубы, зубы смотри,— хвастался цыган.— Глянь, глянь на копыта. Таких копыт не найдешь,— и Мартын показал копыта.

Пахать на цыганской лошади Василию Ильичу уже не хотелось.

— Ну, какую тебе? — спросил Мартын.

Овсов решил отказаться.

— Вот какой ты непонятливый!— взмахнул руками цыган.— Ну, бери кобылицу.

— Ладно, давай, — согласился Овсов, тяжело вздыхая.

— Эй, оброты!— закричал Мартын.

Прибежал цыганенок с уздой. Мартын поймал кобылицу и подвел ее к Овсову:

— Гроби.

Василий Ильич подал ему деньги. Цыган помял бумажку.

— Добавь.

Овсов пожал плечами: нет, дескать. Мартын прищурился, показывая на левый карман пиджака. Василий Ильич плюнул, и в сердцах сунул цыгану пятерку.

В тот же день Василий Ильич вспахал и заборонил полоску, а на следующий — посадил картофель. Теперь Овсов все время проводил на огороде.

— Ты подумай, Маша,— убеждал он жену,— все будет свое: огурцы, капуста, лук, морковь, на будущий год землянику разведем.

— Да не чуди ты,— отмахивалась Марья Антоновна.— Неужели ты думаешь, я здесь до осени буду сидеть и дожидаться твоей капусты?

— А куда же ты денешься?

— Уеду в город.

— Кому ты там нужна? Дочке? Она еще, наверное, не может от радости опомниться, что тебя нет. Будешь, голубушка, здесь жить и в колхозе работать.

— А может быть, я свинаркой знаменитой стану?— ехидно спрашивала Марья Антоновна.

— Со временем, может быть.

— Ох, не смеши, отстань.

Василий Ильич надеялся, что со временем жена привыкнет. Он шел в огород один. Полочил гряды, поливал их, пикировал рассаду, то есть занимался тем делом, каким обычно пренебрегают в деревне мужчины. Иногда и Марья Антоновна появлялась в огороде.

— Физкультурой, что ли, позаниматься?— говорила она, поглаживая бедра, и принималась мизинцем выдавливать ямки на грядках.

— Так, что ль, огурцы сажают?

Покопавшись, Марья Антоновна отряхивала руки и уходила со словами:

— Только перепачкалась с твоими огурцами.

Наблюдая за женой, Василий Ильич недоумевал. Там, в городе, она все лето не вылезала из огорода. А здесь словно ее сглазили.

Пока Овсова не трогали, словно о нем забыли. Но это только казалось ему. В Лукашах про Овсовых ходили самые разноречивые толки. Этого Василий Ильич не знал. Сам он нигде не появлялся, да и его, кроме Матвея, никто не посещал. Сходить в правление колхоза он до сего времени не решился и со дня на день откладывал свидание с председателем.

Как-то в обеденный час Василий Ильич с женой пили чай. За окном послышался громкий разговор. Василий Ильич открыл окно и выглянул на улицу. Там стояли Матвей Кожин и председатель колхоза в синей выгоревшей майке и сандалиях на босу ногу. Правой рукой Петр держал велосипед, а левой, что-то доказывая, стучал в грудь Матвея. Увидев Василия Ильича, он улыбнулся и торопливо проговорил:

— А вот и он сам. А ну, Василий Ильич, помоги разрешить нам спор.

РЯДОВОЙ КОЛХОЗНИК

Председатель ждал, что Овсов придет в правление с заявлением о вступлении в колхоз. Но тот не приходил. А самому навесить Василия Ильича не было времени. Когда пошел слух, что Овсов вспахал огород на цыганской лошади, а картофель на посадку взял у Кожина, председатель обиделся.

— Как ни бедны мы, а здесь-то могли помочь. Что ж это он?..

— Известно — овсовская натура. И батька, Илья, такой же был. Сам просить не будет и в долг, хоть умри не даст, — говорили колхозники.

Дела в Лукашах, по сравнению с прошлым годом, шли лучше. Да и колхозники глядели веселей. Трудодень окреп, заставил себя уважать. Но Петр не испытывал особой радости. Он видел, что это не его заслуга... Заслуга целиком принадлежала государству, которое снизило налоги и втрое повысило заготовительные цены на лен. А он сделал мало, до смешного мало. Самое большое, чего смог добиться председатель, — это заставить народ поверить в его, председателя, честность. Петр понимал, что на одной честности далеко не уедешь. Пока только лен приносил доход, все остальное — убытки. Петр занялся животноводством. Но что бы он ни предпринимал, ничего не получалось. Скотные дворы развалились. Надо было ставить новые, типовые — на кирпичных столбах. Но как строиться? Во всем районе кирпича днем с огнем не найдешь. Его завозили на станцию поездом и отпускали ограниченно-строго по нарядам.

— Какое головотяпство! — возмущался Петр. — Глину за тридевять земель возить. Вот бы свой заводик иметь да торговать кирпичом. Все колхозы района брали бы его у меня... Это же деньги!

Так возникла мечта о своем кирпичном заводе. Она жгла председателя, ни днем, ни ночью не давала покоя. Еще в годы кооперативного товарищества в Лукашах был построен маленький кирпичный завод. Теперь от него остались развалившийся сушильный навес и печь, которую лукашане потихоньку растаскивали. Петр решил потолковать о заводе с активом. Этот актив никем

не выбирался и создался сам собою, незаметно. Просто-напросто с наступлением длинных зимних вечеров на огонек приходили в правление колхоза люди — посидеть, почитать газету, поговорить о политике. Завсегдатаями были Кожин, Сашок и еще трое молчаливых колхозников. Нередко засиживались до глубокой ночи и так курили, что дверь все время надо было держать открытой.

Душой и организатором этих вечеров был Петр, хотя он этого не замечал и чаще всего оставался только слушателем. Обычно он сидел, наваясь грудью на стол, и, не мигая, смотрел куда-нибудь в угол или на окна. Зато, когда оживлялся, говорил долго и мечтательно. Простоватое лицо председателя — бледное и малокровное, ничем не привлекательное — в эти минуты слегка розовело, а обычно спокойные глаза лихорадочно сияли. Он мечтал. Мечтал вслух до тех пор, пока чей-нибудь голос, тоже задумчивый, не перебивал:

— Мало людей...

И Петр замолкал, а в глаза опять заползала серая тоска.

В тот вечер беседа затянулась. Мужики несколько раз поднимались, потом опять садились, прокурили до петухов, но так и не договорились. Все дружно согласились, что завод — хорошее дело, но как только Петр ставил, как говорят, вопрос ребром, актив замолкал и усиленно курил. А Кожин высказался прямо и резко:

— Затею с заводом не одобряю. Слишком у нас кишка тонка.

Но Петр не сдался и весной стал действовать на свой риск и страх. После сева наступила передышка. Он решил ею воспользоваться: создать бригаду и начать ремонт завода. Бригадиром думал поставить Овсова.

— Самое подходящее место ему... — рассуждал Петр. Вместе с Матвеем они пошли к Овсову на переговоры...

— Спор интересный, — подмигнул Овсову Петр, — хочу выиграть пари. Спорим, Матвей Савельич.

— Кто спорит, тот гроша не стоит, — веско заметил Матвей. — Не под силу нам завод... Маловато людишек у нас.

— Ничего, хватит.

— «Хватит»! Каков хват, — покачал головой Кожин и плюнул на рыжий носок своего кирзового сапога.

— Все равно надо попробовать. А ты как думаешь, Василий Ильич, можно восстановить завод?

— Какой завод?— недоумевая, переспросил Овсов.

— Да кирпичный, тот, что на Лому,— и, не получив ответа, Петр решительно заявил:— Вот что, пойдёмте посмотрим, пошевелим мозгами на месте.

Прогулка на завод, который находился в двух километрах от Лукашей, была не ко времени: Василий Ильич собирался сразу же после обеда заняться починкой крыши над хлевом. Отказаться он тоже не решался и, промолчав, переминаясь с ноги на ногу, поглядывал на Кожина.

— Ладно, пойдём посмотрим,— согласился Матвей.— Идем, Василий, чего там.

Идя Зарекой, мимо нового, с затекшими смолой бревнами дома Сашка, они увидели торчащую из окна розовую лысину хозяина.

— Эй, куда?— окликнул их Сашок.

— На Лом, завод смотреть. Давай с нами, Масленкин,— пригласил его Петр.

Они вышли за деревню, спустились в низину и зашагали напрямик по густой траве заливного луга. Перепрыгивая с камня на камень, перебрались на противоположный, обрывистый берег реки. Раздвигая частый ольшаник, они вышли к скотному двору. Это был длинный, с темными горбатыми стенами сарай. Петр остановился и ткнул в сторону сарая пальцем.

— Новый строить надо. А где взять кирпич на столбы? Без кирпича нам нельзя, Матвей Савельич.

— Разве я против завода,— обиделся Кожин,— я говорю: не под силу нам.

— Попытка не убыток, Савельич,— поддержал председателя Сашок и, приложив к козырьку руку, проговорил:— Глянь, на водогрейке Конь сидит.

Водогрейка — бревенчатый домишко, до трубы которого можно было дотянуться рукой,— стояла, приткнувшись к березе. Поперек крыши лежал человек, держась за конек; ноги у него болтались над землей.

— Эй, чего ты там?— окликнул Сашок.

Конь оглянулся и, спрыгнув с крыши, догнал мужиков.

— Куда?

— На Лом, завод смотреть. Фаддеич хочет пустить его,— сообщил Сашок.

— Чем ты там на крыше занимался?— спросил Петр.

Конь вынул из кармана кисет и, держа в зубах клок газеты, ухмыльнулся:

— Солнце вручную подтягивал.

— Я о деле,— обрезал Петр.

— Можно и о деле,— сквозь зубы процедил Конь.— Колхозные плотники на стороне шабашат. Вот и приходится самому крышу штопать.— Конь чиркнул спичкой и, хватив зеленого самосаду, чуть не задохнулся. Откашлявшись и смахнув с глаз слезы, он уже спокойно добавил: — С заводом ты правильно, председатель, решил.

Петр покосился на Кожина:

— А Матвей Савельич не верит в мою затею.

— Он может не верить. Савельич сотенки четыре кирпичиков припрятал и молчит.

— А ты уже высмотрел,— прошипел Матвей.

— Я под чужие подолы не заглядываю, потому как в годах, да и времени нет. А на днях собрался в печке под поправить, так ноги обил, пока нашел с десяток половинок; несу я их, а навстречу твой внук, и хвастается: «У нас в сарае во какая куча кирпичей!» Вот так-то, Савельич,— протянул Конь.

Серая, покрытая теплой, как зола, пылью, дорога вела вдоль Холхольни. По берегам ее стеной засел бредняк с ольшаником. А на той стороне тянулся яркий желто-лиловый луг с темными кучами ив. Он цвел всюю. Справа лежали поля. На светло-зеленую покатую плоскость падали длинные тени стоящих у дороги берез.

Петр, взъерошив волосы, улыбаясь, долго смотрел на жидкую, низкорослую пшеницу.

— Неважная пшеничка,— заметил Сашок.— Сам-друг вряд ли соберешь.

— А знаете, я о чем мыслю?— проговорил Петр.— Сад здесь разбить. Склон к югу, с востока и севера лес... Обязательно заведем сад. Вот так, рядами, пойдут яблони, хороших посадим яблонь. С боков вишни... Низ засадим крыжовником, черной смородиной.

От удовольствия Сашок громко чмокнул.

Петр засмеялся и хлопнул его по плечу.

— А тебя, Масленкин, садоводом назначим.

— Эх, фруктов, Фаддеич, у нас будет... Завалю!

Всем стало весело, даже Конь ухмыльнулся, толкнул локтем председателя:

— А меня сторожем, Фаддеич,— и громко захохотал.

Матвей стянул с головы фуражку и, поколотив ее о коленку, сказал:

— Народишку бы нам побольше... Тогда бы сад здесь был... Да...

Над лесом гудел самолет, разрисовывая небо белыми кругами.

— Смотри, какие кренделя выкручивает. Зачем это он?— спросил Сашок.

— Воевать учиться,— коротко пояснил Конь.

Матвей тяжело вздохнул:

— Будет война или нет — черт ее знает. А то ведь прилетит, ахнет бомбу...

Василия Ильича давно подмывало высказаться.

— Я думаю, во всем виновата техника и учение,— начал он, но в чем виноваты техника и учение, так и не смог объяснить.

Петр взглянул на Овсова, усмехнулся и, достав портсигар, стал закуривать. Молчание прервал Сашок.

— В прошлом году у нас лекцию делал лейтенантик из военкомата. Он говорил, что атомную бомбу бояться нечего. На каждую бомбу и своя в ответ найдется.

— Да какая может быть война, если ее никто на белом свете не хочет,— искренне возмущился Матвей.

— Кое-кто хочет,— задумчиво заключил Петр.

Войдя в лес, они свернули на тропинку и, продравшись сквозь цепкий ельник, вышли на место. От завода осталась печь для обжига кирпича, стропила от сушильного шатра и несколько ям с зеленоватой водой. В одной из ям торчал вверх лопастями глиномяльный вал. Больше всего Петра беспокоила печь. Задняя стена у нее была наполовину разобрана.

— Твоя работа, Савельич,— ухмыльнулся Конь.

Матвей Кожин взглянул на Масленкина:

— Да чего греха таить... Сашок. Бывали мы здесь.

Осмотрев печь и посоветовавшись, решили восстановить завод. Петр при поддержке Коня и Сашка велел Кожину вернуть кирпич на заделку стены.

— Первое время глину помнем ногами, лошадьми. Нам надо начать. Сделать хотя бы тысяч пять на столбы,— рассуждал Конь.— Вот кто бы формы взялся изготовить? Как ты на это смотришь, Матвей Савельич?

Кожин согнулся и, ковыряя каблуком обломок кирпича, зло, из-под нависших бровей, взглянул на Коня.

— Сделаю и формы. Матвей все может: и кирпич дать, и формы сделать.

— Завод будем налаживать. А вот кому поручить это дело?— Петр посмотрел на Овсова.— Как ты думаешь, Василий Ильич?

Овсов недовольно передернул плечами.

— А что я?

— Дадим тебе людей, и, засучив рукава, с богом. Василий Ильич промолчал.

— Я тоже так считаю. Лучше Овсова нам сюда не подобрать. С кирпичным делом знаком. Работал когда-то. Ему и карты в руки,— подтвердил Конь.

Домой мужики шли молча. Петр мысленно подбирал людей в бригаду Овсова. Конь про себя ругал доярок, сквасивших молоко. Матвей раздумывал, как бы ему за кирпич выпросить у председателя лесу на потолок в баню. Но больше всех был озабочен Овсов. Он шел, часто спотыкаясь, и Сашку приходилось то и дело поддерживать его, чтобы он не свалился в канаву. Предложение Трофимова не только мешало замыслам, но вообще было противно его натуре. И дорогой, и там, на Лому, Василий Ильич мыслями был в огороде, среди огуречных гряд.

Марья Антоновна уже давно спала, а он все обдумывал и подбирал причину отказа, сидел, сгорбясь над листком бумаги, обмакивал перо в чернильный шкалик, но перо сохло, повиснув над строчкой. Лампа чадила, и приходилось все подкручивать и подкручивать фитиль. Сильно пахло керосином и жженой тряпкой. Проснувшись, Марья Антоновна долго протирала кулаком глаза, а потом сишло проговорила:

— Не видишь, что керосина в лампе нет? Господи, за что я терплю муки?— и закуталась с головой в одеяло.

— А, что будет, то будет,— решил Василий Ильич и прямыми, как частокол, буквами написал:

«В правление колхоза «Вперед». Прошу принять меня в колхоз в качестве рядового колхозника».

Под словом «рядового» он провел жирную лиловую черту.

Рано утром Василий Ильич явился в правление колхоза. Кроме председателя и счетовода Сергея, там были

- Арсений Журка с приятелем. Арсений, отставя в сторону ногу и мусоля папироску, щурясь, смотрел на председателя. Василий Ильич незаметно присел на кончик скамьи.

— Так,— мрачно глядя на Журку, произнес Петр,— какую же вам справку?

Журка вытянул губы:

— Обыкновенную. Мы ее можем сами сочинить, а вам только подмахнуть и печатью хлопнуть. Вон Генька мастер писать: десятилетку кончил. Давай, Генька!

Рыжий, залапанный веснушками Генька покосился на председателя, потом, изгибаясь, словно резиновый, подошел к счетоводу.

— Пошел прочь,— оттолкнул его Сергей.

— Дай ему бумаги, пусть пишет,— разрешил Петр. Генька быстро накатал справку.

— Вот, Петр Фаддеич. Справка законная. Абара их не глядя подписывал.

— «Справка дана А. Журке и Г. Шмырову в том, что они действительно являются членами колхоза «Вперед» и что правление колхоза не возражает им работать на стороне»,— прочитал вслух Петр.— Куда же собираетесь?

Журка подмигнул:

— К соседям, в «Зарю», свинарник рубить.

— Хорошо ли подрядились?

— Да ничего. Тысчонка верная.

— Неплохо.— И Петр, смяв справку, бросил ее под стол.— Вот так, друзья. Плотники и нам нужны. Кирпичный завод пойдемте строить.

Журка пощелкал пальцами.

— А тити-мити? Сразу или в конце года?

— За трудовни.

— За трудовни?— удивился Журка.— Слышишь, Генька? За трудовни, говорит председатель.— И они захохотали.

Петр отвернулся к шкафу и стал перебирать папки. Журка, видя, что председатель не обращает на них внимания, вынул изо рта папироску, придавил ее к подоконнику и, сморщась, жалобно протянул:

— Петр Фаддеич, дайте справку.

— А кто у меня работать будет?

— Вы тоже наймите плотников.

— Вот как! Где? Может быть подскажешь?

— Да у них, в «Заре».

Петр даже присел.

— Это как же так? Наши плотники у них будут работать, а ихние — у нас?

— Все время так делается. Как будто вы не знаете? — усмехнулся Генька. — Вы думаете, за трудодни будут работать? Пожалуй, дожدهшься.

— Будут, — резко оборвал его Петр, — и вы будете. Журка с Генькой переглянулись.

— А не пойдете — под суд отдам...

Глаза у Журки сузились.

— Ты не пугай! Знаем законы.

— Я не пугаю, а предупреждаю, — и Петр постучал карандашом. — Если вы сегодня же не отдадите старику Екиму деньги...

Журка дернулся и угрожающе шагнул к столу.

— Деньги, которые ты у него украл, — спокойно договорил Петр.

— Неправда!

— Есть свидетели. Вот заявление, — и Петр показал измятый тетрадный листок.

Журка медленно повернулся и, шаркая, пошел к двери. За ним боком, часто оглядываясь, выскользнул Генька.

— Боятся все и молчат, — сказал счетовод.

— Я не буду молчать. Вот посмотрю, что дальше с ними будет, — говорил Петр, нервно открывая ящики стола.

Счетовод собрал бумаги, закрыл на замок железный сундук и выразительно посмотрел на председателя.

— Иди завтракай, — устало кивнул ему Петр и, опустившись на стул, закрыл руками лицо.

Василий Ильич подвинул к столу табуретку.

— Хоть караул кричи, Василий Ильич, — пожаловался Петр.

— Трудно, — согласился Овсов.

— Другой раз так подкатит — на свет глядеть тошно. А потом ничего, отойдет. Промелькнет что-нибудь хорошее, и опять жить хочется. Вчера на Лому как увидел, что печь-то легко исправить, захотелось «ура» кричать. А сегодня стал с людьми беседовать — не хотят завод восстанавливать... Говорят: мы лучше траву пойдем косить.

— Да, да, понимаю, — стараясь не глядеть на председателя, буркнул Василий Ильич.

— Ты не можешь себе представить, Василий Ильич, как обрадовал меня твой приезд. Я ведь письма писал, многих звал. Сколько домов стоит заколоченных! А ты сам приехал...

Василий Ильич заметил, как заблестели глаза председателя, словно их омыли, и, не в силах выдержать взгляда этих глаз, опустил голову.

— Конечно, люди в колхозе нужны.

— Да я не требую сотни,— с укором подхватил Петр,— дайте двадцать — тридцать человек — и все пойдет. Мне нужен актив. Опереться мне не на кого. У нас ведь и партийной организации нет. Спасибо Копылову с Сашком — поддерживают они. Вот твой сосед Матвей Кожин, умный, хозяйственный мужик, тоже мечтает о хорошем колхозе; мечтать-то мечтает, а больше думает о своей усадьбе...

Чем больше говорил председатель, тем страшнее становилось Овсову, он боялся поднять голову и прямо взглянуть ему в лицо.

— Поддержи ты мои надежды, Василий Ильич.

Овсов торопливо вынул заявление.

— Пока один.

— Воюет Антоновна? — засмеялся Петр. — Ладно, нам не к спеху. Пусть привыкнет.

Василий Ильич хотел сказать, что с женой гиблое дело, но сказал что-то невнятное:

— Да кто ее знает. Оно, конечно, так.

Петр, не читая, сунул заявление в папку и положил на стол портсигар. Василий Ильич, наблюдая, как председатель выбирает папироску, ждал другого разговора. Он не сомневался, что его не миновать. Петр, чиркая спичкой, казалось, совсем безразлично спросил:

— С заводом-то как, решил?

— Я, Петр Фаддеич,— начал Овсов,— много думал вчера, да и раньше...— Василий Ильич замолк, поскреб стол ногтем.

— Ну и что же? — Петр, навалившись на стол грудью, пристально посмотрел на Овсова.

— Не могу, нет моего согласия,— Василий Ильич сразу почувствовал, как тяжело было это сказать и как легко стало, когда он уже сказал, только на какой-то миг стыд уколол уши. Но он, осмелев, договорил:

— Я не затем сюда ехал, то есть я ехал в колхоз,

а не на производство, то есть хотел работать в поле... Вы, Петр Фаддеич, должны понять меня.

— Не понимаю, Василий Ильич, не понимаю,— искренне признался председатель.

— Я хочу быть рядовым колхозником.

— Ну хорошо, завод не хочешь; а если мы тебя в кузницу пошлем?

— Нет-нет,— запротестовал Овсов,— только рядовым.

— Да каким же рядовым ты хочешь быть?— воскликнул Петр и, вскочив, подошел к Овсову.— Василий Ильич, ну что такое рядовой колхозник, что он делает?

— Да мало ли в колхозе разных работ: косить, хлеб убирать, сено вязать, риги топить...— начал перечислять Овсов.

— Эх, Василий Ильич, Василий Ильич,— остановил его Петр,— «риги топить»! Да у нас ни одной риги не осталось. А колхозники уже и снопы вязать разучились. Все делают машины: сеют и убирают...

— Вот из-за этих машин колхозники и сидят на граммах.

— А если бы машин не было — тогда что?

Овсов не ответил.

— Тогда бы, Василий Ильич,— продолжал Петр,— мы и граммов не получали. Только зерновых у нас двести гектаров. Не уберет комбайн — все сгниет на корню.

Василий Ильич, не слушая, смотрел в окно. По раме металась пчела... Форточка была открыта, но пчела, добираясь до нее, поворачивала обратно, жужжала, билась о стекло. Василий Ильич подошел к окну, чтобы выпустить пчелу.

— Гвоздями рама забита,— пояснил Петр, когда Овсов попытался открыть окно.

— Надо бы починить,— заметил Василий Ильич и почувствовал, что сказал это совершенно зря.

Он стоял у окна и с тоской думал, что сейчас председатель опять станет убеждать его.

«А ведь я могу сторожем быть или коней пасти. Ночь пропас и весь день дома». Василий Ильич вспомнил, как жаловался старик Кожин, что кони шляют-ся без надзора. Должность конного пастуха представлялась ему настолько желанной, что он первым заговорил.

— Кошох тоже нужен,— согласился Петр,— только не этого я от тебя хотел, Василий Ильич.

Идя домой, Овсов размышлял: «Нелегко председателю, ох как нелегко! А человек он хороший. Разрешил еще недельку отдохнуть, привести хозяйство в порядок. Корову обещал». Он вспомнил, как Трофимов, схватив его за руку, воскликнул: «Ты знаешь, Овсов, как я хочу наладить дело! Становись на мое место, председателем, я тебе изо всех сил помогать буду».

Василий Ильич добродушно рассмеялся:

— Председателем... Эх, чудака Пека...

Глава восьмая

О ВОСПИТАНИИ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

До сенокоса Петр с грехом пополам сколотил ремонтную бригаду во главе с Копыловым. В нее вошли: Абарин, Афанасий Воронин, а потом Журка. Абарин после разжалования заткнул топор за пояс и отправился, как здесь говорят, волчить. С год он болтался, сшибая случайные подряды, а потом неожиданно угодил под суд, по словам самого Лёхи — «за чепуху»: в одном селе снял с забора сушившиеся брюки без разрешения хозяина. Лёху приговорили к исправительно-трудовым работам.

Афанасий Воронин вошел в бригаду, потому что так велел председатель. С малолетства он был приучен слушаться старших. Журка же после одного случая неожиданно притих.

Случилось это так.

С уходом Коня на строительство завода, Петр долго не мог найти ему замену. С кем бы он ни говорил, ответ был один и тот же: «Хлопотно, не смогу... Надо забросить свое хозяйство...»

Как-то Петр встретился с Ульяной Котовой и, не думав, предложил ей заведовать скотным двором. Ульяна покраснела и, теребя на груди кофточку, прошептала:

— Я не против, как прикажете...— а потом, блеснув глазами, погрозила пальцем:— Только, чур, помогать, председатель.

Петр сгоряча согласился, а позже горько каялся...

Ульяна взялась за дело даже слишком рьяно. Она по пятам ходила за председателем, использовала любой предлог, чтобы поговорить с глазу на глаз. Утром она встречала Петра на дороге в поле; часами просиживала в правлении, дожидаясь, когда он останется один; вечером осаждала на дому. Она завела блокнотик с карандашом и чиркала в нем что-то, когда председатель давал указания. Но больше она смотрела на Петра туманными, влажными глазами, а слова, казалось, ловила ртом, и так жадно, что блокнот с карандашом то и дело падал на пол. Но как бы Ульяна ни старалась, ей не везло. Месячный запас отрубей был скормлен за неделю, два раза Еким привозил назад с маслозавода сквашенное молоко, а племенной жеребец, стоявший в конюшне на привязи, за одну ночь съел новые осиновыя ясли. Все-таки настойчивости Ульяны даже Петр завидовал. Она замотала председателя с кормокухней, и он сам был вынужден искать печников, чтобы переложить там плиту. Взались за это дело Журка и его дружок Генька Шмыров.

— Будет плита,— заверил Арсений.— Только деньги на бочку и никаких трудодней.

Надо отдать должное Журке: парень он был, как говорят, от скуки на все руки. За любое дело брался, не оглядываясь, и все у него выходило, в общем, гладко. Но тут он сорвался...

Через два дня Петр мимоходом завернул к кормокухне. Работа там шла ходко. Оставалось только поправить трубу. Журка стоял на крыше и принимал от Геньки ведро с глиной.

— Как дела, орлы?— крикнул Петр.

— Порядок, председатель, скоро кончим.

— Молодцы!

— Если мы не молодцы, тогда и свинья не красавица,— добавил Арсений и спрыгнул на землю.

— Ну что ж... показывай.

— Будьте любезны.— Журка ногой распахнул дверь в кормокухню.

Петр, согнувшись, шагнул через порог. В нос ударил запах кислого картофеля и тухлых бочек. Занимая половину кормокухни, стояла добротная плита. Она была гладко вымазана глиной и разрисована квадратами со звездами. Стояк от плиты до потолка тоже был заляпан звездами.

— Это совершенно ни к чему,— заметил Петр.

— Генька постарался. Он у нас десятилетку кончил.

Генька, очевидно, смутился: что-то пробормотал непонятное и плюнул в кадку с водой.

Петр осмотрел посадку котлов, заглянул в топку, потрогал там колосник, проверил дымоход, дверцы, вьюшки и остался доволен.

— Работа первый сорт,— похвастался Журка.

Петр мельком взглянул на потолок и удивился: темный от копоти потолок из тонких, кое-как поскобленных топором бревен прогнулся и горбом повис над плитой. Два бревна, выскочив из паза, уперлись в стену. Петр топнул — бревна закачались, из щелей посыпался мусор.

— Рухнет, а? Людей задавит, а?

Журка отвернулся и равнодушно пожал плечами. Петр выскочил в сенную пристройку, подставил к стене бочку, поднялся наверх... И все понял: громоздкий дымоход, боров, был сложен прямо на потолке и тяжестью своей продавил его.

— Журка?!

Тот, заложив руки в карманы парусиновых штанов, стоял в дверях.

— Ты почему так, а?.. Почему без стеллажа?

— О стеллаже у нас разговора не было.

— А-а-а... Разговора не было?— Петр так сжал челюсти, что они онемели, и вдруг крикнул неприятным, тонким голосом:— Идем со мной!

Арсений опять пожал плечами.

— Куда? Зачем?

— Идем!

Петр схватил Журку за рукав, выволок на улицу и, толкая в спину, повел к реке. Журка шел ровным широким шагом, втягивая голову в плечи при каждом толчке. Но когда их скрыли кусты, остановился и спокойно спросил:

— Бить будешь?

Петр подскочил к нему, но Арсений неожиданно мотнул головой, и кулак Петра скользнул по затылку. Удар был сильный и неловкий; Петру показалось, что не он ударил, а его хватили по руке выше кисти.

Ему было стыдно и гадко. Он отошел в сторону, сел на камень, вынул портсигар. Пальцы тряслись и не могли поймать папироску. Потом он, не глядя, швырнул Журке портсигар и коробку спичек.

Журка лежал на животе, глубокими затыжками хватал дым и выпускал его через ноздри в рукав куртки. Петр курил частыми, мелкими глотками и поглаживал ушибленную руку.

— Больно?..— посочувствовал Журка.

Петр выругался.

— Не умеешь ты, председатель, драться. Кто же так бьет? Без руки можно остаться. Треснет она, как палка... Надо бить вот чем,— Журка, сжав кулак, показал костяшки согнутых пальцев.— Я одному фрею прошлый год врезал — метров двадцать летел по воздуху.

Петр пошевелил рукой — из глаз покатались золотые кольца.

— Черт... Все хуже и хуже...

Журка выплюнул окуроч.

— Интересно, как ты будешь отвечать, когда спросят, что с рукой? Скажешь: дрова рубил, полено отскочило и — по руке. Так?— Журка вздохнул.— Фонарь под глазом или шишка на лбу — во всем всегда виноваты топор с поленом... Нечестные люди...

— Я знаю, что сказать,— оборвал его Петр.

— Правду не скажешь.

— Ты думаешь?

— По глазам вижу. Да и неудобно председателю воспитывать людей таким способом.

Журка все еще лежал на животе и исподлобья следил за председателем. Петр опять закурил.

— А почему не сопротивлялся?— спросил он.

— Не хотел.

— Странно...

— Срок не хотел получить.

Петр замылся.

— Я тоже ведь не очень любезен был...

— Тебе-то что. Сам прокурором был, законы знаешь... А за меня кто заступится?

Губы у Арсения слегка улыбались, а из-под густых, сросшихся у переносицы бровей тоскливо смотрели глаза. Петр не вынес этого взгляда и отвернулся. Никогда он не был в таком дурацком положении. Он пытался вызвать Журку на откровенный разговор. Но вопросы задавал совершенно не те, и они отскакивали от парня, как искры от кремня.

— Не пойму тебя, Арсений... Парень ты неглупый, а какую о себе славу пустил... Почему?

— Скучно мне.

— Я и то удивляюсь. Как ты не уехал из Лукашей? Все твои сверстники разбежались.

Журка грустно усмехнулся.

— От кого ехать? От матери-старухи? Уедешь — воды не подадут напиться.

Петр, совершенно непонятно для себя, каким-то деланно веселым голосом сказал:

— Вот чудак, женись... Девоч у нас много. Тогда скучать некогда будет. Вот, к примеру, Ульяна Котова...

— Это мое дело,— грубо отрезал Журка, вскочил на ноги, потянулся и пошел, громко насвистывая.

«Что с ним? Ударил я его — не обиделся, а тут... Из-за чего?»— спросил себя председатель и погладил руку.

Ночью рука не дала ему спать, а к утру посинела и распухла. Петр, как бревно, повесил ее на платок. На вопросы любопытных отвечал, что упал с велосипеда. И все верили, кроме Геньки Шмырова; когда они с Арсением перекладывали боров на стеллаж, тот заметил, что дружок слишком часто потирал стриженный затылок.

Через несколько дней Журка взял топор и пошел строить завод. Петр же к этому времени опять вернул Копылова на скотный двор, на место Ульяны.

...Как ни хотелось председателю обойтись без наемной силы, а нанимать пришлось. На станции, в столовой, он встретил интересного, на редкость крепкого старика. Оказалось, что старик хорошо знал кирпичное производство. Петр обрадовался, поставил пол-литра и завел разговор о своем заводе. Старик повеселел, назвался Максимом Хмелевым и повел себя как третий дипломат.

— Если оно так разобратся, то и поработать можно. А если посмотреть с другой стороны — рискованное дело,— рассуждал он.

А когда Петр добавил три бутылки пива, Максим выдвинул свои условия.

— Будем рядиться, хозяин,— сказал он и загнул палец.— Оклад восемьсот рублей. Новые штаны и рубаха по окончании работы — не в счет... На день: крынка молока, кило хлеба, а картофель и суп само собой... Теплый угол, потому как у меня ревматизма. И рукавицы тоже твои... Ну вот и все,— Максим с сожалением посмотрел на свои руки: на левой оставался незагнутым один мизинец.

Правленцы упорно не хотели утвердить договор: слишком уж дорогим показался мастер, да и в дело они не очень верили... Но Петр пошел напролом и заявил: или будет в колхозе завод, или он, Петр, уйдет из правления. Правленцы переглянулись; помолчали и сдались.

Мастер прибыл в Лукаши с топором за поясом, с пилой под мышкой, а в руках у него был окованный железом сундучок. Петр отвел его на квартиру к Корниловой Татьяне. Та пристально посмотрела на постояльца и тяжело вздохнула:

— Ты бы мне его насовсем подарил... Какой бравый молодец, и рожа красная.

Максим кругом, как башню, обошел Татьяну и сказал:

— Хороша! И спереди, и сзади... Вот только рябая, как решето.

— А что тебе моя морда?.. Нешто на ней будешь узоры наводить?— спросила Татьяна, хихикнула, схватила самовар и потащила в сени.

На этот раз Петр не ошибся. Мастер был хоть куда! Он, видимо, умел и любил работать. Не прошло и недели, как на Лому встали новые столбы сушильного сарая и уже начали наводить стропила. Надо было заботиться о кровле... Чем крыть?

Петр мучительно размышлял об этом. А Максим решил вопрос неожиданно просто и быстро. Он заметил в колхозе старую льномялку, у которой сохранился конный привод, и приспособил его для дранкодирного станка. Матвей в кузнице выковал щепальный нож по чертежу Максима, нарисованному прямо на земле. И когда Максим снял с еловой чурки гибкий, пахнущий смолой лист дранки и подал его председателю, тот подумал: «А работничка я все-таки недорого купил».

...Но кончилась передышка. Наступал сенокос.

Глава девятая

ПОКОС НА АЛЕШКАХ

Как-то Василию Ильичу взбрело в голову сходить на болото пострелять дупелей.

Возвращаясь с охоты, он еле волочил тяжелые кир-

зовые сапоги; в которых звучно чавкала портянка. Был тихий послеполуденный час июльского дня. Солнце, заваливаясь за край облака, разбросало по небу белые ровные полосы. Потянуло холодком. Стряхнув истому, природа оживилась. По макушкам тополей пробежал ветерок, трава, до этого серая, унылая, потемнела и закачалась. Неожиданно к монотонному пению полевых сверчков присоединился звонкий отрывистый звук, как будто кто-то дергал струну и сразу же зажимал ее пальцем. Звук несся от дома Кожиных. Овсов прислушался, снял с плеча сетку, в которой болтался убитый дупель, повертел ее в раздумье, потом толкнул калитку и прошел во двор Кожиных. Под низким соломенным навесом Матвей отбивал косу. Василий Ильич поздоровался и присел на березовый чурбан. Матвей покосился на сетку.

— Птах стреляешь...

Кожин снял очки в железной оправе, протер их, надел и опять застучал молотком. Но, видно, зрение изменяло Матвею. Молоток чаще попадал по бабке, чем по косе.

— Дай-ка попробую,— предложил Овсов.

— Ишь ты, не забыл,— ухмыльнулся Матвей, когда молоток в руках соседа начал отбивать чистую отрывистую дробь.

— Что ж, Матвей Савельич, и косу не забываете при нынешней технике,— усмехнулся Овсов.

— Не забудешь. Покосы-то как заросли. Ты посчитай — пятнадцать лет их не чистили. А помнишь, какие покосы были на Алешках? Заросли, страх как заросли. Вот председатель посылает туда бригаду по кустам косить.

— И много едет?

— Сказывала невестка — человек двенадцать.

— Что ж, и вас посылают?

— Где уж мне, Клаву отправляем...

— А что, Матвей Савельич, у вас еще коса найдется?

Кожин, охая, поднялся и, поддерживая руками поясницу, поплелся в сарайчик. Вернулся он с широкой, круто загнутой косой; поднял клоч сухой травы, стер с косы хлопья ржавчины и подал Овсову.

— А ну, попробуй, как она.

Василий Ильич отошел к тыну, где росла жирная крапива, и сплеча смахнул ее.

— Ничего.

— Огонь, а не коса. Я за нее в голодное время пуд муки дал. Правда, немного тяжеловата.

Овсову захотелось поехать на сенокос. Придя домой, он стал собираться — слезил на чердак, разыскал брусья с брусом...

Пустошь Алешки издавна славилась своими заливыми лугами. Километра на три протянулась она вдоль левого берега реки Шумы. Правый берег — высокий и лесистый, молодой ельник подступает к воде. Но недолго выстаивают здесь деревья. Песок не выдерживает их тяжести, и они сползают или с маху опрокидываются в Шуму; посмотришь — то здесь, то там торчит над водой спутанный почерневший клубок корней. Когда-то этими покосами совместно владели алешкинские и лукашевские мужики. Обычно перед Ивановым днем сюда сходились с обеих деревень. Лукашане, как дальние, приезжали на лошадях и располагались лагерем. Луг разбивали на полосы, потом делили по жребию. После коллективизации пустошь отошла к алешкинцам. Сена здесь накашивали столько, что с избытком хватало и себе, и на продажу. Во время войны Алешки сгорели дотла. Жители разбрелись по соседним деревням, а на месте Алешек теперь растет высокий бурьян. Луг сплошь затянуло кривоногим ольшаником. В иных местах он так густ, что не проберешься. Среди кустов встречаются небольшие поляны, поросшие сивым мятликом, мышинным горошком и диким клевером. Трава здесь лопушистая, с густым подсадом.

К удивлению Василия Ильича, бригадиром косцов председатель назначил Клаву Кожину. Бригаду она разбила по звеньям. В одно звено с Овсовым попали Конь, Сашок и Еким Шилов — слезливый набожный старичок, мастер навивать стога.

Построив шалаш, мужики сидели, изредка перебрасываясь словами. Вечерело. Набожный Еким, щурясь на низкое солнце, вздыхал:

— Эка благодать, господи.

Его рябое, как вафля, лицо, притягивая лучи заходящего солнца, светилось от умиления. И правда, было удивительно хорошо в вечерний час на Алешкинской пустоши. По плоским макушкам ольх и осин солнце стелило мягкий розовый свет, и они пылали, как осенью. В траве, где лежали длинные оранжевые тени, уже ис-

крились первые капли росы. А под кустами сгущались сумерки: гасли лиловые колокольчики, ромашка сворачивала свои нарядные шляпки, и уже совсем потемнели глянцевиные листья конского щавеля. От реки, клубясь и цепляясь за сучья, напал туман.

Крикливые дрозды внезапно смолкли. В небе еще звенел жаворонок; он долго висел на одном месте, как будто провожал на ночлег солнце, и едва солнце вобрало свой последний луч, жаворонок камнем упал в густую траву... На минуту все замерло. И вдруг с пронзительным писком поднялся чибис, описал над лугом круг и с криком «иви, иви», скользя по макушкам кустов, пронесся и скрылся за рекой. Опять стало тихо. А потом все зазвенело. Кузнечики, полевые стрекачи завели ночной концерт. К ним присоединился дергач и затянул свое бесконечное «дра-дра».

Ваня Конь докурил сигарку, сплюнул крошки самосада и спросил, обращаясь не то к Сашку, не то к Овсову:

— Не слышал, скоро ли народ из города в деревню двинут?

— Что, говоришь, вынут?— замигал Еким и подставил к уху ладонь.

— Я спрашиваю, когда народ из города в деревню погонят?— мрачно пояснил Конь.

Еким погладил плешь и захихикал:

— Ты, Ваня, чего это? Разве человека можно гнать? Человек сам по себе живет, как птица, по-божьи. Вот ты не захотел в городе жить — приехал в деревню и живи.

— Ты, божий человек, не ставь меня в пример. Я сам уехал. Надоело мне там по общежитиям болтаться.

— Вряд ли сами-то поедут. Вот если правительство поднажмет, тогда — да,— проговорил Сашок.

— Правительство само собой... Оно знает, что делает... А вот дай в колхозе на трудодень рублей по пятнадцать — сам народ побежит. Проситься будут.

— Ясно дело, побежит,— согласился Сашок.— Вот всех бы вернуть, кто уехал... Сколько в Лукашах народу было...

— Всех не вернуть. Половину бы хотя,— отозвался Конь.

Василия Ильича так и подмывало сказать, что вот

он тоже сам приехал в колхоз, никто его не гнал, но, взглянув на мрачное лицо Коня, промолчал.

После ужина Конь, натянув на голову фуфайку от комаров, лег и сразу захрапел. Овсову спать не хотелось. Собираясь на сенокос, он думал о задушевных разговорах у огня, о песнях. Нет, нет, не так представлял все это Овсов... Он долго лежал, привалясь к шалашу. Далеко за лесом поднималась луна — белая, холодная, как ком снега.

Пришел Сашок, сел рядом, пожегся, постучал каблуком о каблук.

— Не спишь, Ильич?— потом зевнул и на корточках заполз в шалаш.

Забылся Василий Ильич под утро, когда на бледном небе терялись звезды.

Овсова разбудили крики людей и лязг кос. Висел плотный сизый туман. Река словно кипела — над водой кривыми столбами поднимался пар, и сквозь него тускло светилось плоское солнце. Копылов уже запрягал лошадей в лобогрейку.

— Тпру, стой, но, но, не балуй... Дай ногу! Ногу дай, дура!— ругал он молодую кобылицу.

В синем берете, из-под которого торчали влажные завитки волос, появилась Клава Кожина.

— Собирайся, мужики, начинать пора!— весело крикнула она и опять пропала в тумане.

Сашок туго затянул ремень на пиджаке и принялся точить косу. Василий Ильич переобулся, прикрепил к поясу брусницу. Ему досталось косить в паре с Сашком.

Коса нырнула с легким свистом, и, словно сбритая, легла трава, а пятка косы отбросила ее в сторону. Еще взмах, еще взмах, еще, еще. Василий Ильич оглянулся — за ним вытягивался ровный желтоватый прокос. Овсов глубоко вздохнул и почувствовал, как легко дышится и как что-то давно забытое, волнуемое просыпается в нем... Косилось спорко. Роса лежала обильная, и коса без усилий срезала высокую, подернутую редющим туманом траву. Впереди, размеренно махая косой, шел Сашок. И Василий Ильич с завистью отметил, что хотя он и не отставал от Сашка, но прокос у того был шире и чище. «Взи, взи», — пела под металлом трава и, обнажив желто-зеленые стебли, ложилась ровными рядами.

Пройдя метров тридцать, Сашок остановился и че-

тырмя взмахами узкого бруска поправил лезвие; потом оглянулся, сбросил с плеч пиджак, стянул рубашку и, голый по пояс, быстро обошел Овсова. Василий Ильич тоже разделся и стал нажимать. Волнение охватило его, когда плоская, как доска, спина маленького Сашка стала приближаться.

— Ага, ага,— радовался он, глядя надвигающиеся из стороны в сторону лопатки Сашка.— Ничего, ничего,— подбодрял он себя.

А Сашок шел и шел. Уже тяжело дышал Василий Ильич, рубашка взмокла, прилипла к плечам, глаза заволокло зеленью, и он напрягал зрение, чтобы не потерять из виду квадратную фигуру Сашка на толстых коротких ногах.

«Не могу, не могу,— стучало в голове,— брошу, брошу, вот, вот».

Но Сашок остановился и стал вытирать потное лицо. Минутная передышка — и опять впереди качающиеся лопатки Сашка, а в трех шагах от него — Овсов, с одной мыслью, как бы не отстать. Пройдя поляну туда и обратно четыре раза, Сашок воткнул черенок косы в землю и присел на кочку. Овсов опустился рядом. Стучало в висках, пот заливал глаза. Налетевший ветерок сдернул туман...

Перед ними открылся Алешкинский луг, яркий и свежий; сверху он серебрился от лугового мятлика; но особенно выделялось два цвета: желтый и фиолетовый, так сильно луг порос золотистой медяницей и веселым цветком иван-да-марья. Солнце начинало припекать, косить становилось все тяжелее.

Кто-то им несколько раз кричал, но голос казался очень далеким, и Василий Ильич никак не мог понять, кто кричит и что кричит. Но вот Сашок резко остановился, вскинул на плечо косу и, не оглядываясь, пошел к реке. За ним машинально двинулся и Овсов и почувствовал, как легко понесли его ноги, словно тело стало невесомым. На берегу реки стояла Клава. Она, по-видимому, только что выкупалась: по ее здоровому, румяному лицу катились светлые капли воды, а сама она, расчесывая мокрые волосы, смеялась.

— Да что с вами? Совсем оглохли. Кричу с полчаса, не могу докричаться. Обедать пора.

Сашок с Овсовым припали к реке и долго тянули теплую, пахнущую илом воду. Василий Ильич намочил

голову. Вода хлынула за ворот,— стало легко и немножко холодно. Так, не вытирая волос, он пошел обедать. Дойдя до конца поляны, Василий Ильич оглянулся — и не узнал ее: еще утром из-за высокого травостоя река едва виднелась; теперь она блестя рядом, даже было слышно, как плескалась плотва. Приземистые кусты неожиданно выросли, потемнели.

В самой гуще ольшаника разместилась столовая. На двух камнях стоял котел, под которым тлела осиновая коряга, а в котле пытела ячменная каша. Колхозники, усевшись в кружок, с аппетитом ели пропахшую дымом и салом кашу и похваливали повариху Татьяну Корнилову. А она, не скрывая радости, говорила нараспев:

— Ешьте, милые, ешьте, дорогие. Всех накормлю.

Над головами висела туча назойливых мух и рыжих слепней. В стороне, облокотясь на локоть, полулежал Копылов. Ему сегодня не повезло. Только он выехал на своей лобогрейке, как под нож попал рваный кусок железа, и нож хрупнул, как стекло. Потом косилка ввалилась в заросшую яму. Лошади дернули и сломали вагу. Татьяна поставила перед Иваном полную чашку каши. Но он только понюхал и отвернулся.

Еким, мигая, посмотрел на Коня и вздохнул:

— Запустили покосы, так запустили, что ужась одна.

— Ничего, вычистят. Я сам видел в МТС кусторез. Во здорово режет, черт! Ольшаник толщиной с оглоблю, как солому, валит,— восхищенно проговорил белобрысый паренек и покраснел.

Его никто не поддержал. После Татьянинного обеда животы огрузили, разговаривать и двигаться было лень. Колхозники лежали, сладко жмуря глаза, и кое-кто уже похрапывал. С обмерочной палкой пришла Клава и сообщила, кто сколько скосил. И тут все поднялись и заговорили. Оказалось, что Василий Ильич с Сашком смахнули без малого гектар. Сашок толкнул локтем Овсова.

— Живем, Ильич. По пять рублей на брата есть.

— Больше,— живо отозвалась Клава.— Нынче председатель обещает дать на трудодень по шесть.

— Держи карман шире... С чего это?— крикнул Арсений Журка.

— Со всего и дадут,— запальчиво возразила Клава.

Арсений вскочил, его смуглое подвижное лицо насмешливо скривилось.

— Дадут, поддадут да еще подбавят. Озимые-то еще с осени вымокли, а яровые нынче не ахти какие.

— Ах, грех тебе хаять-то,— вступился за яровые Еким.— Дюже ладная пшеница на климовских полях.

— А ты смотрел, какая рожь? У Сашка щетина на подбородке гуще.

— А льны какие!

— Лен выручит!

— Ясное дело — выручит!

— Все равно по шесть не дадут,— уныло проговорил колхозник с маленькими глазами на давно не бритом лице,— новый скотный двор постановили строить и завод. Опять наши денежки тю-тю.

— А что, разве это правильно?— горячо подхватил Журка.— Надо сначала колхозника удовлетворить, а потом и строиться. На кой черт сушилка, например, сда-лась? На печках высушим. Было б чего сушить...

— И хватать! Верно, Арсений?— громко перебила его Татьяна.

— Чего хватать?— огрызнулся Журка.

— Чего? Аль забыл, как я у тебя из порток льняное семя вытряхивала?— и Татьяна под дружный хохот колхозников рассказала, как застала на току Журку, когда он насыпал в штаны семя.

Колхозники продолжали спорить. Каждый старался доказать свое. И всех волновал один вопрос: как нынче будет — лучше или хуже, чем в прошлом году?.. Один только Овсов оставался в стороне. Равнодушно слушая, он мысленно повторял: «Шесть рублей, шесть рублей» И, ощущая ломоту в плечах, думал: «Я там, в артели, ничего не делая, получал больше». И тут Василий Ильич почувствовал, как постепенно закрадывается в него страх. Он старался отогнать его. «Ничего, ничего. Заведу свое хозяйство, все будет». И опять: «Шесть рублей, шесть рублей!»

Во второй половине дня косили по кустам. Там росла густая макушистая трава. Справа от Овсова теперь шел Конь. Коса в его руках свистела, четко откладывая ряды, почти не задевая скрытого валежника. Чувствовалась большая сноровка косца. Его старался обогнать Сашок. Он все чаще и чаще прикладывался к бутылке с водой и оттого еще больше потел. Худощавое коричневое лицо Коня, наоборот, было сухое, а острый взгляд зеленоватых глаз говорил, что он все видит и не усту-

пит. Вначале Овсов старался не отставать. Это желание не было задором: стыд и самолюбие заставляли Василия Ильича тянуться за другими, но кто-то невидимый назойливо шептал: «Брось, уйди. Зачем?» — и он машинально махал косой, стараясь не смотреть на этих крепких людей, у которых руки ходили, как рычаги машин.

...Ужинать Василий Ильич не пошел. Он остался на лугу в душистой копне сена. Тело ныло, особенно поясница и руки. Усталость вызывала ко всему тупое безразличие: все равно, лишь бы не трогали, а он лежал бы не шевелясь, ни о чем не думая, любуясь, как багровый горизонт постепенно краснеет, потом алеет и наконец подрумяненной полоской исчезает за неровной кромкой выползающих облаков... Быстро темнело...

«Но чем я недоволен, чем?.. Почему мне тяжело говорить даже с Сашком? Почему мне противен Конь?» — спрашивал себя Василий Ильич, а перед глазами опять маячила опушка леса, изба под соломенной крышей, сад, пчелы и он один... Он хочет тихой, спокойной жизни. В чем дело? Имеет он право на такую жизнь. В молодости и землю пахал, и камни колол, и на заводе работал. А теперь он хочет покоя... Но где этот покой? И здесь заводы, планы и машины. Они везде — на дорогах, в полях, в лесу! Василий Ильич в волнении поднялся на ноги, расстегнул ворот.

Уже совсем стемнело. Небо и земля были одинаково черные и обильно выдыхали тепло. Так бывает перед дождем.

«Вот я решил остаться здесь, — размышлял Василий Ильич. — Все надо вновь заводить. Дом старый, ремонт, хлопоты. А зачем? Разве нельзя приезжать в Лукаши на дачу?»

Далеко за лесом по черному небу скользнула молния, и глухо, ворчливо прокатился гром. Овсов пошел к шалашу.

Гроза приближалась. Гром с каждым ударом твердел. Молния сверкала беспрестанно. Она не высекалась искрой, не играла змейкой, а сразу со всех сторон охватывала землю, и ослепительно яркое синеватое пламя дрожало секунду-две, гасло и опять с треском и грохотом раскалывало небо.

Дождь с перерывами шел до утра. Хмурый рассвет тоже не обещал погоды. Небо затянули тяжелые прокопченные тучи, они ползли так низко, что задевали за

макушки соснового леса. Люди были мокрые и злые. Одни хотели идти домой, другие — продолжать косить. Особенно упорствовал Конь. Его поддержал Еким.

— В дождь коси, а в погоду греби,— говорил он.

Василий Ильич втайне надеялся, что дождь прогонит всех по домам. Но Клава заявила решительно, что пока она бригадир, никого никуда не отпустит. Василий Ильич совсем пал духом. Надрываясь, таскал охапки мокрой, как водоросли, травы и развешивал ее на специально изготовленных из жердей клетях — вешалах.

Дождь не переставал лить. Серые облака по нескольку раз собирались в проливные тучи. Земля уже не впитывала воду. Ею до краев переполнились канавы, под ногами хлюпали лужи.

На четвертый день к Овсову подошла Клава. Все уже работали, а Василий Ильич задержался в шалаше.

— Василий Ильич,— робко проговорила Клава,— шли бы вы домой. Работа не по вам. Вы так извелись, что страшно смотреть. Правда, идите. Что вам здесь?

Овсов долго молчал, упорно разглядывая носки сапог, побелевшие от воды.

— Да, да, лучше уйти,— наконец пробормотал он.

Половина Алешкинского луга была скошена. Теперь косили ближе к Лукашам, у дороги. Проходя, Василий Ильич услышал грубоватый бас Коня:

— Дачник-то наш размяк, как пряник сахарный.

— Слабоват в поджилках,— подначил Сашок.

Василий Ильич притаился за кустом.

— Грех вам над человеком измываться,— укоризненно проговорил Еким.— Сказывал — совсем в деревне останется.

— А чего ж он не мычит, не телится? — спросил Сашок.

— Не верю я в Овсова... Нюх у меня на человека собачий. Да и пользы от него, как от козла. От таких, как Овсовы...— и оскорбительная непристойность больно стеганула по ушам Василия Ильича.

Еким вздохнул:

— Язык у тебя, Ваня! Осмеять да облаять.

— Ладно, Еким,— спокойно заговорил Конь.— У меня злой язык. Ну, а ты скажи, велика от него будет польза колхозу?

— Нешто я про это говорю,— в ответ пробормотал Еким.

— Одним словом, дачник он,— отрезал Конь и обратился к Сашку: — А ну, Сашок, смахнем этот клин до обеда.

— Многовато!

— Затяни ремень потуже,— засмеялся Конь, и в тот же момент одновременно звякнули брусницы.

«Пошли заходить»,— догадался Василий Ильич и торопливо, почти бегом, двинулся к Лукашам.

Дорогу развезло, как мыло. То и дело попадались низины, залитые водой, ручьи, вышедшие из берегов.

С грустной усмешкой встретила мужа Марья Антоновна.

— Нароботался, колхозничек?

Василий Ильич устало опустился на лавку и стал снимать сапоги. Марья Антоновна, подбирая мокрые портянки, взглянула на осунувшееся лицо Василия Ильича и горестно вздохнула:

— Горюшко ты мое луковое.

Глава десятая

О ТОМ, КАК ПЕТР СЧИТАЛ СЛОНОВ...

Август. Тихий, теплый, напоенный горьковатыми ароматами созревающих хлебов и приторно-сладкими запахами увядающих трав и переспелых ягод. Весь день небо так высоко, что дух захватывает; ни облачка; даже птицы в эти дни стараются не летать. Дали на редкость ясные: насколько хватает глаз, видны, словно отчеканенные, кромки лесов, темные пятна кустов, присевших на бугорке, и даже телеграфные столбы — тонкие, ровные, словно вязальные спицы.

Все объято приятной ленью. Дремлет ворона на маковке корявой сосны; старый, с разбитыми копытами мерин сунул голову в стог сена и лениво обмахивает хвостом вздувшиеся, как подушки, бока... По бугру катится грузовик, за ним на дыбы поднимается дорога, долго висит над полем красноватое облако пыли... Кажется, дремлет и рожь, до земли уронив желтый колос. Слышен рокот мотора, но настолько слабый, что его заглушает полусонное бормотание ручья. Это там вдали, у леса, жнет комбайн.

Август. В лесу чуткая тишина, и боязно ее спугнуть.

Шагнешь осторожно, чтоб не треснул сучок, чтоб не за-
деть ветки... И вдруг тинькнет беспокойная синица,
стукнет раз-другой дятел, да и то, наверное, из озор-
ства; а из-под куста можжевельника с шумом вылетит
тетерка и, тяжело хлопая крыльями, ударится о колю-
чий ельник... И опять тишина. Пахнет переспелой мали-
ной — она опадает; осыпается тмин, и уже кружится
пух болотного камыша. Заметно, как в лес вползает
осень. Пока она на кочках, на алых кистях брусники, на
краснобокой клюкве.

Август. Горячий, изнурительный месяц. Вянет на
корню трава, клевер почернел и стоит, словно обуглен-
ный, течет из колоса зерно, и тревожно звенит поджа-
рившийся лен. Все кричит: «Не зевай, убирай!»

У Петра не было времени зевать. Его лицо под
солнцем совсем высохло и почернело.

Но как ни было тяжело, топоры на Лому постукива-
ли. Заканчивалась установка глиномялки. Председатель
подумыв о механизации; робко, но подумывал. Еще
в бытность Абарина колхоз закупил подвесную дорогу.
Дорогу привезли, сложили в пожарный сарай и больше
до нее не дотрагивались. Да и дотрагиваться не было
нужды. Слишком это была несуразная роскошь для
двора с горбатыми стенами, земляным полом и дверьми,
в которых корова хребтом задевает за косяки. Петр ре-
шил использовать подвесную дорогу на заводе. Рассчи-
тывая, что Максим все может, Петр отправил ее на
Лом. Максим похвалил председателя за сообразитель-
ность, но устанавливать отказался, заявив, что такое дело
ему не под силу.

Недолго раздумывая, Петр махнул к директору
МТС. Тот, занятый по горло, рассеянно выслушал его,
похвалил и пообещал все сделать, как только кончится
уборка.

Весной Петру на бюро записали выговор за то, что
посеял кукурузу вместе с овсом. То ли по какой-то слу-
чайности, то ли на этот раз повезло ему, кукуруза с
овсом дружно взошли и потянули друг друга, а потом
кукуруза обогнала и встала зеленой стеной. Всех, кто
ни приезжал в колхоз, он водил в поле и хвастался:
— Смотрите! Красота-то какая!

Кукурузу пора было косить на силос, об этом неод-
нократно напоминали из района, но Петр выжидал.
И дождался...

К этому времени поспел лен. Пришла тракторная те-ребилка и в несколько дней положила его на землю. В газете появился портрет тракториста, а лен больше недели валялся несвязанным. Петр все силы бросил на лен... А кукуруза так и осталась стоять...

Председателя срочной телеграммой вызвали на бюро. «Влепят, обязательно влепят»,— решил он.

И вот Петр опять на бюро в кабинете секретаря райкома Максимова. Все сидят, а он стоит.

...Петр устало потер лоб и посмотрел вокруг себя. Лица знакомые, но показались они ему строгими и холодными. И только у Максимова на миг промелькнула улыбка.

— Вырастил кукурузу, даже пострадал за нее, а с уборкой тянешь. Не понимаем мы вас, товарищ Трофимов. В чем дело?

Петр хотел ответить, но голос из угла опередил:

— У Трофимова более важные дела... Завод строит.

Петр кинул быстрый взгляд в угол и увидел бритую голову директора МТС.

— Размахнулся не на шутку,— директор засмеялся.— В колхозе три с половиной человека, а он завод.. Я как разобрался... Чудак, ей-богу чудак...

Такой предательской выходки Петр не ожидал. Все в кабинете перемешалось, завертелось колесом. Подкатило желание закричать, затопать ногами... Петр сжал кулаки и стал шепотом считать:

— Раз слон, два слона, три слона, четыре слона...

Поднялся шум, смех, посыпались вопросы. Максимов резко стучал по ефолу...

Потом Петр вышел на улицу. По дороге, выложенной круглым булыжником, с грохотом сновали грузовики, поднимая едкую пыль. У районного дома культуры на большой доске висела афиша: «Сегодня танцы».

— Танцуют! — И Петр выругался.

Ему захотелось выпить. Схватив велосипед, он пошел к чайной. Прямо у стойки взял стакан водки, два соленых огурца и долго топтался между столов, пока не освободилось место. Наконец он сел. Рядом с ним две женщины, развязав платки, обедали. Они заказали себе кильки и по три стакана чаю. В платках у них были яйца, лепешки с творогом и пшеничные колобки.

— Базар-то нынче никудышный,— пожаловалась женщина в шерстяной вязаной кофте.

— Никогда так не было. Овцу продала, а что выручила? — согласилась с ней полногрудая молодуха.

Женщина в кофте, съев яйцо, вытерла головным платком губы.

— А я, милая,— сказала она соседке,— троих учу. Нынче последнюю в техникум отдала. Ох, тяжело!

— Трудно учить-то,— посочувствовала молодуха.

— Ничего, милая... Вот, бог даст, выращу телушку, продам и перевернусь...

— «Телушку продам и перевернусь»,— повторил Петр.

Женщины покосились на него и стали завязывать платки. Петр поднес водку к губам. В ноздри ударил крепкий сивушный запах.

«Вот так, наверное, начинал и Алексей Абарин»,— подумал Петр и тут же вспомнил разговоры колхозников: «Наш председатель-то не пьет. Старается все для колхоза. Таких у нас еще не было». Петр поставил стакан.

«Нечего сказать, хорошо стараюсь... Три месяца, как не выдавал аванс... А как это сказывается? На лен идут без охоты. А лен — богатство. Что, если с ним завалим?.. Но что же делать? В райком пойти?»

Петр поманил девушку и попросил ее взять водку обратно, а когда она отказалась, поставил стакан перед стариком, который спал, положив голову на фуражку с поломанным козырьком.

...Максимов был уже один. Он вопросительно посмотрел на Трофимова и пригласил садиться. Петр снял кепку.

— Я по делу.

— Из чайной?

— Из чайной. А что?

— Да ничего. Бывает.

— Вы думаете, что я...

— Я ничего не думаю,— перебил Петра секретарь,— выкладывай...

— Плохо у меня.

— Ну, уж не так-то и плохо, как тебе кажется.

— Народу мало, да и тот плохо стал работать.

— Надо заинтересовать.

Петр оживился:

— За тем и пришел. Авансируйте меня под лен тысяч на десять?

Максимов встал, прошелся и опять сел.

— Лен-то хороший?

— Чудо, а не лен!

— Так, говоришь, хороший? — переспросил Максимов и потянулся к телефону.

Петр даже встал, прислушиваясь к разговору Максимова с управляющим банком. А когда Максимов подмигнул ему, вытер кепкой лицо и закурил...

Максимов откинулся на спинку стула и, внимательно разглядывая Петра, сказал:

— А теперь расскажи про завод.

Петр начал сбивчиво, а потом разошелся и выложил все. Максимов сидел неподвижно и, казалось, думал о чем-то своем. Потом он пошевелился, устало потер лоб.

— Да, тяжело тебе было сегодня на бюро.

— Да и сейчас не легче... Так обидел директор... А за что?.. Завод — моя цель. Он мне нужен как подспорье в хозяйстве. И я очень рассчитываю на этот завод.

Максимов улыбнулся.

— Мечтаешь торговать кирпичом...

— Мечтаю! — воскликнул Петр.

— Значит, завод — твоя цель?

— Это скорее первый порог к моей цели... И если я на нем споткнусь, упаду, то мне не подняться... Может быть, это глупо. Но у меня такое предчувствие. Завод — проба моих сил. И почему-то никто меня не понимает... А другие просто издеваются.

— Да, теперь я понимаю, — медленно произнес Максимов. — Вот, значит, почему ты так смотрел на директора МТС...

Петр усмехнулся.

— Я слонов считал...

Максимов вздернул брови.

— Когда я сильно волнуюсь или когда не спится, считаю слонов, — пояснил Петр.

— Помогает?

— Как видите, сегодня удачно. А то, бывает, всю ночь считаешь...

— Все завод?

Петр вздохнул.

— Завод... Да и другое.

Максимов перекинул листок календаря и стал быстро писать. Петр поднялся, но следующий вопрос секретаря надолго задержал его. Максимов спросил о пересе-

ленцах. Рассказ про Овсова заставил его задуматься.

— Когда я встречаюсь с Овсовым,— прервал молчание Петр,— мне становится неприятно. Какой-то затхлостью от него несет, как от старого заколоченного дома.

Максимов встал, прошелся, распахнул окно и подо-звал Петра.

— Видишь эту дорогу? — сказал он.— Она идет в самый отдаленный сельсовет. Длинная, пыльная, уха-бистая дорога. Но я все-таки предпочитаю ходить по ней: не собьешься. Обязательно приведет на место. Но есть и другая дорожка — узкая, как тропинка. Раз я и пошел по ней. Иду, сердце радуется. Птички песни поют, цветочки ноги щекочат. Так шел я, шел, и вдруг оборвалась моя дорожка. Оглянулся — глухомань кругом... Оказалось, что тропинка никуда не вела. При-шлось возвращаться назад... А Овсов всю жизнь плутал по такой тропинке... Вот она и завела его никуда, и те-перь он мечется, как слепой, из стороны в сторону броса-ется...

В приподнятом настроении вышел Петр из кабинета секретаря райкома. Вскочив на велосипед, он заторо-пился в колхоз.

Районный городишко стоял на берегу Волги. Камене-нистая, изрытая ухабами дорога спускалась к реке. Подпрыгивая на седле, Петр спустился к Волге. У горо-да она текла между высокими берегами. Левый берег, более отлогий, подступал к воде. Около воды разгуливали козы. Выше находились каменоломни, похожие изда-ли на барсучьи норы; кое-где стояли штабеля белого камня. Большинство каменоломен заросло, отчего берег был покрыт ровными широкими грядами, словно моги-лами сказочных великанов.

Правый берег, лесистый, отступил от воды на полки-лометра, образовав пойму, густо заросшую бурьяном.

Поперек Волги крохотный буксиришко с трудом та-щил паром, на котором в беспорядке стояли возы с се-ном, телеги с мешками, две грузовые машины и ком-байн. На краю парома, махая платком, надрываясь, кричала женщина:

— Рома-а-а-ан!

Уже и паром скрылся, а женщина продолжала звать Романа, и звонкие отголоски «ан», «ан», ударяясь о бе-рега, отскакивали от них и тонули в рябоватой волж-ской воде.

Дорога, отступив от реки, стала подниматься в гору. Петр, спрыгнув с велосипеда, пошел пешком... День уже был на исходе, и жара постепенно спадала. Солнце теперь не жгло, но еще чувствительно припекало, а от каменной горы несло, как от раскаленной печки.

Поднявшись на гору и миновав деревушку в десяток домов, Петр вошел в густой ореховый лесок. В лесу было прохладно, пахло гнилью и папоротником. Дорогу с обеих сторон стеснил орешник. В иных местах макушки кустов сцепились, образовав сплошную ярко-зеленую крышу, сквозь которую лился мягкий изумрудный свет.

Было очень тихо, легко и отрадно. Тянуло упасть под малиновый куст и, вдыхая густой сладкий запах ягод, лежать, ни о чем не думая. Но отдыхать нет времени...

Кончился лес. Потянулись поля. Солнце боязливо садилось на острые макушки елок. Одна половина неба была ярко-голубая, другая — белесая, словно полинялый ситец, а у горизонта, пронизанное насквозь лучами, плавило одинокое облачко.

«С хлебами-то пора кончать, а у нас и половины еще не убрано», — подумал Петр, глядя на сильно порыжевшее ржаное поле. Теперь другие, будничные мысли о своем колхозе охватили его. «Убрать бы все вовремя, тогда бы и я перевернулся, — и Петр улыбнулся, вспомнив разговор в чайной. — Выдал бы на трудодень по восемь рублей. Нет, по восемь не выйдет, а по шесть дал бы. И завод восстановил бы, и новые скотные дворы поставил. Народу мало, но и с этими можно многое сделать. Андрей Нилов, Сашок, Кожин. А Конь? Ведь ничего у него сейчас нет. На одной картошке семья сидит. А какой работник! Вот бы мне таких с десяток... Ульяна...»

Ульяна буквально прилипла к Петру и смелела с каждым днем. Она не только не скрывала своего отношения к Петру, но, наоборот, при всех откровенно тянулась к нему. В Лукашах твердо решили, что Ульяна женит на себе председателя.

«Надо кончать с этим, — думал Петр, — объясниться с ней раз и навсегда».

Свернув на тропинку, он спустился в низинный луг и поехал по его обочине. Луг был узкий, но длинный, поросший осокой. Справа километра на три протянулось болото. Над болотом нависал туман, на глазах превра-

щая его в огромное озеро. Стало холодно. И чтобы согреться, Петр поехал быстрее.

Около Лукашей, на потравленном клеверище пасся табун лошадей. Слышался глухой стук копыт и задорное ржание стригунков. Как только Петр поравнялся с табуном, его окликнули. Он остановился, слез, околотил кепкой серые от пыли штаны. Подошел Овсов.

— Из района, Петр Фаддеич? — спросил он. — Поздновато.

— Это еще что. Другой раз к двум часам едва доберешься.

Василий Ильич вынул из кармана часы, щелкнул крышкой.

— Четверть девятого.

— Да ну? — удивился Петр. — Вот не думал.

Наступило молчание. Петр, закуривая, поглядывал на Овсова.

— Ну как, привыкаешь, Василий Ильич?

— Ничего. Надо же что-то делать.

— Да, конечно.

Петр не знал, о чем с ним говорить, а Овсов, как ему показалось, хотел что-то сказать, но замялся.

— Ну, Василий Ильич, будь здоров.

Овсов, подавая руку, несмело проговорил:

— У меня просьбишка. Видишь ли, я хотел заявление-то взять у вас.

Петр промолчал и тронул на руле звонок. Тот динькнул тонко и неприятно, и звук его сразу увяз в тумане.

— Так я возьму, а? Завтра забегу к вам.

Петр медленно поехал.

— Так как же, Петр Фаддеич, с заявлением? — крикнул ему вслед Овсов.

Петр, не отвечая, рывком крутнул педаль и скрылся за кустами.

Не доезжая Лукашей, он свернул в прогон и поехал к шохе проверить охрану зерна. Уже совсем стемнело. За лесом расплзались кроваво-красные отсветы луны. Шоха — крыша на столбах — находилась на так называемых ближних полосах.

Петр позвал сторожа. Никто не ответил. Обходя кучу снопов, он споткнулся.

— В лоб хочешь, чтоб закатил? — спросил сиплый голос.

Снопы развалились и, натягивая на глаза кепку, под-

нялся Журка. Петр усмехнулся, прислонил велосипед к снопу, сел и стал закуривать. Арсений тоже потянулся к портсигару. Молча закурили, молча накурились и молча заплевали окурки.

— Чего это тебе, председатель, не спится? — зевая, спросил Журка.— Все думаешь, как колхоз поднять?

— Думаю, Арсений, думаю.

— Шел бы домой, да и думал.

— Что это ты меня гонишь? — удивился Петр.

— Мне-то что, сиди.— Журка запахнул ватник и привалился к снопам, подобрав под себя ноги.

Петр прислушался. Кто-то ходил около шохи. Зашаркали резиновые галоши, и женский голос окликнул Журку. Петр узнал голос Ульяны... Она подошла и удивленно протянула:

— Да вас тут двое. Кто это?

Петр отвернулся. Ульяна приблизилась к нему, ахнула и, пятясь, прошептала:

— Петр Фаддеич...

Встреча была неожиданной. Петр растерялся, пробормotal что-то непонятное и быстро вышел из-под навеса.

— Петр Фаддеич! — позвала Ульяна.

Он пошел быстрее, но она догнала...

— Петр Фаддеич,— задыхаясь говорила Ульяна и, стараясь попасть в ногу, шла рядом.— Вы подумали, что я к нему пришла? Я только попросила его покараулить, пока домой бегала... Почему вы не верите мне?— Ульяна схватила председателя за рукав и заплакала:— Петр Фадде-е-е-ич...

В ту же минуту за их спинами неестественно высоким голосом запел Журка:

И на юбке кружева, и под юбкой кружева,
Неужели я не буду председателя жена?..

Они посторонились. В накинutom на плечи ватнике мимо прошел Журка, стуча каблуками.

Над лесами тяжело поднималась луна. Ее розоватомутный свет разбавил темноту. Длинная крыша шохи теперь, казалось, повисла над землей. Пепельно-серую дорогу пересекли две тени.

Ульяна потянула Петра к обочине и села, туго обняв колени подолом. Петр опустился рядом. Ульяна подбородком ткнула ему в грудь и засмеялась. Потом

подняла лицо и вся потянулась к нему. Но поцелуй получился торопливый и соленый. Ульяна что-то зашептала... Петру стало приятно, и в то же время шевельнулась мысль: «Не надо бы всего этого».

— Ульяна...

— Да, да! — отвечала Ульяна.

— Как же будем мы с тобою жить?

— Будем, будем...

— Плохо мы живем. Так нельзя жить.

— Можно. Мы уже привыкли.

— «Мы уже привыкли», — повторил Петр и машинально погладил ее щеку. — Ты сказала — привыкли так жить?

— Да, — Ульяна недоуменно посмотрела на Петра. — Что с тобой?

— А я не могу так жить, — Петр отстранил Ульяну и встал. Ее руки скользнули по его пиджаку, ухватились за карманы...

— Вот ты как... — прошипела она.

Петр отвел ее руки и пошел.

«Привыкли, привыкли», — стучало в голове. Через минуту до него донесся тоскливый крик Ульяны:

Вот и кончилась война,
И осталась я одна,
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик...

...Около мостка через Холхольню Петр встретил Журку. Журка помог ему протащить велосипед по бревнам. Потом они вдвоем ввели за руль машину и ни о чем не говорили.

У дома Петра Журка сказал сиплым басом:

— Петр Фаддеич, надо заранее дров заготовить для завода, чтоб высохли. Максим говорил — для обжига нужна высокая температура...

В горле у Арсения, видимо, першило, и он с трудом сдерживал себя, чтобы не раскашляться...

Глава одиннадцатая

ПОЖАР

Ночь. Она смешала поля с лесом, деревню с садами. Лукаши — десятка два желтых огоньков, лай собак,

звонкие вскрики гармошки и озорная песня Арсения Журки:

Голова ты голова, голова-головушка,
Не боится голова ни кола, ни колышка...

Стреноженные кони глухо бьют копытами, жеребята трутся около маток. За ними гляди да гляди. Не успеешь моргнуть, как пустятся в горох, задрав хвосты. Василий Ильич выгонит их и опять привалится к стогу; подоткнув под бока сенца. Лежит и думает, думает об одном и том же... Со своими думами он свыкся, вызубрил их, как таблицу умножения.

Ночь с каждым часом свежеет. Василий Ильич с головой зарывается в стог. Слежавшееся сено полно тепла и запахов луговых трав.

Так проходит ночь за ночью, спокойно и однообразно. И казалось порой, что наконец Овсов обрел то, что искал: ночью он пас коней, а днем копался в своем огороде.

Но это только казалось. Тихий уголок — мечта Василия Ильича — задвигался невидимой прочной стеной. Василий Ильич получил участок земли, но не ощутил радости. Наоборот, вместо радости вначале появилась тревога, а потом ее сменило полное равнодушие. Весной он торопился обработать огород и боялся, что опоздает. Но прошел месяц, другой, и Василий Ильич охладел к нему.

«Переломи себя, Василий, переломи», — гудели в голове слова Матвея Кожина.

Между Овсовым и Кожиным произошел неприятный разговор. Василий Ильич хорошо запомнил его, хотя был, как и Кожин, сильно пьян.

Илья — престольный праздник в Лукашах. Готовились к нему дружно. В ночь перед праздником Овсов и Сашок мылись в бане Матвея Кожина. Сам хозяин пригласил их снять первый пар.

Парились долго, ожесточенно, до одурения. Из бани шли обмякшие, красные, словно варенье, и по предложению Матвея завернули к нему прохладиться. Прохлаждались брагой, сваренной на меду. С первых же стаканов мужики осовели и, как водится, заговорили о политике.

— Потерял мужик интерес к земле, — настаивал Василий Ильич.

— А почему потерял? — Голос Матвея, чем больше он пил, становился все глуше и гудел, как в бочке.

— Потому что техники много стало. Эти трактора с комбайнами как землю терзают! Все соки из нее выжали... А раньше-то мы с ней разве так обращались? Бывало, вспашешь ее, голубушку, потом пройдешь по ней с боронкой. А идешь-то осторожно, шаг в шаг, чтобы не затоптать ее, матушку... Стоишь на меже и любишься. Лежит она ровная, как барышня гребешком причесана... Хорошо!.. — Глаза у Овсова набухли, и он, не стесняясь, вытер слезы.

— Чудак ты, Василий. Ох, чудак! — усмехнулся Матвей. — Хаешь технику, а ведь она большое дело сделала. Жалко, в Лукашах ее мало еще пока. Техника — сила... А ты, Василий, очень отсталый человек, а еще в городе жил. Только ты на меня не обижайся. Выпей. Не обижайся. — И Матвей поставил перед Овсовым еще стакан браги.

Но Василий Ильич обиделся. Он долго сидел накупившись, а потом ехидно заметил:

— Тебе, Матвей Савельич, можно защищать технику. Как ты живешь в Лукашах? Не чета другим. Сам кузнецом пристроился, сын — шофером. Два огорода пашешь. Пчелы, сад, одних овец, наверное, десятка два наберется. Вот и бражку на меду поставил, а Масленкин последний пуд муки на самогонку сварил.

— Не последний, — возразил Сашок. — А до Матвея мне, конечно, далеко. У меня шесть ртов. И все кричат «давай!», а давальщик-то я один.

Матвей встал, сходил в горницу — сидели они в кухне, — вернулся с листком бумаги, свернутым в трубку, раскатал его и положил перед Овсовым.

— Это отдельный лист, Василий. И двумя огородами грех меня попрекать. Сын у меня теперь — отрезанный ломоть. У него свое хозяйство. Скоро совсем от меня уйдет, вот дом построит и уйдет. — Матвей скатал листок и сунул его на божницу, за икону. — Не жалуясь, неплохо я живу, Василий. А потом, почему я должен плохо жить? Разве Советская власть запрещает хорошо жить? Я газеты читаю, — там не пишут, чтобы колхозник плохо жил. — Матвей, хохоча, посмотрел на Овсова.

— Кто сказал, что мужик потерял интерес к земле? — пьяно закричал Сашок и опрокинул стакан с брагой.

Матвей поставил стакан подальше от Сашка и погрозил ему пальцем.

Сашок, не обращая внимания, замахал руками.

— Ты не кричи — народ еще по улице ходит. Подумают что... — забеспокоился Овсов.

— Ничего, пусть выскажется; дуй, Масленкин, — сказал Матвей.

Но Сашок уже высказался. Он грузно опустился на табуретку и положил на стол голову. Кожин долил стаканы.

— По последней. Больше не дам. Потому как я уже пьяный. — Нетвердо ступая, Матвей отнес бутылку в шкаф. Потом пододвинул стул к Овсову.

— Я тебе еще скажу, Василий. Только ты не обижайся... Не уважают тебя в Лукашах.

— Почему?

— Вот ты приехал в колхоз. И чем сразу занялся? Своим огородом. Народ и говорит: «Тоже нашелся патриот городской». Люди-то понимают все твои думки: подальше, в сторону от колхоза. Так я говорю?

Василий Ильич, слушая, царапал клеенку. Лицо у него жалко сморщилось, нижняя губа, отвиснув, дрожала.

— Не верят тебе в Лукашах, — продолжал Матвей. — Потому и зовут дачником. А ты возьми да переломи себя, Василий. Переломи — легче будет!

«„Переломи себя“! Сколько же можно ломаться?» — думал Овсов. И чем больше думал, тем яснее ему становилось, что в Лукашах ему не удержаться. Там, во «дворце полей», он жил незаметно, и никому до него дела не было. А здесь он у всех на виду. И каждого интересуется — зачем он приехал, что собирается делать.

Пожар начался на рассвете. Очнувшись, Василий Ильич долго не мог понять, где он и что все это значит. Кони, наострив уши, тревожно ржали. Кто-то вдали беспорядочно колотил по чугунной доске. Небо багровое. Над головой — синие, с накалившимися краями облака и луна, как будто обрызганная грязью.

— Пожар! — Овсов рванул с головы фуражку и метался, не спуская глаз с неба. Оно все больше и больше краснело, густой сизый дым с охапками искр висел над Лукашами.

— Горим!

Василий Ильич напрямик, по кустам, бросился в Лукаши. Он бежал, как слепой, выставив вперед руки, ощупью раздвигая кусты. Исхлестанный ветками, без фуражки, он выбрался на пригорок.

Горела заречная сторона. Ноги у Овсова подогнулись, он закачался из стороны в сторону.

— А-а-а... — простонал он.

Виновник пожара — бывший председатель Алексей Абарин — чуть сам не сгорел. Всю ночь он гнал самогон, а под утро уснул, свалившись на пол в сенях... Рядом в доме жил Копылов. Он выскочил на улицу в нижнем белье, увидел, что крыша его дома охвачена огнем, бросился в избу и стал выносить сонных ребятишек. Когда хлев полыхал, как стог соломы, Копылов вспомнил о корове. Накинув на голову мокрый мешок, он кинулся в огонь. Но было уже поздно: корова лежала около ворот с выпученными лиловыми глазами. Раздался истошный крик жены:

— Ваня!..

Едва он отбежал, как крыша завалилась. Лохматый, обсыпанный гарью, Иван схватил жену за руку и потащил, крича:

— Где дети? Иди к ним!

— Там, у реки, у реки...

На берегу реки сидели ребятишки и большими от восхищения глазами смотрели, как загорался соседний дом. Огонь добрался до крыши и ошалело забегал по ней, с хрустом пожирая дранку.

— Вот галит так галит! — кричал, прыгая, беспортошный трехлеток Степка.

— Вот дурак, дом сгорел, а он радуется, — всхлипывая, тянула его сестренка.

Рядом с ней, завернутый в одеяло, барахтался грудной ребенок. Увидев отца с матерью, дети заревели.

— Все здесь? Все, кажется, — облегченно вздохнул Конь. — Дарья, смотри за ними, я побегу.

— Куда ты в кальсонах? На штаны, — Дарья развернула ком белья и бросила ему брюки.

Огонь беспрепятственно пожирал дом за домом. Люди спасали все, что можно вытащить. Когда из изб все до горшка было вынесено, начинали выбивать окна, снимать с петель двери. Один только Арсений Журка не заботился о себе. Он носился по деревне, со звоном рас-

пахивая окна, а оттуда на землю летели подушки, валенки, с грохотом вываливались тяжелые сундуки. Журка был неутомим. Казалось, что наконец-то и он нашел для себя настоящее дело.

Запылала изба Екима Шилова, и его старуха заголосола: «Милые, спасите боровка!» Арсений бесстрашно бросился в горящий хлев и колом выгнал оттуда девятипудового борова. Сам Еким в это время ходил вокруг дома с иконой Николая Чудотворца.

Задымилась изба Масленкина. Сашок суетился, как пьяный. Он то принимался тыкать багром в стену, то хватался за топор и со всего плеча выбивал подоконники, то кричал на жену: «Давай воду! Воду давай!», то, опустив руки, говорил: «А ребятишки-то где? За ребятишками смотри!» А когда затрещала крыша и от дома понесло печеной картошкой, Сашок опустился на колени и стал мочить в ведре голову. Из окон покатались смолистые клубки дыма и заволокли все вокруг...

На улице валялись разбитые сундуки, кровати, под ногами катались ведра и чугуны. Неподалеку от горящего бревна стояла чья-то корзина с тлеющим боком. Конь на бегу выхватил из нее белье, бросил в сторону, под куст акации. На дороге осталась детская рубашонка. Она пошевелилась, потом подпрыгнула и, прильнув к бревну, сгорела легко и весело.

С расстегнутым воротом, босой, брел Фаддей, прижав к груди валенок. Прикрывая рукой глаза, Конь подбежал к Фаддею.

— Где председатель?

Фаддей посмотрел на Коня и прохрипел:

— Сгорит все, как порох сгорит.

— Петр где?! — закричал Конь, встряхивая Фаддея.

— А? — опомнился старик. — Петька побежал в правление пожарных вызывать. Да разве дождешься? Все сгорит. Видишь, сухо как.

Не дослушав Фаддея, Конь побежал дальше. Поймав Журку с Сашком, он потащил их к пожарному сараю. Втроем приволокли они ручную водопомпу — качалку, похожую на самовар. Но дотянуться до воды не хватало рукавов. Сбегался народ из ближних деревень. Привезли еще три таких качалки и кое-как из них собрали одну. Но сбить огонь не так-то было легко. И Конь скомандовал разбирать дома. Группа парней с Журкой во главе взобрались на крышу какого-то дома, вмиг

взломали ее и с грохотом спустили на землю. Мужики бросились к дому с баграми.

Первое, что увидел Василий Ильич, когда вбежал в деревню,— свой дом.

— Стоит! Стоит!

Василий Ильич беззвучно засмеялся и, обхватив шершавый столб крыльца, погладил его, приговаривая:

— А что? Стоишь, стои-и-и-ишь!

Марью Антоновну с вещами он нашел далеко на задворках. Она сидела на чемодане, среди узлов. Увидев мужа, Марья Антоновна заплакала.

— Зачем ты меня сюда завез?..

— Все вынесла? А где зеркало, шкаф?

— На что они нам сдались?

По улице пробежало трое колхозников, среди них был старый Кожин.

— Матвей! — окликнул Василий Ильич.

— Давай, давай! — не оборачиваясь, замахал рукой Кожин.

Туча искр металась над Лукашами, ветер нес красные хлопья, усыпая ими крыши. Овсов оглянулся и, видя что никто не обращает на него внимания, сгорбился и быстро пошел к дому. Здесь он вынес со двора лестницу, сунул в ведро с водою веник и полез с ними на крышу.

Только сейчас он увидел, как стар его дом,— истлевшая дрань крошилась под ногами. Он ползал по крыше, хватаясь за трухлявые жерди, которые трещали и качались. Оторопь сковала Овсова, когда над домом Масленкина взметнулось оранжевое с черной каймой пламя и захлопало, как огромное полотнище... Сверху посыпался пепел. Тополь, стоявший около дома Сашка, задрожал, листья зашуршали, как бумага, и вдруг он вспыхнул сразу со всех сторон, как факел. Огонь в минуту взломал тесовую кровлю и, провалившись в темный от копоти сруб, заклокотал в нем.

— Раз, два, взяли!! — услышал Василий Ильич надрывный голос.

Внизу мужики баграми раскачивали крышу соседнего дома.

— Голубчики мои, спасители, не дайте погибнуть,— бормотал Василий Ильич, ползая по крыше своего дома и махая мокрым веником.

Раскаленный сруб Сашка продолжал стоять, грозя

вот-вот рухнуть и завалить горящими бревнами все вокруг.

— Давай сюда!..

Овсов увидел, как мужики кинулись к его дому.

— Разрушат... Конец всему,— прошептал Василий Ильич и визгливым голосом закричал:

— Не сметь!

Внизу притихли.

— Не сметь разорять!

— Овсов это,— сказал кто-то и крепко, с вывертом, выругался.

— Не сметь! — в иступлении повторил Василий Ильич и сжал над головой кулаки, но покачнулся и, потеряв равновесие, упал. Почувствовав, как ползет под ним дранка, он с силой ухватился за оголенную жердь, но обломал ее и покатился вниз с обломком в руках. В последний момент, когда ноги уже ощутили пустоту, он услышал гроыхание пустого ведра. Оно обогнало Овсова...

Глава двенадцатая

ИЗ ЛУКАШЕЙ

Палата № 3, где лежал Василий Ильич, мало чем отличалась от других палат. Была она светлая, с желтыми полами, тумбочками и желтыми панельками на стенах. Тишина, скука и карболовый с примесью нашатыря запах не покидал ее даже при открытых окнах.

Но Василий Ильич быстро привык и к тишине, и к тупой боли в груди. Гораздо труднее было привыкать к шороху накрахмаленного халата сестры и надрывному кашлю соседа по койке. На ней лежал пчеловод из дальнего колхоза — мужчина одних лет с Овсовым, с впалыми щеками и лихорадочным блеском в глазах. У него были длинные, тонкие ноги с большими, плоскими, как доски, ступнями. Когда пчеловод кашлял, то пятки у него стучали о прутья кровати, как деревянные, и Василий Ильич каждый раз боялся, как бы он не задохнулся. Откашлявшись, пчеловод, хватая воздух частыми и мелкими глотками, говорил:

— А ведь не выживу, умру... Да, умру.

Потом он закрывал глаза и лежал неподвижно, теребя крючковатыми пальцами байковое одеяло.

Пчеловода аккуратно два раза в неделю навещала внучка — голенастый подросток с круглыми испуганными глазами. Входила она в палату на носках, с узелком, и боязливо оглядывалась. Тихонько поставив к кровати стул, она садилась спиной к Василию Ильичу и, развязав платок, выкладывала на тумбочку банки с вареньем и медом, лепешки с творогом, печенье. Пчеловод ее спрашивал о домашних делах. Отвечала девочка торопливо, не спуская глаз с окон, и поминутно повторяла:

— Дедушка, поправляйся скорее...

После ее ухода пчеловод угощал Овсова.

— На,— говорил он, подавая лепешку,— попробуй, должно быть вкусная... Ты не бойся. Моя болезнь не пристанет.

Василий Ильич, чтобы не обидеть больного, брал лепешку и, отломив крохотный кусочек, проглатывал его, как пилюлю. Лепешка липла к рукам и пахла подгоревшим творогом.

— Хорошая, должно быть на меду,— хвалил Василий Ильич, а потом долго под одеялом тер о простыню пальцы.

К радости Василия Ильича, сосед тоже не любил много говорить. За день они не произносили и десятка слов.

— Душно. Хуже мне. Дождь будет,— сообщал пчеловод.

— Будет,— соглашался Василий Ильич.

— Время-то... часа два...

— Не больше.

Тупое равнодушие сковало Василия Ильича. Он мог подолгу смотреть на печную конфорку. Конфорка на глазах вырастала до невероятных размеров и наконец заслоняла всю комнату. Тогда Василий Ильич переводил взгляд на ржавый подтек в углу. Он представлялся узором, который на глазах принимал все новые и новые формы: Василий Ильич то отыскивал в нем сходство с головой человека, то пририсовывал к нему целую картину. Если в это время приходила Марья Антоновна, Василий Ильич сердился. Марья Антоновна садилась в ногах и, по обыкновению, жаловалась, что она измучилась в Лукашах и что ей смотреть на все тошно. Василий Ильич, не слушая жену, смотрел в угол на подтек. И как-то однажды сказал:

— Так не годится... Надо ту сторону подзагнуть и пустить вниз пару витков...

— Василий, что с тобой? — испугалась Овсова.

— А так, ничего,— ответил Василий Ильич.— Скоро ты домой пойдешь?

Не обрадовался Василий Ильич, когда жена сообщила, что их дом отстояли. Он поморщился, как от боли, и безразлично сказал:

— Отстояли? Как же это?

Марья Антоновна стала подробно рассказывать, но Василий Ильич остановил ее:

— Ладно. Поправь под боком постель... Давит что-то.

Овсов выздоравливал. Теперь он все больше и горше думал. До рассвета он лежал с открытыми глазами и беззвучно шептал: «Как жить?.. Как жить?..»

Думы сменялись длинными и странными снами. Один из них запомнился Василию Ильичу... Он видел реку, вода в ней была черная, а по берегам стояли высокие белоствольные березы. Их раскидистые густые кроны заслоняли солнце, а сильные корни, как лапы огромной хищной птицы, крепко цеплялись за каменистый грунт. Василий Ильич, идя по берегу, увидел повисшую над водой березу. Своими искривленными толстыми суками она обхватила два соседних дерева и качалась между ними, купая в воде длинные корни. Обрывистый выступ, на котором стояло дерево, по-видимому, срыла в половодье льдина, но березу утащить не смогла. Береза еще жила, только листья у нее были вялые, как у ошпаренного банного веника. Василий Ильич долго находился под впечатлением этого сна.

Незадолго до выхода из больницы Овсова навестил Масленкин. Василий Ильич в сером фланелевом халате бродил по больничному парку — так называли здесь рощицу с двумя десятками кленов и лип. Василий Ильич присел на скамейку около клумбы, на которой уже отцветала лиловая гвоздика и начинали распускаться желтые георгины. Он не заметил, как подошел Масленкин.

— Наше вашим,— поздоровался Сашок и подсел к Овсову. Одет он был в синий костюм. Пиджак так плотно обтягивал плечи, что Сашок, боясь, как бы он не затрещал и не расползся по швам, сидел прямо, опустив руки, как перед фотографом. Зато брюки были слишком

длинные, и чтобы они не волочились, Сашок подвернул их внизу и заколол булавками.

— Эхма! — Сашок снял кепку. — Жарко-то как.

— Погода сухая. С уборкой как? — спросил Василий Ильич.

— Убираем. — Сашок помахал кепкой и повесил ее на сучок, потом вынул из кармана четвертинку.

— Завтра Спас Преображенья.

Василий Ильич усмехнулся:

— Кто рад празднику, тот накануне пьян.

— Да нет, не с чего, — вздохнул Сашок. — Да и с какой радости? Сам знаешь — горе у меня. В амбаре ютюсь с ребятишками. А какой дом был! Двух лет не прожил в нем. Ну, да что говорить, давай выпьем.

Василий Ильич сходил в палату за стаканом. Пили по очереди, закусывали луком и холодной говядиной. От водки и жары у Василия Ильича закружилась голова, тело обмякло, и приход Сашка, который и вначале был неприятен, стал невыносимо тягостным. Сашок же, наоборот, был не в меру болтлив. Он поминутно вытирал глаза и дергал Овсова за рукав халата. Говорил он бестолково — все об одном и том же — и совершенно не обижался на угрюмость Овсова.

— Шесть домов в Лукашах как не бывало. Если бы не пожарные машины из района, все бы подчистую выгорело. Твой дом удалось спасти... Вот я тоже барана продал. У Фаддея валенок украли... В валенке-то он деньги хранил, те, что Петр ему еще из города посылал. А у меня как сегодня получилось? Привез я мясо на базар. Не хотят клеймить и мясо продавать не разрешают... Говорят — давай сбой: может, он у тебя, баран-то подох. А печенку-то с легкими я дома ребятишкам оставил. Не ставят клеймо, хоть плачь. Назад в такую жару мясо везти? Меня инда пот прошиб. Ну, кое-как уладилось... Абарина-то судить за пожар будут.

Внезапно Сашок замолчал и долго тер лоб, словно вспоминал что-то.

— Строиться опять будешь? — спросил Василий Ильич, не потому, что это интересовало его, а так, между прочим.

Сашок мельком взглянул на Овсова и, тяжело упираясь ладонями в колени, проговорил:

— Разговоры в Лукашах, Василий Ильич, ходят: уезжать ты собираешься и дом продашь.

Овсов вздрогнул.

— Я давно хотел поговорить с тобой,— продолжал Сашок, не спуская глаз со своих парусиновых башмаков.— Не продал бы ты мне дом в рассрочку или пустил бы пожить, пока я обстроюсь?

Василий Ильич ответил не сразу и наконец, собравшись с мыслями и стараясь казаться веселым, сказал:

— Ну и люди. Уже дом покупают. Кто же эти слухи распускает?

— Марья Антоновна говорила. Сам слышал.

— Пока я хозяин дома. И продавать его не собираюсь,— резко ответил Василий Ильич.

Сашок встал и, виновато улыбаясь, протянул руку.

— За просьбу извини. Не по воле, а по нужде пришел.

Разговор с Сашком задел Василия Ильича и одновременно укрепил его решение. Только было неприятно, что в Лукашах про него много болтают и что жена не скрывает их планов.

«Незаметно, тихо нужно сделать это,— рассуждал Овсов, и в то же время был доволен, что нашел выход из трудного положения.— Буду ежегодно навещать Лукаши и жить лето».

В конце августа Василия Ильича выписали из больницы. Чтоб не встречаться с колхозниками, в деревню он подгадал прийти в сумерки. Марья Антоновна разбирала кровать, когда он постучался.

— Здравсте, явился наконец,— протянула она,— а я собиралась к тебе завтра с утра.

Василий Ильич умылся, сел за стол, Марья Антоновна поставила перед ним стакан и кринку молока. Овсов молча отрезал ломоть хлеба и, смахнув со стола крошки, сказал:

— Вот что, Маша, я думаю — надо собираться.

Марья Антоновна, скрывая улыбку, села рядом.

— Мне что? Я хоть сегодня.

— Ты что на меня так внимательно смотришь — не узнаешь?

Марья Антоновна засмеялась.

— Теперь узнаю. А вот когда только приехали сюда, не узнавала,— и, помолчав, как бы между прочим, она добавила: — Я и дом продала.

Василию Ильичу показалось, что он ослышался.

— Ты о чем это?

— Вот полюбуйся. Мы уже и договор с Михаилом Кожиным написали,— и Марья Антоновна положила перед мужем лист бумаги, исписанный прямым круглым почерком. Положила и рукой прихлопнула.

— Ты радуйся, что у тебя такая жена. Все удивляются: дом-то половину того не стоит, что я выговорила. Василий Ильич схватил бумагу.

— «Выговорила», «выговорила»! А этого не хотела? — и, сжав кулаки, он пошел на Марью Антоновну.— Кто хозяин дома, а?

Она встретила его, скрестив на груди руки.

— И я!

Овсов смял и бросил договор на пол.

Одно дело отказаться от мысли жить здесь, но поврать навсегда с деревней?.. Василию Ильичу стало жутко.

Марья Антоновна подняла бумагу, разгладила ее на коленке и, аккуратно свернув, положила в карман кофты. Она слишком хорошо знала своего мужа.

Так оно и получилось. Через день Василий Ильич с Михаилом поехали в районный поселок к нотариусу — заверить договор купли-продажи — и вернулись только к вечеру. Овсов был пьян и едва, с помощью Михаила, переставлял ноги. Увидев Марью Антоновну, он забормотал:

— Продал дом, Маша. Продал, конец всему. А ну, пусти меня! — неожиданно закричал он, оттолкнув Михаила.— Ты думаешь, я от вина пьян? Эх, вы! Разве я дом продал? Я себя продал! Свой род овсовский.

Марья Антоновна, поджав губы, брезгливо смотрела на мужа. А рядом стоял Михаил и, почесывая затылок, извинялся:

— Смочили малость. Дело-то какое. Ведь избу купил.— Он старался казаться огорченным, но никак не получалось. По его скуластому лицу расплзалась улыбка.

В среду Овсовы распрощались с Лукашами. Их повезли к станции на попутной машине. Провожал соседа сам Матвей Кожин. Вещей набралось — гора. Здесь были узлы, корзинки, два бочонка — с огурцами и с грибами. Когда к дому подогнули машину и стали выносить вещи, Марья Антоновна, зорко следя за погрузкой, жаловалась Кожину, что еще что-то хотела купить, да совсем забыла.

Матвей ухмыльнулся.

— Чего же еще надо? Вот разве поленницу дров. А что, Марья, не захватишь ли десяток плашек? Березовые, сухие, сгодятся.

— Не мешало бы, Матвей Савельич,— серьезно ответила Овсова.

Приехав на станцию, остановились около крошечного привокзального скверика с десятком кустов сирени и одинокой скамейкой.

Часть вещей оставили с Марьей Антоновной в скверике, остальные сдали в багаж. Заняв очередь за билетами, мужчины вышли на перрон. Здесь царили жара и скука. Солнце светило отвесно, упираясь горячими лучами в тесовые крыши вокзала, с которых, как шелуха, осыпалась краска. У входа в зал ожидания, на каменных ступенях, пристроилась цыганка. На груди у нее в платке висел ребенок. Цыганка ела булку, запивая ее квасом из бутылки.

В стороне, под жидкой тенью молодого дубка, обхватив руками портфель и шляпу, дремал худощавый человек. Около него вертелся цыганенок. Он то ходил на носках, то приседал на корточки, внимательно разглядывая лицо спящего. Человек неожиданно чихнул, цыганенок отскочил в сторону и затараторил:

— Дядя, дай денежку, дай! На животе спляшу.

Мужчина еще раз чихнул. Цыганенок подпрыгнул и заголосил:

Сковорода, сковорода...

В конце перрона помещался буфет. Кожин с Овсовым заглянули в приоткрытую дверь, подумали и молча вошли. Буфетчица, зажав между коленями насос, с грохотом накачала две кружки пива.

Василий Ильич, отхлебнув глоток, грустно улыбнулся:

— Ну, вот теперь, Матвей Савельич, кажется, все. Последние часы я здесь.

Кожин, потягивая пиво, пытливо взглянул в глаза Овсова.

— Как дальше жить думаешь?

Василий Ильич склонился над столом.

— Пенсию буду хлопотать.

— А лет-то хватит? Выработал?

— Нет, пожалуй, не хватит. У меня большой перерыв был. Тяжело мне.

Кожин опорожнил кружку.

— Тяжело, говоришь? Это верно, — и он неторопливо расстегнул пиджак, вынул из кармана лист, свернутый в трубку.

— На, возьми и порви договор. Деньги-то еще не все выплачены, а что взял — вернешь Михаилу помаленьку.

Василий Ильич взял договор, машинально развернул его и долго держал развернутый лист, о чем-то думая. Потом свернул его и подал Матвею.

— Матвей Савельич, деревня-то не та.

Матвей не ответил. Василий Ильич перегнулся через стол, схватил Кожина за рукав и начал торопливо и бессвязно убеждать, что в Лукашах жить нет интереса, что здесь так же беспокойно и хлопотно, как и в городе. Матвей, слушая его, мрачнел. А когда Василий Ильич выдохся и с пугливой улыбкой взглянул на него, Матвей запрятал договор глубоко в карман.

— Как хочешь. Смотри, тебе виднее. Только ты знаешь, что Мишка твой дом сроет?

— Как сроет?!

— Новый будет строить. Ты думаешь, он твоим домом прельстился? За усадьбой он погнался. Да и то, правду надо сказать, что лучше твоей усадьбы в Лукашах не найти. Сухая. Мишка-то боялся, как бы кто другой не перехватил. Да и я доволен. Сын ведь мне. Рядком будет жить... Да... Сроет он дом.

— Сроет... — как эхо, отозвался Овсов, и перед глазами закачалась вывороченная с корнями береза. «Повис, повис», — прошептал он и, уронив на стол голову, заплакал.

Двое за соседним столом насторожились. Матвей осторожно встал и, взглянув на вздрагивающие плечи Овсова, вышел на улицу.

Солнце медленно закатывалось за плоскую крышу элеватора. По платформе прогуливались две девушки. Заложив руки с портфелем за спину, ходил тощий человек в шляпе. Ноги он ставил так осторожно, как будто боялся оступиться и провалиться в яму.

Далеко раздался гудок паровоза. Рельсы дзинькнули и стали отсчитывать короткие щелчки. К линии вышел дежурный с жезлом. Шум подходившего поезда

нарастал. Из-за поворота вынырнул паровоз и, выбрасывая охапками густой дым, устремился к станции...

Промелькнул последний вагон длинного состава, а за ним в вихре неслись обрывки бумаг, сухие листья. Девушки стыдливо зажимали коленями подола своих легких платьев, цыганенок стоял с широко открытым ртом.

Паровоз все еще гудел. Но теперь его густой, трубный голос звучал приглушенно. Он разносился по полям, подернутым синеватой дымкой, по утомленным от жаркого солнца лесам. Затихающий протяжный отголосок висел в теплом вечернем воздухе.

Но вот и эти звуки смолкли, и рельсы перестали стучать. И стало опять тихо и грустно, как это всегда бывает после прошедшего поезда. Матвей Кожин вздохнул, поправил на голове фуражку и пошел разыскивать попутную машину.

Глава тринадцатая

ЕЩЕ ОДНА БЕССОННАЯ НОЧЬ

День начался так же, как и все предыдущие...

Фаддей встал чуть свет. Налил в бутылку молока, отрезал увесистый ломоть хлеба, сложил все в сумку от противогаза. Потом стал не торопясь снаряжаться. Поверх рубахи надел жилет на заячьем меху, на жилет — ватную фуфайку... Подпоясавшись ремнем, старик превратился в бочонок, туго перехваченный обручем. Кнут из-под лавки он достал кочергой. Прежде чем уйти, тихо приоткрыл дверь в горницу...

На кровати, свернувшись клубком, спал Петр. Голову он неудобно согнул, колени подтянул к подбородку. На красной подушке, из углов которой торчали перья, дремал кот. Фаддей взял кота за шиворот и сбросил на пол, а подушку подsunул сыну под голову. Петр обнял подушку и носом ткнулся в ее угол. Перо попало в ноздрю — Петр громко чихнул и открыл глаза. Увидев отца, он приподнялся.

— Что?.. Что случилось?..

— Спи... Я еще скотину не выгонял...

— А-а-а...— Петр зажмурился и, ухватясь за спинку кровати, потянулся.

Полежав минут пять, он спрыгнул на пол, в одном нижнем белье подбежал к окну и долго стоял, прижавшись к стеклу лбом.

Красавица осень догуливала свои последние деньки. Она уже порядком таки пообтрепалась и теперь нехотя сбрасывала свои яркие лохмотья. Гасли желтые факелы берез, ивняка ошетинился тонкими голыми прутьями, догола разделлись серые искривленные стволы ольхи, как опаленные торчали стебли крапивы, придорожные канавы, усыпанные листьями, запаршивели. И только загорелые длинные сосны, как и летом, высоко над домами подхватывали своими лапами жиденькую синь неба с редкими облачками.

— Тринадцатое октября,— прошептал Петр.— Тринадцать — чертово число. А я,— и он стал припоминать,— тринадцатого поехал на фронт... Тринадцатого демобилизовался... И тринадцатого меня избрали председателем... Посмотрим, как будет сегодня..

Сегодня завод должен был дать свою первую продукцию.

Петр быстро оделся. Заправил кровать — на подушку с простынями набросил одеяло. Потом подмел пол — разогнал веником мусор по всем углам избы. Завтрак его состоял из двух блюд: молока с кашей и молока с хлебом. Других блюд еще не успели наготовить, потому что соседка, которая их готовила, только что затопила печь. Петр видел, как по крыше ее дома стлался сизый дымок.

Петр пришел в правление, включил приемник и прослушал последние известия. Потом навел порядок в шкафу и в ящиках стола. Листая журнал «Молодой колхозник», наткнулся на заявление Овсова. Смял заявление и вместе с бумажным хламом запихал в печку. Все это он делал машинально, в мыслях о заводе. Все прежние тревоги, в том числе и тревога за лен, расстил которого колхоз безобразно затянул, померкли: их заглушила тревога за сегодняшний день. Максим Хмелев сказал, что первый блин может быть комом. А он, Петр, не хотел этого кома... Особенно Петр боялся за качество обжига. Обжиг глины должен был проходить при температуре около тысячи градусов. Сможет ли печь дать ее? Об этом беспокоились и сам Матвей, и Журка, и

даже Лёха Абарин. Печь топили только березовыми дровами, которые были заготовлены с лета и высушены, как порох. За печкой наблюдали круглосуточно.

«Сегодня все решится...» — стучало в голове председателя.

О дне выемки первой партии кирпича секретарь райкома просил известить его. Просил об этом и директор МТС. В том, что Максимов искренне желал ему удачи, Петр не сомневался, и в то же время боязно ему было: а что, если... провал? В искренности директора он сомневался...

Три дня спустя после памятного бюро в колхоз на полуторке приехал сам директор и привез с собой ремонтников.

— Ну что, пожаловался? — спросил он. — Эх вы, молодежь... Выдержки никакой нет... Разве я против завода? Я сказал, что помогу, вот и приехал помогать. Какая тут дорога? Какой завод? Давай их сюда.

Двое суток директор МТС не вылезал из Лукашей. Руководил работой и даже сам копал ямы под столбы. Уезжая, предъявил командировку и еще потребовал расписку, что работа выполнена в срок, добросовестно и со стороны колхоза претензий не имеется.

— Я сроков не назначал. А зачем расписка? — спросил Петр.

Директор ответил вопросом:

— А если не скажу, то не дашь?

Петр засмеялся и написал, что работа выполнена хорошо.

— А на открытие завода, смотри, пригласи, не забудь, — сказал директор и заторопился поскорее уехать.

«Для приличия сказал... Не придет... Дай позволю, — Петр крутнул ручку телефона, но трубку не снял. — А что, если придет? Обязательно придет — порадоваться моему провалу».

Пришел счетовод и выложил перед председателем кучу бумаг. Петр начал читать какой-то акт, но ничего не понял. Прочитал еще раз и опять не понял.

— Да что это такое? — воскликнул он и отшвырнул акт в сторону. — Давай, что еще там.

Счетовод подsunул на подпись поручение с банковским чеком. Петр, не глядя, подписал.

— Петр Фаддеич... — простонал счетовод. — Последний чек, и тот испортил!

— Почему испортил?

— Не так расписался. Я постоянно твержу: на чеках надо расписываться одинаково. А вы как маленький...

— А вы бюрократы дохлые! — раздраженно крикнул Петр и выбежал на улицу. Вскочив на велосипед, он погнался за Лёхой.

— «Как маленький»... Учитель нашелся, — всю дорогу бормотал Петр. Его злило не то, что сказал счетовод, а то, что тот даже не вспомнил о заводе. Подъезжая к Лому, Петр немного успокоился, но когда увидел Лёху Абарина, спавшего около печки под полушубком, чуть не задохнулся от гнева. Сбросив с Лёхи полушубок, он принялся что есть силы трясти бывшего председателя. Обалдевший Лёха вскочил на ноги.

— Спишь... Спишь... — зловеще прошипел Петр.

— А чего делать? — лениво протянул Лёха.

— «Что делать?»! «Что делать?»! А кто за топкой будет смотреть? У-у-у! Черти!

Лёха равнодушно ответил:

— А чего теперь за ней смотреть?.. Со вчерашнего дня не топим.

Петр заглянул в топку. Она была вся темно-малиновая и, словно пухом, одевалась белым пеплом. Чтобы поправить свое поведение перед Лёхой, Петр спросил:

— Как ты думаешь, Алексей Андреич, долго она будет остывать?

— К вечеру должна остыть.

— А что Максим говорил?

— Максим то же говорил: вечером выставлять будем.

— Так и сказал?

— Да, так говорил... А кто его знает — может, и не остынет...

Петр брезгливо посмотрел на Лёху и, не сказав больше ни слова, поехал в Лукаши. Острое ощущение злости пропало, осталось раздражение, тупое и ноющее.

«Вот взять хоть этого Абару... Сам строил завод, а говорит: «Не знаю, может, и остынет...» Да разве он болеет за него? И все такие, ко всему равнодушные. Как будто это мне одному надо. Я же для них стараюсь...»

Председателю хотелось встретить человека, который бы сказал: «Переживаешь, председатель... Ничего, ничего, потерпи, — все будет хорошо!» Как он хотел этих

слов! Но никто его, казалось, не понимал, и каждый тянул свое. Когда он заехал к Матвею в кузницу, тот даже словом не обмолвился о заводе и с полчаса толковал ему об испорченном горне и о подковах. Конь тоже ничего не нашел другого, как завести долгую и нудную беседу о силосе и клевере. Случайно Петр забрел в конюшню и увидел там Екима. Старик чинил хомут, наверное, вдвое его старше и до того ветхий, что если б его ударили об угол, от хомута остались бы пыль да веревки, которыми он весь был перетянут. Петр подсел к Екиму и осторожно заговорил:

— Как ты думаешь, дедушка Еким, хорошая это штука — кирпичный завод для колхоза?

— Знаю, дело хорошее, коль пойдет...— не договоришь, Еким стал искать шило.

Петр тупо посмотрел на старика и процедил сквозь зубы:

— Брось эту рухлядь!

— Никак, ты говоришь — лось пухнет?— переспросил старик.— Где? В болоте?

— Хомут!— крикнул председатель.— Чинить еще такую рвань! — Схватив хомут, Петр выбежал из конюшни и, размахнувшись, бросил в канаву, потом, не простясь с Екимом, поехал куда глаза глядят.

Еким покачал головой и, обращаясь к жеребцу, сказал:

— Вот как без бога жить. Видишь, как черти его одолели. Так и шпыняют, так и шпыняют под бока...

До пяти часов вечера Петр бесцельно бродил по Лукашам. Председателя останавливали, о чем-то спрашивали, и он что-то отвечал. Но кто спрашивал и что он отвечал, Петр не помнил.

После того вечера он старался избегать встреч с Ульяной. Ульяна же сменила свою любовь к председателю на лютую ненависть. Когда мимо нее с опущенной головой прошел Петр, она отвернулась и громко сказала:

— Шляются тут разные, малохольные!

В конце концов Петр не выдержал и сам пошел к Максиму. Когда он открыл дверь, ему показалось, что в доме щепают дранку. Петр боязливо переступил порог и увидел на кровати спящего Максима. Тот храпел, открыв рот и уставив в потолок бороду. Петр чуть не заплакал.

— В такой день спать, да еще так бессовестно храпеть!

Он сел на лавку и стал ждать. Прошло пять минут... десять... Нервы председателя натянулись до стона; еще немного — и они бы не выдержали. К счастью, в это время вошла хозяйка — Татьяна Корнилова. Она бесцеремонно взяла Максима за бороду и подняла с кровати.

— Максим Степаныч, скоро будем начинать?— робко спросил Петр.

— Чего начинать?— зевая, спросил Максим.

— Кирпич... Кирпич выставлять. Да что вы все позабывали!

— Зачем забывать... Успеем вынуть. Не торопись, Фаддеич... Сейчас редьки поедем... Потом чаю поьем..

«Ешьте редьку, чай пейте, теперь мне все равно. Если уж вы такие, то и мне на все наплевать... Зачем я только связался с этим заводом?»— Петр почувствовал себя одиноким, всеми покинутым человеком.

Он ел с Максимом редьку, пил чай с медом... Потом они пошли на Лом. Всю дорогу Петра не покидало сознание горького одиночества. «Наверное, больше никто и не придет, кроме нас, Журки и Лёхи»,— думал он. До самого завода на дороге действительно никто и не появился. Однако когда они свернули к заводу и за кустами послышался многоголосый говор, сердце у него екнуло... Он ошибся: пришли почти все. Даже старый Еким приплелся. Он стоял в толпе и, приставив к уху ладонь, на каждый звук, как воробей, поворачивал голову. Когда Петр с Максимом подошли, все расступились, пропустили начальство, а потом опять тесно обступили печь, напоминавшую огромную кучу хвороста. Такие печи, типа лукашевского заводика, обычно глубоко зарывают в землю. Для сохранения жары во время обжига сверху они заваливаются бревнами, сучьями и даже травой.

— Срывай!— скомандовал Максим.

Печку очистили от древесного хлама. Максим натянул рукавицы, взял лом, перекрестился и легонько стукнул. Лом не отскочил и даже не звякнул.

— Глина!

— Глина, глина,— зашумели мужики.

— Это ничего!— крикнул Сашок.— Всегда так бывает. Видишь, какая толщина. Разве ее нашими дровами прожжешь...

Сняли первый ряд, за ним счистили второй, принялись за третий... и все глина... Ноги у Петра обмякли. Не в силах больше стоять, он отошел в сторону и присел на камень... Все в нем как будто онемело — и мышцы, и мозг. Продолжал еще действовать только слух. Он словно даже обострился.

— Плохо топили...

— Печка не годится.

— Плакали наши денежки...

— Сплоховал Фаддеич...

И вдруг голос Журки:

— Недожег пошел!..

Петру подали алого цвета кирпич. Он повертел его и тихонько стукнул. Раздался дребезжащий звук. Он ударил сильнее — кирпич развалился пополам...

Четыре ряда недожога сняли. Мужики примолкли. Только изредка слышался голос Кожина:

— Тише клади. Не бей... Пойдет на кладку печей — там все обожжется.

Петр сидел сгорбясь, вздрагивая при каждом взгляде, и боялся поднять голову. Его вывел из оцепенения глухой бас Максима.

— А ну, председатель, смотри этот!

Петр подбежал к Максиму и протянул руки.

— Осторожней, грабли сожжешь, — предупредил Максим.

Кто-то подал рукавицы. Петр кое-как надел их и осторожно взял двухкилограммовый брус. Он отошел с ним далеко в сторону. Брус имел настоящий кирпичный цвет. Петр стер полоски копоты носовым платком. Потом хотел испробовать кирпич на прочность, но раздумал, положил его на колени и стал гладить, приговаривая:

— Горячий... горячий... какой горячий...

А сзади шумели, кричали, спорили:

— Такого кирпича и на настоящем заводе не выпечешь...

— Ну, там лучше...

— Теперь мы кирпича гору наготовим! — кричал Журка.

— Ровно держи носилки, не тряси. Клади осторожней... Клетку, клетку закладывай, — распорядился Матвей.

— Я теперь не жалею, что погорел... Новый дом

построю, кирпичный!— торопясь, чтобы не перебили, го ворил кому-то Сашок.

— Торговать надо... Обязательно торговать. Теперь колхозу деньги — лопатой гребь,— говорил Лёха Абарин. — Ясно, будем торговать! Дела теперь пойдут!

Петр встал. Кто этого добивался? Он хотел во весь голос крикнуть: «Я! Для вас! А вы мне не верили...» Но ничего не сказал, сунул кирпич под пиджак и, поддерживая его локтем, незаметно ушел.

Эту ночь Петр не спал. Он бродил. Никогда ему не было так легко, как сегодня. Все тяжелое — и тревоги, и пожар, и своя неустроенная жизнь — словно свалилось с него, все поглотила темнота октябрьской ночи... Было странно легко. Ноги несли сами где попало: по мокрой траве, по кустам, по грязи, а Петру казалось, что ходит он по своему колхозному саду, среди яблонь, слив, глотает их аромат. Жидкий, низкорослый ивняк представлялся ему смородиной, крыжовником, корявые ольхи — вишнями... И среди них мелькали веселые лица лукашан. Их было много!.. И все они улыбались председателю...

Петр не заметил, как взошла луна, как она поднялась и, обогнув лес, повисла над Лукашами. Он сильно промок, но не чувствовал холода: за пазухой лежал шершавый, давно остывший, но греющий душу кирпич.

Остановил председателя крик петуха.

— Петух... Почему петух?— спросил Петр и взглянул на часы. Полночь. Петр усмехнулся, поправил фуражку и пошел домой.

Луна бесцеремонно заглядывала в окна лукашан. Ее мутно-белый свет, казалось, заморозил землю.словно схваченная инеем, блестела трава. Вода в реке остановилась и тоже побелела, как будто ее сковало льдом. Мрачно взирал на освещенный луною мир чей-то старый заколоченный дом. Он был темен и глух. Петр остановился и погрозил ему кирпичом.

— Расколотим и тебя! Слышишь ты, расколотим!

НАДЕНЬКА ИЗ АПАЛЁВА

АПАЛЁВО

Апалёво — село в три десятка домов на берегу реки Итомли. Дома крепкие, приземистые, стоят тесно, почти касаясь друг друга серыми нахлбученными крышами. А вокруг, куда ни глянь, поля, перелески и опять поля. Как-то, листая старый журнал «Наша охота», я наткнулся на заметку, в которой рассказывалось о том, как медведи из казенных апалёвских лесов драли крестьянский скот. А нынче... На месте лесов вырубки с густо засевающим малинником, непролазным березняком, кривоногой ольхой и чахлым осинником. И только среди болота остался небольшой островок с высоченными соснами, строгими, печальными елями и богатыми глухариными токами.

Дом Кольцовых попятился на задворки, сломал ровный порядок села и стоит особняком — большой, старый и несуразный. Это две сдвинутые избы под одной крышей, с сенями посредине и громоздким мезонином. Сбоку дом похож на заброшенный дровяной склад, с фасада он глядит на мир как огромная больная птица. Нижние венцы сгнили, рассыпались, отчего дом вогнулся внутрь, словно подобрал живот, с боков же его, наоборот, разнесло, мезонин с крыши свесился и пристально смотрит на землю, как бы выбирает место, куда бы ему поудобней свалиться.

Я снимаю угол в этом мезонине. Хозяева живут внизу, подо мной, в передней избе; задняя служит кладовой для рассохшихся бочек, ломаных ящиков, мешков и никому не нужного хлама.

Каждое утро я просыпаюсь от шумной возни и гортанного крика неугомонных галок, расселившихся по длинному карнизу обширного кольцовского дома.

Солнце уже давно поднялось с болота, сжалось в кулак и насквозь прожигает крошечное окошко. В мезонине светло и жарко.

Распахиваю окно в сад. Одичавший сад подсыхает. Над яблонями струится чуть заметный парок, смородина роняет на землю крупные капли росы.

На колченогой скамейке сидит хозяин. На нем валенки, красная рубаха и рыжая шляпа с обкусанными полями.

В открытую калитку с улицы корова просунула комолю голову и смачно облизывается. Корова смотрит на хозяина, он — на корову, и оба молчат. Но вот корова, вытянув шею и стеганув себя по бокам хвостом, направляется к капустным грядкам. Хозяин смотрит ей вслед и жмурится.

— Доброе утро, Алексей Федорыч! — кричу я.

Хозяин поднимает голову и вопросительно смотрит, раскрыв беззубый рот.

— Чего ты говоришь-то?

— Доброе утро...

Алексей Федорович смотрит пристально на небо. Потом опять на меня.

— Куда ж еще лучше... Вот ведь я в одной рубахе — и тепло.

На крыльцо выбегает хозяйка Ирина Васильевна и заводит нараспев, речитативом:

— Ляксе́й, идо́л... леши́й... лодырь ока́янный, че́го же ты делае́шь?..

— Как «чего»? — удивляется Алексей Федорович. — С человеком разговариваю.

Ирина Васильевна делает вид, что ищет палку.

— Я тебе сейчас поразговариваю, облень несчастная! Видишь, корова капусту топчет.

Алексей Федорович равнодушно смотрит на корову:

— Ну так что ж?

Ирина Васильевна подскакивает к нему и дергает за рукав:

— Выгони... Сейчас же выгони... Не то самого из дома выгоню.

— Вот ведь проклятая. Кормлю, кормлю, а ей все мало. — Он нехотя поднимается, идет выгонять корову.

Супруги Кольцовы доживают свой век на пенсии. Алексею Федоровичу за семьдесят. Ирине Васильевне немного меньше. Он маленький, розовощекий, добродушный старичок. Она сгорбившаяся, как надломленный сучок, старушка. Ирина Васильевна все спешит, торопится. За день она успевает переделать тысячу дел, а

вечером сокрушается, что еще столько дел не переделано. Алексей Федорович, наоборот, не разбежится. Движения у него мягкие, ленивые, безвольные, словно он не по земле ходит, а плывет в каком-то полудремотном сне.

— Такой уж отроду вышел, — жаловалась мне Ирина Васильевна.

Двадцатилетним парнем Алексей Кольцов привел в свой дом из соседнего села шестнадцатилетнюю Иринушку и взвалил на ее плечи все хозяйство.

— Ходить бы Лехе Кольцову без порток, кабы не жена, — судачили в Апалёве. — Не баба, а паровоз. Одна на себе дом тащит.

И она тащила, не разгибаясь. Да и когда было разогнуться, разве что ночью в постели. Все мало, все надо было Ирине Васильевне. Хозяйство из года в год росло: появилось три лошади, жнейка, льномялка. Мало: Ирина Васильевна мечтала о молотилке.

— На кой лях мне эта молотилка с мялками? Ничего мне не надо! — ругался муж.

Впрочем, он оказался прав. Не надо было ни жнеек, ни молотилок — ничего! Во время коллективизации Кольцовых причислили к кулакам и все отобрали. Хотели было сослать, да раздумали и приняли в колхоз на исправление с испытательным сроком.

Алексей Федорович, до смерти боявшийся колхоза, неожиданно облегченно вздохнул. Под властной рукой Ирины Васильевны он был рабом труда, в колхозе же, к своему изумлению, почувствовал себя хозяином труда. Здесь никто его не погонял и не ругал. То, что нужно было сделать обязательно сегодня, Алексей Федорович со спокойной душой откладывал на завтра.

Ирина Васильевна — наоборот. Она как вырвалась на первой весенней борозде вперед, так уже ее никто и не смог обогнать. Она стала первой ударницей в селе, первым делегатом на слете колхозников, постоянной участницей всех выставок, и она первой в колхозе получила пенсию.

Мне она так говорила:

— Вот ведь мой-то — как карандаш, и щеки что клюковка. А я словно коромысло. А почему? Потому что он умней меня. А я дура баба. Все-то мне больше всех надо было. Как сейчас помню, дергаем лен, наперегонки. Справа соседка Наталья, слева Матрена Никитина. А я посредине гоню. А ты знаешь, что это за рабо-

та? День-деньской на ногах и согнувшись, как крюк. От льна глаза заволоклет зеленью, а я все жму и жму. Искоса взгляну на Матрену — догоняет; еще сильнее поднажму. А в глазах уже не зелень — кольца огненные плавают. Остановишься — спину не разогнуть; страшно, как бы пополам не переломиться. Вот так домой и ковыляешь, как коромысло, и подымалку руками придерживаешь, чтоб с пояса не свалилась. А гордость все равно распирает: опять Наташку с Матреной обогнала. Вот ведь дурость-то какая.

— Это не дурость, а характер, — возразил я.

Ирина Васильевна махнула рукой:

— Ну какой там характер, глупость одна. — Но, подумав, согласилась: — Может, и характер... Вот у Наденьки-то, внучки, тоже мой, беспокойный, характер. Только он у нее по другой линии пошел, по общественной. Дома по хозяйству палец о палец не стукнет, а для общества лоб разобьет...

НАДЕНЬКА

С Наденькой я познакомился раньше — весной.

Приятель, страстный охотник, уговорил меня съездить в Р*** район, в деревню Апалёво, на глухарей. В условленный день и час в полном снаряжении я был на вокзале. Но приятель на этот раз подвел меня. Я поехал один и к вечеру прибыл в Апалёво. На ночлег к Кольцовым охотно согласилась проводить меня остроглазая, шустрая девчонка. Всю дорогу она тараторила без умолку:

— Они, дяденька, всех пускают ночевать. И денег за постой не берут. А дом-то у них ужасно пребольший. Две большие избы и одна маленькая, только они в маленькой не живут. Денег-то, смотрите, им, дяденька, не давайте, а то обидится бабушка Ирина. Они хотя и богатые люди, а добрые. — наставляла меня девчонка. Она шла впереди меня, волоча по жирной грязи, как лыжи, грузные сапоги. На ее узких плечиках висело плюшевое пальтишко, сшитое с расчетом на вырост.

Встретили меня Кольцовы весьма странно. На мое «здравствуйте» никто не ответил. За столом сидел старичок и дергал за кончик свою узкую бородавку. Около печки старуха, согнувшись пополам, толкла в чугуне

картошку. Я стоял на пороге с шапкой в руках и ждал. Старуха подняла голову:

— Что ж зря стоять-то? Скидывайте одежду, вешайте на свободный гвоздь. Вот как приберусь, так и заужинаем. Аль самоварчик поставить?

— Неплохо бы,— охотно согласился я.

После сырой, промозглой погоды здесь, в теплой избе, насквозь пропахшей квашеной капустой, меня прохватил приятный озноб.

Я разделся и подсел к старичку. Он, не переставая улыбаться, смотрел на меня, потом через стол протянул руку и представился:

— Алексей Федорыч Кольцов.

Я поспешно вскочил и невнятно пробормотал фамилию. Старик, кажется, не обратил на это никакого внимания и продолжал дергать бородку и улыбаться. Не зная, как начать разговор, я тоже стал улыбаться и подмигивать:

— Ну как глухари-то, поют?

Алексей Федорович перегнулся через стол:

— Чего ты говоришь-то?

— Глухари, наверное, всю поют,— громко повторил я.

— Не понимаю, о ком ты говоришь,— Алексей Федорович махнул рукой, отвернулся к окну и стал пристально смотреть на затянутую сумерками улицу.

— Ты, товарищ, пройди на чистую половину. А с моим стариком не разговоришься,— сказала хозяйка.

«Чистую половину» от кухни отделяла дощатая перегородка. Просторная комната была обставлена дорогой светлой мебелью. Стены, оклеенные бархатистыми лиловыми обоями, были совершенно пустыми. Только над невысоким книжным стеллажом висела картина в черной рамке под стеклом. Она поразила меня своей простотой и отменным вкусом. На ней был изображен вечер в горах: слегка подсиненный снег, а на нем густые синие тени от нависших скал и низкорослых елей. То, что картина была редкой, и то, что писал ее не русский художник, не вызывало сомнения. Но как она могла попасть в Апалёво? Я присел на диван, задумался и не заметил, как уснул.

Хозяйка разбудила меня ужинать.

Я прикусывал мягкий ржаной хлеб, пил молоко. Хозяйка — чай. Алексей Федорович, держа обеими руками

блюдец, звучно прихлебывал и поминутно вытирал ладонью лысину. Когда он в третий раз потянулся к самовару с чашкой, Ирина Васильевна молча дала ему по рукам и перевернула чашку вверх дном. Алексей Федорович обиженно посмотрел на нее, потом на меня, хотел что-то сказать, но раздумал и, махнув рукой, вылез из-за стола.

Я вспомнил о картине и спросил о ней хозяйку.

— Австриец оставил,— сказала она.— В войну у меня ихний полковой доктор стоял. А уж как по-нашему-то калякал, другому и русскому так не сумеет. Меня-то он не иначе как только Ириной Васильевной величал.

Я усмехнулся:

— Чем же он был хорош?

Ирина Васильевна поджала губы, взяла шипцы и стала мелко колоть сахар.

— Помню, сидим мы как-то, да вот как с тобой. Я его и спрашиваю: «Что ж вы будете делать-то с нами, как всех завоюете?.. Небось колхозы распустите, немецкую барщину установите?» А он на мои слова грустно-грустно усмехнулся и говорит: «Не надо мне вашей земли. Зачем она мне? И войну я ненавижу, и в победу не верю». От этих слов мне сердце так и сжало, но я совладала с собой, подавила радость и пытаю: «Пол-России прошли и в победу не верите?» — «Нет, не верю,— говорит он.— Предчувствие у меня такое». А сам все ходит и ходит по комнате, ровно места себе не найдет. Остановился около карточки Мишеньки моего. Он у меня в то время уже в командирах ходил, так и был снят в форме. Долго рассматривал немец карточку, потом снял ее со стены и подал мне: «Поберегите,— говорит,— от лихого глаза. Ко мне разные люди ходят...» А потом он скоренько уехал, а картинка осталась. Может, забыл, а может, сам оставил... А всем скажу, не побоюсь: добрый, душевный был человек. Надьку, внучку мою, от смерти спас. Десять годков ей тогда было. На стоячую косу она у меня наскочила и располосовала лицо от виска до шеи. Вся бы кровью изошла, кабы не он. Кровь он кое-как остановил да на машине в свой госпиталь отвез. С той поры у Наденьки шрам на всю жизнь остался. Я так думаю: потому-то и женихи ее обходят. А девушке двадцать пятый годок пошел,— вздохнула Ирина Васильевна.

— А где же она? — спросил я.

— В соседней бригаде картину крутит. Она в колхозе механиком по кино.

Наконец я решился заговорить о цели приезда.

— Да какие ж теперь у нас глухари! Лес-то весь повырубали. Разве что за болотом, в сухом долу, остались.

— А как туда пройти?

— Одному не пройти,— возразила Ирина Васильевна.— Вот разве что внучка согласится проводить.

— А когда она придет?

— К двенадцати аль к часу явится.

Я посмотрел на часы: еще не было и девяти.

— А вы ложитесь и спокойно отдыхайте,— посоветовала Ирина Васильевна.

А что еще оставалось делать? Хозяйка принесла раскладушку и раскинула ее здесь же, на кухне. Я скорчился под легким, байковым одеялом, проклиная в душе глухарей и приятеля.

Проснулся я от толчка в плечо. Около меня стояла высокая девушка в резиновых сапогах, ватных брюках и фуфайке, туго перехваченной ремнем-патронташем.

— Вставайте, пора, четвертый час.

Я вскочил и стал торопливо натягивать болотные сапоги.

Наденька села на табуретку, поставив меж колен ружье. Одеваясь, я украдкой поглядывал на девушку. Она смотрела перед собой в одну точку, сдвинув острые брови и плотно сжав сухие губы. Как я ни пытался, а шрама не увидел. Он был прикрыт опущенными ушами зимней шапки.

Прямо с крыльца мы нырнули в глухую темень, как в бездну. Я на секунду оторопело зажмурился, а когда открыл глаза, темень, казалось, еще больше сгустилась. Я сделал десяток неуверенных шагов и уткнулся в забор. Забор покачнулся и глухо треснул.

— Сюда, сюда шагайте! — крикнула Наденька.

Я свернул на голос и стал осторожно пробираться вдоль забора. Глаза начали постепенно привыкать к темноте, ноги нащупали упругую тропинку, по ней я вышел в поле и догнал Наденьку.

Дорога вела через вспаханное поле; прихваченная морозом, она гулко звенела под ногами. Сквозь густую, как тушь, мглу едва проглядывали звезды. Наденька шла впереди легким размашистым шагом. Вскоре поле

кончилось. По вырубленным в земле ступеням спустились с крутого берега к реке. Паводок только что начался. Но вода уже захлестывала лавы — два тонких бревна, перекинутых через реку. По ним мы перебрались на противоположный берег. Пройдя метров двести, свернули в болото и сразу же по колено ухнули в жидкий зернистый снег. Таким образом мы двигались с четверть часа. Ноги без малейших усилий, с хлюпаньем, как поршни, входили в снег, но с каким трудом приходилось их оттуда вытаскивать! Пот ручьями стекал за ворот, в ушах стоял беспрерывный протяжный звон, подмывало желание упасть в снег и так лежать не шевелясь, без движения. А Наденька, размахивая шапкой, упорно ползла и ползла вперед. Но вот и она не выдержала. С криком: «Ой, не могу!» — упала в снег, широко разбросав руки.

— Ну как, охотничек, дышите? — смеялась Наденька.— Уж я вас сегодня так вымотаю, что детям закажете ходить по глухарям.

— Я не из жидких.

— Посмотрим.

Вырвавшись из снежного плена, попали в залитое водой болото. Порой вода поднималась выше колен. Но идти было легко, хотя и опасно: под ногами лежал крепкий скользкий лед. Потом с полчаса пробирались по вязким мшистым кочкам и, с трудом форсировав бурливую, с глубокими ямами лесную речушку, вышли на твердый шершавый берег. Впереди стояла высокая темная стена леса, жутко молчаливая и таинственная. А сзади, бурча и поплескивая, бежала по косогору речка.

Ночь постепенно бледнела, звезды терялись, сквозь грязно-серую муть неясно проступали голые стволы сосен.

Медленно, осторожно продвигались мы по узкой обледенелой тропинке в глубь леса. Наденька поминутно оглядывалась на меня, шипела, грозила пальцем. Внезапно она резко остановилась, вытянула шею и вся подалась вперед. Я тоже замер. Наденька повернула ко мне лицо и, задыхаясь, прошептала:

— Поет!

Я же, кроме гулкового стука сердца и тупого звона в ушах, ничего не слышал. Наденька вытянула руку в сторону, где играл глухарь.

— Там, у Черного ручья.

Я переступил с ноги на ногу, чтобы ослабить нерв-

ное напряжение, и стал прислушиваться. И в этот же миг уловил чуть слышное «тэк-тэк-тэк», словно кто-то за кустами легонько постукивал по спичечному коробку.

Я метнулся с тропинки, сделал два огромных прыжка и остановился как вкопанный. Рядом со мной тяжело дышала Наденька.

Сколько мы сделали таких перебежек, не помню. Но когда я, зацепившись за колдобину, плашмя растянулся на кустах можжевельника, то услышал и второе колено песни: глухарь сыпал частую дробь, шипел и фыркал. Оно продолжалось недолго, каких-нибудь пять-шесть секунд. Но эти секунды самые блаженные как у глухаря, так и у охотника. В эти секунды глухарь, выражая любовную страсть, теряет рассудок. Охотник же в каком-то необъяснимом экстазе, словно в лихорадке, поднимает ружье. Зачем? Мясо у глухаря весной жесткое и постное. Но эта благоразумная мысль пришла ко мне значительно позже. А сейчас я лежал ничком на колючем можжевельнике и дрожал от нетерпения.

Глухарь играл одну песню за другой. Мягко шаркая крыльями, пролетела глухарка и села неподалеку на кривобокую, с перебитой макушкой сосну. И, словно почуввав ее, глухарь залился пуще прежнего. Он до того дошел, что потерял, видимо, равновесие. Я услышал, как затрещали сучья и, будто простыни на ветру, захлопали крылья. Опомившись, глухарь опять взгромоздился на дерево, чокнул три раза и замолчал, то ли почуввав опасность, то ли от стыда за свою оплошность перед глухаркой. Прошло минут пять; глухарь молчал. Потом он начал точить — словно рашпилем по железу. Прошло еще десять минут; глухарь молчал; а я все лежал и коченел от сырого, холодного тумана.

Всходило солнце. Его длинные тонкие лучи скользили по шербатым стволам сосен, веером ложились на запыленную инеем землю. Одинокие кочки, убранные ярко-зеленым мхом, блестели, как стеклянные. В крохотных лужицах плавился матовый ледок. Перелетая с места на место, звенели, пищали и дрались крохотные пичужки; пересвистывались лесные дрозды, неумолчно во всех концах болмотали тетерева, и где-то далеко в болоте гнусаво стонали журавли. Только молчал мой глухарь. Но вот и он подал голос — тихо, осторожно, робко, а потом начал сильно, резко, отрывисто и вдруг сразу же торопливо зачастил, зашипел, зафыркал. Я дождался очередной пес-

ни и сломя голову бросился вперед. Я бежал напролом, не обращая ни на что внимания, и ничего не помнил. Когда я налетел на толстый ствол сосны и, обняв, прижался к нему, то почувствовал, как горит исхлестанное ветками лицо, и понял, что на голове нет шапки.

Я выглянул из-за дерева. На полянке, в окружении молодых тонконогих сосен, стояла старая ель. С одной ее стороны в густой хвое просвечивалось окно. В этом окне я и увидел глухаря. Он, чокая, вытягивал вверх шею и слегка распускал крылья. У меня перехватило дыхание. Я поднял ружье, попытался прицелиться и не смог: ель с глухарем внезапно куда-то исчезла, потом опять появилась и опять пропала. Меня била лихорадка. Я опустил ружье, прижался к сосне и стал спокойно наблюдать.

Глухарь играл песню за песней: вертелся на суку волчком и с каким-то металлическим скрежетом точил и точил, с шипением распускал хвост. Медленно поднял я свою верную «тулку», прижал ствол к дереву и хладнокровно прицелился. Но выстрелить не успел...

На полянку выскочила Наденька. Глухарь смолк, вытянул шею и уставился на нее. Наденька стащила с плеча одностволку, вскинула на руку, и глухой протяжный выстрел, словно звук от тяжелой расхлябанной телеги, покатился по лесу. Белый клуб порохового дыма на миг заслонил глухаря, а когда дым рассеялся, его уже там не было.

Я ошеломленно смотрел на Наденьку, а в голове неуклюже, как у пьяного, ворочались вязкие мысли.

— Что это все значит? — наконец выдавил я.

— Не позволю! — гневно ответила Наденька. Лицо у нее от возмущения покраснело, и на нем резко выделялся белый рваный шрам.— Не позволю!

— Зачем же вы тогда меня сюда тащили? — возмутился я.

— Чтоб проучить...— Она закинула за спину одностволку и расхлябанной походкой, болтая руками, вызывающе прошла мимо меня.

Моя шапка плавала в луже. Я выудил ее оттуда и, не надевая на голову, уныло потащился по болоту.

Где-то грустно и тоскливо плакала горлинка, нежно ворковал лесной голубь, и неумолчно со всех сторон неслось ворчливое болмотанье косачей.

Наденька дожидалась меня на просеке. Она сидела

на пне и наблюдала за мной. Когда я с ней поравнялся, Наденька встала и пошла рядом.

Солнце уже поднялось над лесом и начинало припекать. Пахло гнилью, смолистой хвоей и талым снегом.

— Вы все еще сердитесь? — неожиданно спросила Наденька.

Я пожал плечами и ничего не ответил. Она тронула меня за руку и грудным, тихим голосом проговорила:

— Пожалуйста, не сердитесь. Он пел песню любви...

Больше мы не сказали ни слова. А когда опять вышли на вспаханное поле, Наденька вскинула ружье и озорно крикнула:

— Кидай шапку!

Я высоко в небо подбросил шапку. Наденька выстрелила и промахнулась.

— Эх ты, стрелок в юбке!

Она обиделась:

— А ты-то что, лучше?

— Да уж шапку-то как-нибудь...

— А ну, докажи, — подзадорила она.

— Кидай!

Наденька подбросила. И я доказал. Моя добротная, с кожаным верхом, кубанка упала дырявая, как шумовка.

МОЛОДЕЖЬ

Я до того обленился в Апалёве, что даже мух от себя не гоняю. Второй месяц на исходе — у меня ни строчки. Чистый лист на письменном столе пожелтел и сморщился. День за днем бью баклуши, а по выражению Наденьки, «изучаю жизнь». Она старается вовсю: таскает меня по полям, бригадам и каждый раз хвастается, что я сочинитель книг. Люди на меня смотрят по-разному, но больше с насмешливым любопытством. Только, пожалуй, в глазах Наденьки я — фигура, в глазах остальных — нечто среднее между уполномоченным из района и колхозным лодырем Аркадием Молотковым. Даже Ирина Васильевна поглядывает подозрительно: она никак не может понять, как это человек нигде не работает, а только пишет.

Моя попытка сблизиться с людьми не имела успеха. Как-то мне вздумалось поработать на уборке сена. Я разыскал в сарае вилы и пошел на заливной луг Итомли, где метали стога. Там работали одни женщины. Еще

издали я заметил, как они, бросив сгрести сено, следили за мной. Мне стало сразу же скучно, захотелось повернуть назад, но ноги против воли несли вперед. Робким, заискивающим голосом я пробормотал, что хочу им помочь. Они ничего не ответили и продолжали презрительно разглядывать меня. Наглядевшись вдоволь, принялись быстро и ловко взмахивать граблями и уже больше не обращали на меня никакого внимания. Я накалывал на вилы огромные охапки сена и подавал на стог колхознице в яркой красной кофте. Работал неловко, но стараясь изо всех сил, как говорят — из кожи лез. Они же мне не сказали ни слова и, когда последний стог был сметан, вскинув на плечи грабли, ушли, оставив меня одного среди луга.

«Почему, почему они так?..» — с горечью размышлял я.

На этот вопрос мне Наденька ответила вопросом: — А зачем вы пошли? От скуки? Поразвлекься? Ведь так же, сознайтесь?

Да, я понял: для меня сенокос был забавой, для них — утомительным трудом.

В другой раз мы потерпели фиаско вместе с Наденькой.

В клубе центральной усадьбы Наденька организовала встречу с колхозниками. Я читал новый рассказ и потел от страха: в переполненном зале была гробовая тишина. Потом они мне дружно похлопали и дружно разошлись.

Вот какое было ко мне в Апалёве отношение. Впрочем, я к нему скоро привык и беспечно проживал день за днем. Наденька не забывала меня и время от времени придумывала какую-нибудь заботу: то очередной творческий вечер в бригаде, то беседу на заданную тему или просто встречу с местной знаменитостью.

Так она познакомила меня с девяностолетним охотником-медвежатником. Медвежатник позеленел от старости и походил на изжеванный окурок, в котором табаку осталось всего лишь на полторы затяжки. Говорил он мало, непонятно и одно и то же:

— Самое верное на медведя — нож и рогатина. Рогатиной медведя припрешь, ножом пырнешь. Он зараз и окочурится.

У старика не было ни одного зуба, и когда он закрывал рот, нижняя челюсть так далеко заходила на верх-

нюю, что лицо уменьшалось вдвое, а нос свисал ниже подбородка.

У Наденьки и без меня было хлопот, по выражению Ирины Васильевны, больше, чем у собаки блох. Трудно сказать, какие права были у Наденьки. Зато обязанностей хоть отбавляй. Она обязана была заседать, организовывать, разъяснять, критиковать, убеждать и даже страдать. И все-то ее интересовало, все она делала вдохновенно, и на все у нее хватало времени. Единственно, на кого не обращала внимания Наденька, так это на себя. Одевалась небрежно: платья на ней болтались, туфли вечно были с обшарпанными носками и стоптанными каблуками, зеленый выцветший берет, казалось, навсегда прилип к ее черным прямым волосам. Парни старались ее не замечать, старые подруги повыходили замуж, новые нередко посмеивались над ней, за глаза называли халдой. Наденька на это не обижалась и беззаботно махала рукой, как бы говоря: «Как бы обо мне ни судачили, теперь уже не имеет никакого значения». Она была уверена, что личное счастье прошло мимо.

Шофера Околошеева в колхозе все звали просто Около. Ему было лет тридцать. Рослый, плотный, с широким добрым лицом и ленивыми движениями, Около казался увальнем. Был он неглупый, наделен силищей, но пользовался ею с неохотой, водку пил редко, а если пил, то перепивал всех и не хмелел. Вдовы, встречая Около, кусали губы, замужние только поглядывали, да и то украдкой, девочки открыто побанвались. Он же относился к ним с благодушным презрением: сам не навязывался, но и не отказывался. В колхозе Около появился внезапно — приехал из города картошку копать, да так и остался. Жил он легко и свободно, как птица кукушка. Обычно снимал у кого-нибудь угол, но подолгу на одном месте не засиживался. Таким образом, переходя из дома в дом, Около обошел все села колхоза и наконец обосновался в Апалёве. При мне он несколько раз заходил к Кольцовым.

Войдя в избу, Около снимал шапку, садился и молчал. Если была дома Наденька — она тоже молчала или брала книгу. Их молчаливую компанию охотно разделял Алексей Федорович. Намолчавшись вволю, Около заводил разговор с Алексеем Федоровичем.

— Что же ты сидишь, дедушка? — спрашивал Около.

— Устал, наверное,— отвечал Алексей Федорович.

— С чего же ты устал?

— Работал.

— А что ты делал?

— Ригу небось топил.

— Ригу топил? — удивленно переспрашивал Около, а потом долго и раскатисто хохотал. Последний раз Алексей Федорович топил ригу лет пятнадцать назад.

— Алексей Федорович,— продолжал Около,— ты знаешь, кто я такой?

Старик долго и внимательно смотрел парню в рот и пожимал плечами:

— Человек, наверное. Вон, видишь, голова... руки с ногами...

— Я землемер. Приехал земель вас наделять.

Около умышленно наступал старику на мозоль. Земельный вопрос был самым большим вопросом в его жизни. И по характеру, и по замашкам Алексей Федорович родился барин. Его заветной мечтой было иметь много-много земли, но не обрабатывать ее, а сдавать исполу.

Алексей Федорович оживлялся, дергал бороденку и робко спрашивал:

— Как же ты ее делить-то будешь? По душам аль по едокам?

— Делить будем по-новому,— авторитетно заявлял Около.— Кто сколько за день обежит полей и лесов, тот все и получит. Вставай завтра с утра пораньше и вкалывай.

— «Вкалывай!» — Алексей Федорович поднимал маленький сухонький кулачок.— Ишь ведь как распорядился! Кто сколько обежит! У соседа Никиты ноги как жерди, нешто мне за ним угнаться. Мазурик ты, а не землемер!..

Разговор обычно прерывался вмешательством Ирины Васильевны.

— Около, хватит мне старика травить,— решительно заявляла она.

Около замолкал и, посидев еще с полчаса, уходил. А Ирина Васильевна принималась пилить Наденьку:

— К кому он ходит?

— Не знаю. К тебе, верно, бабушка,— равнодушно отвечала Наденька.

Ирина Васильевна взрывалась и сердито выкрикивала:

— Мешок, а не парень. На что только бабы глаза пялят. Одер непутный. Ты у меня смотри,— грозила она пальцем.— Вот умру, а там делай что хошь... Наденька вскакивала:

— А я-то тут при чем? Ходит — ну и пусть ходит. Не гнать же. А мне-то совершенно безразлично, да-да, безразлично... безразлично,— крикливо доказывала Наденька и густо краснела.

В конце июля зачастили бурные грозовые дожди. Итомля вспухла, вышла из берегов.

В тот день в Апалёве должна была демонстрироваться новая картина. Наденька с утра ушла в соседнюю бригаду за кинолентой. К обеду она вернулась, но в каком виде! Берета на голове не было, волосы во все стороны торчали мокрыми хвостиками, с юбки ручьями стекала вода. Наденька села, обхватила руками голову и закачалась из стороны в сторону, потом замерла, уставясь в угол, и глухим, сильным голосом сказала:

— Я утопила картину.

Дело было так. Машина довезла Наденьку до Итомли и повернула обратно. Наденька решила перейти реку по лавам. Вода неслась выше лав, и над рекой торчали одни лишь перила. С тяжелым мешком на спине ощупью пробиралась она по скользким бревнам. Напор воды был сильный, и Наденьке все время приходилось наваливаться на перила. Перила не выдержали и рухнули. Рухнула и Наденька с мешком.

— Я долго боролась, из сил выбилась. Течение очень быстрое, а мешок с коробками тяжелый. Он все время тянул меня на дно. Если б я его не бросила, то утонула,— сквозь слезы рассказывала мне Наденька.

Время было обеденное, и вытаскивать мешок собралось все Апалёво. Парни, ребяташки ныряли. Мужики пытались с берега обшарить дно баграми. Но, поняв беспечность своей затеи, бросили и стали с любопытством наблюдать за Аркашкой Молотковым. Он старался не за страх, а за совесть. Казалось, наконец-то парень нашел в колхозе работенку по душе. Бахвалясь удачью, Аркадий нырял и плавал, как тюлень.

— Есть, нащупал, Надька, готовь шкета! — заорал Аркадий.

— Литр... Литр поставлю, Аркашенька,— радостно завила Наденька.

Аркадий вскарабкался на лавы, раскачался и, взгля-

нув ногами, как утюг пошел на дно. Через полминуты из воды пробкой выскочила рыжая Аркашкина голова и, как горох, посыпались хлесткие матюки. Аркадий вылез на берег и бросил пустой мешок.

— Высыпались, гады,— мрачно сказал он.

— Что же ты наделал, подлец? — прошептала Наденька и заплакала.

Колхозники тесным кольцом обступили их и хмуро смотрели на Аркадия. А он лихорадочно дрожал и беспокойно оглядывался.

— Донгрался, сукин сын,— сказал кто-то.

— А я виноват?! — закричал Аркадий визгливым, тонким голосом и набросился на Наденьку: — Сама виновата! Ты почему не сказала, что мешок не завязан? А? Почему, почему?

— Я забыла, совсем забыла,— испуганно пролепетала Наденька.

Издали послышался голос Около:

— Эй вы, чего там ловите?

— Кино! — хором закричали ребяташки.

— Какое кино? Давай его сюда,— подходя, балагурил Около и с хрустом жевал яблоко. А когда узнал, в чем дело, пристально посмотрел на Наденьку и покачал головой, потом повернулся к Аркадию: — А ну, топай отселева, тля навозная!..

Аркадий сгрел в охапку штаны с рубахой и уныло поплелся от берега.

— Стой! — закричал Около.— Иди сюда.

Аркадий покорно вернулся.

— Будешь вытаскивать, пока не потонешь. Понял?

Аркадий кивнул головой и полез в воду.

Около быстро разделся и, оставшись в одних трусах, с хрустом потянулся. Его молодое, упругое тело с крепкими, как веревки, мышцами, сбрасывая лень и вялость, вздрагивало, как у породистого рысака. Разбитная вдова Шутова, не спуская глаз с Около, что-то шептала бабам. Те, сдерживая хохот, прыскали в кулаки. Наденька, отвернувшись, понуро рассматривала свои большие, заляпанные грязью ступни.

Далеко выбрасывая перед собой руки, Около выплыл на середину Итомли. Сильным невидимым толчком подбросил над водой тело и, вскинув вверх ноги, винтом пошел на дно. На берегу притихли и ждали. Томительно долго тянулась минута. Люди беспокойно пере-

глядывались. Наденька нервно крутила пуговицу. Но вот над мутной, глинистой водой показался белый край железной коробки, а за ней рука Около. Ребятишки закричали «ура». Наденька радостно подпрыгнула и оторвала пуговицу. Аркадий громко и злобно выругался. Ему не везло.

За первой коробкой Около вытащил вторую, затем третью. Нырять он редко, но успешно и после каждого нырка подолгу отдыхал, набирался сил. Аркадий же, наоборот, нырял часто и бестолково. Около выловил шесть коробок. Аркадий лишь одну. Оставалось еще две. Поиски этих двух коробок затянулись до вечера. Колхозники давно уже разошлись. На берегу остались одни ребятишки да я с Наденькой.

Восьмую коробку посчастливилось вытащить Аркадию. На него было страшно смотреть. Он весь посинел, голова с разинутым ртом дергалась как на шарнирах. Аркадий вылез на берег, упал и не смог подняться.

— Отправляйся домой,— сказал ему Около.

Он тоже выдыхался: лицо исказила судорога, глаза потускнели, налились кровью. Мы с Наденькой попытались его отговорить. Но Около не сдавался.

— Еще раз, еще раз,— говорил он и, весь дрожа, бросался в воду.

Садилось солнце, когда Около, уцепившись за лавы, крикнул сиплым голосом:

— Есть, держу! Дайте дух перевести.

Около с трудом вылез на берег, осторожно положил к ногам Наденьки круглую коробку и рухнул на землю, обхватив ладонями голову.

— Фу как ломит, спасу нет,— пробормотал он.

Наденька подняла с земли рубашку и накрыла сутулую спину Около, потом кинула на меня быстрый холодный взгляд, нахмурилась и прошептала:

— Спасибо, Около.

Он даже не пошевелился, только сильнее стиснул ладонями голову.

С утра я помогал Наденьке сушить киноленту. Коробки сильно подмокли, и мы провозились весь день.

Вечером состоялась премьера «утопленницы». Картина оказалась настолько плохой, что и самые невзыскательные апалёвские зрители в один голос заявили: «Уж лучше б ее и не вытаскивать».

После кино были танцы. Начались они вяло и скуч-

но. Наденька была расстроена, ей хотелось домой, но дополнительная нагрузка завклубом обязывала ее остаться. Она машинально ставила пластинку за пластинкой, что попадет под руку, и вдруг в тесном бревенчатом клубе неожиданно зазвенела колокольчиком шопеновская соната. Кто-то из парней запротестовал, его поддержали девчата, но глухой, утробный бас Около перекрыл всех:

— Молчать и слушать...

Около сидел в простенке меж окон, упираясь локтями в колени и по-бычьему согнув шею. Слушал ли он или просто позировал, но только он не шевелился и тупо смотрел в пол. Наденька слушала, полузакрыв глаза. Она в эту минуту была на редкость обаятельна: серая широкая юбка и белая легкая кофточка скрадывали ее худобу, по усталому и плосковатому лицу словно лился мягкий, теплый свет, и оно было печально-кротким. Зал внезапно зашевелился, закашлял. Лицо у Наденьки мгновенно потухло, вытянулось. Я оглянулся. В дверях стояла незнакомая девушка, кокетливо отставив в сторону ножку и покачиваясь. Желтая кофточка с черными полосами туго стягивала грудь. Короткая юбка висела над ее коленями парашютом.

Радиола продолжала играть. Нежная, прозрачная и неутешно-печальная музыка рассказывала о чем-то неповторимо прекрасном, безвозвратно ушедшем. А все смотрели на незнакомку, и Около и Наденька тоже. Девушка, ничуть не смущаясь, прошла в передний угол, села, разбросав по скамейке юбку, вынула зеркальце и подкрасила губки.

Наденька поставила затертую, как подошва у старой галоши, пластинку. С шипением и скрипом завывала радиола. Лениво, как бы нехотя, поднялся Около, подошел к девушке и взял ее за руку. Она гневно вскинула на него глаза и попыталась вырвать руку. Около слегка потянул девушку, и она покорно повисла у него на шее.

Танцевал Около легко и плавно. На все танцы подряд он выбирал только одну девушку в полосатой кофте. Наденька завела дамский вальс. Девчата бросились нарасхват приглашать Около. Но он всем отказал и уныло просидел весь танец.

В клуб ввалился пьяный Аркадий Молотков. Размахивая кулаками, разогнал всех по углам, сел на пол,

вынул из кармана губную гармошку и визгливо заиграл «Семеновну». Около некоторое время благодушно наблюдал за ним, потом пятерней сгреб Аркадия за волосы и потащил на улицу. По крутым ступенькам крыльца Аркадий покатился колесом, выбивая головой и пятками дробную чечетку. Во время суматохи Наденька исчезла.

Гулянка продолжалась. Около танцевал непрерывно, и все с незнакомкой...

Я уже собирался уходить, когда вбежала Наденька. Лицо у нее от возбуждения покрылось красными пятнами, глаза лихорадочно горели. Черное бархатное платье с глубоким вырезом болталось на ее нескладной фигуре, как на шесте. На голове лепилась широченная соломенная шляпа с обвислыми полями. Размахисто вихляясь, Наденька обошла зал клуба и села, закинув ногу за ногу, потом вскочила, подбежала к радиолу и поставила дамское танго. Меня охватил стыд, слово я сделал какую-то гадость... и я быстро вышел.

ВСЕ ПРОХОДИТ

Проходит лето. Последние августовские дни жаркие, пыльные, ночи темные, душные. Но осень уже осторожно подкрадывается.

В низинных лугах туманы висят до полудня. По бурым сжатым полям ползают тракторы, а за ними, выискивая червей, стаями бродят грачи. Черные леса с голубыми прогалинами стоят молчаливые и грустные. Птицы уже не поют, лишь изредка пересвистываются или тревожно вскрикивают. Ольха сворачивает листья в сигарку; зеленые подолы молодых берез опоясывает желтая кайма. Акация под нашим окном сморщилась, наполовину осыпалась и торчит, как обшарпанный веник. Ирина Васильевна все чаще и чаще жалуется на ломоту в ногах и пояснице. По вечерам она заваривает огромную бочку сосновой хвои с муравьями и подолгу сидит в ней.

Мы с Алексеем Федоровичем ходим в лес разорять муравейники. Ходить с ним одна морока. Но Ирина Васильевна настойчиво каждый раз навязывает мне старика «порастрястись». До леса и версты не будет. С лопатой и мешком за плечами мы топаем по укатанной мягкой дорожке. Алексей Федорович шаркает

резиновыми подошвами сандалий, а за ним тянется длинный хвост пыли.

— Что же ты ног не поднимаешь, Алексей Федорович?

— Чтоб не упасть, — отвечает он и широко улыбается.

В лесу тихо, грустно и отраднo... Пахнет грибами, малиной и прелью. Под старой, затекшей смолой елью находим муравейник. Муравьи, чуя беду, беспокойно суетятся. Один уже успел забраться Алексею Федоровичу за воротник и больно укусить.

— Вот ведь мелкая букаха. А тоже так и норовит зло сорвать, — философствует Алексей Федорович, разглядывая пойманного муравья.

Разворачиваю лопатой кучу, в нос ударяет резкий, кисловатый запах муравьиного спирта. Алексей Федорович возмущенно ругается. Мне каждый раз приходится объяснять старику, что муравейник необходим для лечения ног его «бабы», Ирины Васильевны. Ссыпав муравейник в мешок, идем обратно.

В тот день я решил отправить Алексея Федоровича с мешком одного. Вывел его на дорогу, а сам пошел на кладбище. Оно находилось в стороне, на пригорке, в круглой березовой роще. Давно я собирался туда сходить, но все откладывал со дня на день.

Я люблю сельские кладбища за их запущенность и легкую грусть. Их редко посещают. Мимоходом колхозница завернет, тихо поплачет над родной могилкой, потом вытрет слёзы, облегченно вздохнет и пойдет по своим делам. Мужчины вообще сюда не ходят. Зато для ребятишек кладбище — веселый уголок: здесь они играют в прятки, гонят из берез «соковку», собирают землянику и грибы. Апалёвское кладбище не было исключением. С одной стороны к нему примыкало засеянное льном поле, с другой — заливной луг Итомли. Могилы разбросаны как попало, большинство без оград и без крестов.

Я сел на плоский камень и задумался. Сквозь высокие заросли иван-чая мне видно поле. Трактор таскает теребилку, за ним желтым половником стелется лен. Колхозницы, высоко подоткнув юбки, подхватывают лен и вяжут в тугие снопы. Они приближаются к кладбищу и, дойдя до конца поля, садятся на меже, шагах в пяти от меня, и заводят свой интимный женский разговор.

— Ой, Ритка,— охает высокая женщина,— опять тяжела! Что это ты зарядила кажинный год?

— Уж больно мне эта работа по душе пришлась, тетка Марья,— весело отвечает полная красивая молодуха.

Бабы дружно хохочут и несут такое — уши вянут. А уйти неловко. Увидят — осрамят на весь колхоз.

— Что это наша невеста притихла? Ленка, ты чего это надулась, как пузырь?

— А ну вас в рай,— отмахивается Ленка, известная в Апалёве как самая строгая вдова.

— Ты Расскажи нам, как жених от тебя на второй день сбежал,— продолжает приставать Марья. У нее страсть — завести человека, а потом со стороны наблюдать и злорадно усмехаться. И нет ничего проще, как завести Ленку: с пол-оборота заводится.

Ленка злобно сдвигает острые, как ножи, брови и цедит сквозь зубы:

— Дура мослатая... Не ушел — сама выгнала. И не на второй день, а в ту же ночь.

— Да ну! — вскрикивает Милка Шутова, острая на язык срамница.— Аль никудышный оказался?

— А на что мне мужик несамостоятельный, пьяница,— мрачно отвечает Ленка.

— А вот я знаю новую байку. И не придумаешь такой,— вкрадчиво проговорила Марья и хихикнула.

Бабы тесно окружили ее.

— Только молчать,— предупредила Марья и что-то прошептала.

Бабы наперебой закричали:

— Надьку Кольцову?!

— Около?!

— Чушь городишь, Марья!

— Обстругал, бабоньки, вот крест, обстругал.— Марья перекрестилась.— Вчерась вечером в сарае. А накрыла их Зинка Рябова. Ох, уж и ругались они...

— Надо же подумать! А какую из себя недотрогу, скромницу корчила,— возмутилась Ленка.

— Не верю я тебе, Марья. Всем известно, не язык у тебя, а помело поганое,— спокойно сказала густобровая, с белым дородным лицом колхозница. Она сидела в стороне и не принимала участия в разговоре.

Словно подхлестнутая, вскочила Милка:

— И я не верю. Кому нужна эта пресная вобла?

— А ты чем лучше, шлюха бесстыжая,— злобно выдала Ленка.

Милку так и подбросило:

— Да неужто хуже?! — Она, как молодая кобылица, изогнулась и вызывающе топнула ногой.

Выходка Милки взорвала баб. Они гуртом набросились на нее и принялись отчитывать на все лады. Милка, не ожидавшая столь дружного напора, растерялась, сникла и тихо заплакала.

— Ты не вой, а скажи, ненасытная, почему ни одного мужика не пропустишь? — размахивая кулаками, наступала на нее Ленка.

— Да бесхарактерная я, бабоньки,— с отчаянной решимостью заявила Милка и заревела дурным голосом.

Бабы брезгливо посмотрели на нее, плюнули и пошли вязать снопы.

Я возвращался домой, и настроение у меня было скверное. Проходя огородами, увидел Ирину Васильевну. Она с большой корзиной из ивовых прутьев ползала между грядками и собирала огурцы.

Когда я открыл дверь в избу, услышал громкий и сердитый голос Наденьки:

— Дура ты, Зинка! Какая ты набитая дура!

Я хлопнул дверью — голос Наденьки смолк. Алексей Федорович сидел на кухне за столом и посасывал из носика заварника холодный спитой чай. Увидев меня, он смущенно отставил заварник в сторону, вытер усы и спросил:

— Где же баба моя? Целый день сижу, а ее все нет.

Я постучал по дощатой перегородке.

— Войдите,— ответила Наденька.

Она стояла у стеллажа и перебирала книги: вытащит книжку, посмотрит и опять поставит на место. На диване сидела Зина Рябова. Как они не походили друг на друга! Если природа сшила Наденьку наспех, резко и угловато, то над Зиной она любовно потрудилась, придав ее формам легкость и плавность. Голова у Зины была кудрявая, щеки полные, губы пухлые и сочные. Ее, круглые с большими чистыми белками глаза никуда не звали, ничего не просили, не раздражались, не восхищались — смотрели, да и только.

...Как-то Зина, придя к Кольцовым и не застав Наденьки дома, поднялась ко мне в мезонин. Я писал. Зи-

на непринужденно поздоровалась и без приглашения под- села ко мне. Положив на кромку стола упругие, как мя- чи, груди и подпирая кулачком подбородок, спросила: — И не скучно вам?

Я искоса взглянул на ее припухшие маслянистые гу- бы и подумал: «Наверное, жирные блины ела».

— Не знаю, куда с тоски деваться, — пожаловалась Зина и зевнула. — А я не смогла б работать писате- лем..

— Почему?

— Да так... Не знаю... — Она виновато улыбнулась и покосилась на кровать, на перевитые в жгут просты- ни, на скомканное одеяло.

— Давайте я лучше вам кровать застелю.

— Не надо...

Зина усмехнулась, лениво встала, пошла к выходу, оглянулась и нехотя закрыла за собой дверь. Я хорошо знал мужа Зины, механика колхоза, очень строгого, очень правильного и очень скучного человека...

Наденька продолжала перебирать книги, Зина внима- тельно разглядывала ногти. Они были явно смущены, Наденька вытащила томик Бунина и подала Зине:

— На, почитай.

Зина молча взяла книгу и поспешно вышла.

Невольнo подслушанный разговор колхозниц, стран- ное поведение девушек возбудило у меня любопытство. Но заводить разговор на эту тему было крайне неудоб- но. Наденька, по-видимому, вовсе ни о чем не хотела раз- говаривать: выбежала на кухню, разыскала тряпку и при- нялась усердно наводить в доме чистоту.

За окном раздался голос Ирины Васильевны:

— Путешественники, где мешок-то с муравьями?

Поиски мешка были долгими. На все вопросы Алек- сей Федорович отвечал:

— Положил куда-то...

У него была страсть все, что лежит под рукой, при- бирать и прятать, по пословице «подальше положишь — поближе возьмешь». А спрятав вещь, старик тотчас же о ней забывал. Был случай, когда Алексей Федорович прибрал мой фотоаппарат. Ирина Васильевна неделю пот- ратила на поиски и случайно обнаружила фотоаппарат на печке, в голенище старого валенка.

Мешок с муравьями отыскался в хлеву под кучей соломы.

Поговорить с Наденькой мне так и не удалось в тот день, а утром она уехала в район. Грязная сплетня переметнулась через Итомлю и поползла по колхозу. Судачили и перебивали кости Наденьке во всех бригадах, в каждой семье и только молчали в доме Кольцовых. Ирина Васильевна хмурилась, поглядывала исподлобья. Наденька тоже переживала, хотя делала вид, будто ее ничто не касается, но резкая нервозность и острая подозрительность выдавали ее с головой.

Около больше не появлялся в доме Кольцовых. Он был по-прежнему весел и беспечен. Его чувства к незнакомке, внезапно вспыхнув, мгновенно сгорели. Девушка в полосатой кофте оказалась племянницей апалёвского бригадира. Приехав к дядюшке провести отпуск, она недельку поскучала в деревне и укатила обратно в город. Ее отъезда даже не заметили. Все мысли и разговоры вертелись вокруг Наденьки. Одни поносили ее, другие — Около, нашлись и такие, что открыто осуждали Зину Рябову: не к лицу, мол, замужней женщине заглядывать под чужие подола.

Прошла неделя-другая, и сплетня постепенно стала меркнуть. С Около все сошло как с гуся вода. Авторитет Наденьки был навсегда подорван. Кличку «халда» заменила новая — «обструганная вековуха». И это доконало Наденьку. Она повяла: лицо совсем осунулось, подбородок заострился, губы непрерывно дрожали. Острая на язык, решительная до дерзости, Наденька превратилась в боязливую ходячую тень. Открыв картину, украдкой бежала домой и запиралась в своей комнате.

Ирина Васильевна болезненно переживала все это: она внезапно как-то вся обмякла, ее гордую властность сменила робкая угодливость, в острых насмешливых глазах появилась слезливая жалость. Словно глаза просили и умоляли: «Ну простите же ее. Мало ли что в жизни случается. Зачем же вы так жестоки».

В один из вечеров, когда Наденька, свободная от работы, сидела запершись в своей комнате, а мы с Ириной Васильевной перебирали крыжовник на варенье, вошел Около. Подпирая головой притолоку двери, он остановился на пороге, пригладил ладонью волосы и, уставясь на запыленные носки сапог, буркнул:

— Здрасьте...

Ирина Васильевна ничего не ответила и, схватив из решета горсть крыжовника, стала торопливо бросать

ягоду за ягодой в плоское эмалированное блюдо. Лицо Около — мрачное, усталое, с черным пятном мазута у виска — болезненно перекосилось.

— А Надежда Михайловна дома? — спросил Около и переступил с ноги на ногу.

Рука у Ирины Васильевны задрожала, крыжовник посыпался на пол.

— Извините, коли так. — Около тяжело вздохнул, нахлобучил до ушей кепку и толкнул дверь.

Ирина Васильевна вскочила:

— Да куда же ты?.. Погоди... экий нетерпеливый. — Она беспомощно оглянулась на меня и потянула Около за рукав. — Дома она, дома...

Около прошел боком мимо Ирины Васильевны в комнату Наденьки. Старушка плотно закрыла за ним дверь, нагнулась ко мне и прошептала:

— А ты иди к себе в мезонин. И я уйду. Пусть они поговорят. Их дело. Бог даст, и уладят. Иди, иди в мезонин-то.

Корявая, медноликая луна тускло и холодно освещала мою тесную каморку. Я подвинул стул к окну и, опершись подбородком на подоконник, прижался к стеклу лбом. На улице царствовала чуткая тишина. Только циркал сверчок да нудно верещала в объятиях паука муха. Донесся гулкий отрывистый выхлоп движка, на секунду движок смолк, потом сухо закашлял и, откашлявшись, ворчливо зарокотал и застучал.

Хлопнула калитка, под окнами зашаркали грузные шаги Около. На меня напало странное забытье. Мне урывками снились то Наденька, то Около, то Ирина Васильевна, то все вместе; и тут же стоял Алексей Федорович, улыбался ласково, снисходительно, как будто жалел всех и понимал больше всех, что все это досадные, глупые мелочи, которые постоянно раздражают нас и мешают жить. Когда я очнулся, то понял, что не спал, а думал долго, упорно и беспорядочно об этих людях.

Рассветало. Над землей висело ясное, чистое небо, и над болотом одиноко, как свеча, догорала Венера. Внизу лежала густая ночная тень. И на нее из окна Наденькиной комнаты падало желтое плоское пятно света.

В полдень почтальон принес газеты и открытку из районного комитета комсомола. Ирина Васильевна долго вертела в руках открытку, близоруко рассматривала и бормотала:

— Вызывают. Зачем же это ее вызывают? Стало быть, надо, коль вызывают,— и сунула открытку под картонку отрывного календаря.

Через день поздно вечером ко мне в мезонин постучалась Наденька. Вошла она решительно, без тени смущения:

— У меня к вам просьба. Дайте слово, что выполните.

— Не знаю.

— Она вам по плечу. Даете слово?

— Бери.

— Подготовьте и прочтите лекцию в клубе центральной усадьбы колхоза на тему...— Она на минуту замаялась и быстро договорила: — О любви и дружбе.

— Что?! — воскликнул я.

— О любви и дружбе,— повторила она.— А что вас смущает?

Не выдержав ее острого, пристального взгляда, я отвернулся.

— Значит, договорились?

— Что делать,— вздохнул я.

— Бай-бай,— она насмешливо помахала мне рукой и вышла.

«Да, здорово тебя там, голубушка, накачали»,— подумал я.

К лекции я готовился добросовестно. И в то же время меня не покидала тревога за исход ее. Слишком свежи еще были в памяти недавние апалёвские события.

На лекцию пришла не только молодежь, но и пожилые, и даже старухи. Столь необычно повышенный интерес к рядовой лекции был не случаен. Все они явились открыто судить Наденьку. В зале клуба находился муж ее подруги, Леонтий Романыч Рябов. От одного присутствия этого прямого до тупости и непогрешимого до глупости человека веяло холодом. Он больше всех был возмущен поступком Наденьки и поклялся огнем выжечь в колхозе распутство.

Скучным, чужим голосом Наденька изложила причины, вызвавшие лекцию.

— Так, так, правильно. Давно пора,— сказал кто-то в зале, и посыпались ехидные смешки. Наденька гордо вскинула голову, переждала смех, спокойно сошла с трибуны и села на подоконник, скрестив на груди руки.

...Лекция кончилась, никто не встал и не вышел. Все

продолжали сидеть и чего-то ждать. Тишина стояла гнетущая, только пощелкивали семечки.

— Позвольте мне сказать пару слов.— Леонтий встал, одернул пиджак.— Можно?

— Леонтий, не надо,— схватила его за рукав Зина.— Слышишь, не надо..

Леонтий отмахнулся от жены, как от мухи, и стал пробираться между рядами. У Наденьки презрительно сузились глаза.

Леонтий поднялся на сцену, но на трибуну не вошел, а встал рядом. Поджарый, темноволосый, с бугристым лбом и волевым подбородком, Леонтий слыл в колхозе как беспощадный говорун. Под любой случай он умел подвести «принципиальный» тезис. Его боялись все: и председатель, и секретарь парторганизации. Он усиленно лез в начальство. Колхозники его терпеть не могли и злорадно говорили: «Бодливой корове бог рог не дает».

Леонтий взъерошил волосы и выкинул руку:

— Товарищи, поблагодарим докладчика за теплый, идейный, содержательный доклад.— Он повернулся ко мне, поклонился и накрыл ладонью ладонь.

Громко и сухо захлопали в зале.

— Признавая глубокую эрудицию уважаемого нами товарища,— продолжал Леонтий,— нельзя не отметить и существенный пробел в докладе.— Сделав упор на слове «пробел», Леонтий широко развел руки.— Доклад сделан вообще, в отрыве от жизни, не увязан с событиями последних дней, с людьми той аудитории, для которой он предназначен. Я не упрекаю докладчика,— Леонтий, широко улыбаясь, еще раз поклонился мне,— я только попытаюсь восполнить этот пробел.

Леонтий круто повернулся, взошел на трибуну, вынул из кармана пачку листов и положил перед собой.

Долго и утомительно читал он их. В зале шелкали семечки, хихикали. Около, зажав в кулак папиросу, курил, выпуская в рукав дым. Наденька смотрела в окно. Высокая, тонкая, как спица, труба колхозной водокачки охапками выбрасывала черный дым. Дым расплзался по небу, мутнел, лохматился и таял, и вместе с ним мутнел и таял голос Леонтия.

Гулко, как камень, упали в зал слова «Надежда Кольцова». Леонтий выждал и мягким, вкрадчивым голосом продолжал:

— Кольцова — наша старейшая комсомолка, актив-

ная, в партию готовится вступить. А как она своим личным примером воспитывает молодежь? — Он опять выждал и резко ответил на свой вопрос: — Аморально.. разлагающе.

— Кольцову не задевай,— грубо перебил его Около. Леонтий поморщился:

— Товарищ Околошеев, не беспокойтесь. О вас я тоже скажу.

— А я не беспокоюсь. Только Кольцову не трожь. Слышишь, Рябов, не трожь. А то плохо будет,— с угрозой повторил Около.

Лицо у Леонтия окаменело. Он надменно поднял голову и выставил резко очерченный подбородок.

— Вы думаете, что говорите, Околошеев?

— Раньше не думал, а теперь решил...— ответил Около и, сильно ссутулясь, пошел к сцене.

Наденка вспыхнула, вскочила с подоконника, хотела что-то сказать и не смогла: горло перехватили слезы, и она, закрыв руками лицо, опять села на подоконник.

Около встал напротив трибуны и, сумрачно глядя в надменное лицо Леонтия, спросил:

— Ты думаешь, что в том сарае со мной была Кольцова? Ошибаешься, не она. А знаешь кто? Нагнись, я пошепчу на ушко,— Около поманил пальцем.

Леонтий невольно нагнулся, но тотчас же гордо выпрямился и процедил сквозь зубы:

— Хватит комедию ломать. Здесь не цирк.

Около повернулся лицом к народу и, указывая пальцем через плечо на Леонтия, насмешливо сказал:

— А был я в сарае с женой этого оратора.

Все онемели от удивления. Первым опомнился Аркадий Молотков:

— Вот так дуля! Нокаут, Леонтий! Считаю до десяти.

— Ложь! — завопил Леонтий, поднял кулаки и с грохотом опустил их на трибуну.— Ложь!

И в тот же миг вскочила Зина, крича и ругаясь, замахала руками:

— Остолоп переученный, пень большеротый! Как я тебя просила не выступать! Что же ты наделал, граммофон бездушный! — Она зарыдала, упала на стул и забилась, как подбитая птица.

Зал грохнул от хохота. Леонтий все еще стоял на трибуне, перебирая листки, мямлил их и машинально

прятал в карман. Наденька сидела какая-то обмякшая, но глаза у нее лучились, и трудно было понять от чего: от слез или радости.

Незаметно легла на землю мягкая северная ночь. Было темно, когда мы возвращались домой. Наденька всю дорогу сокрушалась:

— Зачем он сказал! Зачем он сказал...

Мне это надоело, и я прикрикнул на нее:

— Не ной! Правильно сделал, что сказал.

Наденька заступила мне дорогу, схватила за лацканы пиджака и принялась трясти:

— «Правильно», «правильно»... Да что вы понимаете? Он же разбил семью.

— Помирятся.

— Думаешь, помиряются?

— А почему бы им не помириться?

— Если б они помирились!

— Любят — помиряются.

— Никого Зинка не любит и не любила.

— Зачем же она за него вышла?

— Годы. За кого-то выходить надо, — со вздохом ответила Наденька и поправила волосы. — А какую свадьбу мы справили им! Сколько я сил потратила! Зато свадьба была так свадьба, такой в жизни не видели в Апалёве. — Наденька опять вцепилась в мои лацканы. — А вдруг они не помиряются? Это же позор, удар по комсомольской организации, по мне. Я же больше всех старалась.

— Да помиряются они. Все в жизни проходит, Наденька.

Она засмеялась.

— Вы как бабушка: «Все проходит, внученька. Три ближе к носу, и все пройдет».

В лицо дохнуло сыростью. Мы подходили к Итомле. Вода в реке стояла неподвижно, как в болоте. На той стороне реки лежало черное пустынное поле. Наденька опустила на сухую, жесткую траву.

— Наверное, будет дождь.

— Вряд ли. Небо чистое.

— Зато росы нет. — Наденька туго натянула на колени юбку и поежилась. — А почему бы им не помириться? Ведь ничего у них не было.

— Как не было?

— Смешного много, серьезного — ни на грош.

— Ну, а что же было? — спросил я.

Она засмеялась и махнула рукой:

— Ладно, расскажу... Зинка, хоть мне и подруга, а до того неумная дура, что поискать. Она давно на Около паялила свои белобрысые зенки. Ну вот и допялилась. Прочил ее Около что надо, с перцем.— И Наденька громко захохотала.— А получилось так. Я в тот вечер опаздывала на картину в малинниковскую бригаду. По дороге до Малинников километров пять. А напрямик через Итомлю и трех не будет. Выскочила я из дому и — напрямик по полю. Бегу мимо сарая и слышу: кто-то храпит и взвизгивает, словно его душат. Меня так всю и затрясло. Страшно, но все-таки решилась. Подкралась к сараю, глянула в щель и... обалдела. Около перекинул Зинку через колено, одной рукой зажал рот, а другой нахлестывает по одному месту и приговаривает: «Не жадничай — муж есть, не жадничай — муж есть».

Я настезь распахнула дверь и говорю: «Что вы тут делаете?»

Около выпустил Зинку, повернулся ко мне и ухмыляется во весь рот: «Замужнюю молодежь воспитываю».

А Зинка, подлая, одернула подол и на меня — как кошка лезет в волосы. Едва ее оттащил Около. Уж как она меня только не поносила. Выскочила я из сарая и до самых Малинников бежала без передышки. Вот как она меня отчитала. А потом умоляла никому не рассказывать.

Я усмехнулся и покачал головой:

— И эту чужую грязь ты решилась носить?

— Ну и что?.. Грязь не сало, потряс — отстало.— Наденька вскочила, потянулась, хрустя суставами, и мечтательно проговорила: — Все проходит! Лишь бы они помирились...

Серым, печальным утром я покинул Апалёво. Ночью прошел дождь, и дорога была сплошь усыпана мелкими мутными лужами. Около вел машину. Мы с Наденькой тряслись в кузове. В лицо дул прохладный липкий ветер. По сторонам ползли раскисшие поля бурой зяби, зеленой озими и молодого клевера. Наденька зябко ежилась под холодным резиновым плащом. Я настойчиво упрашивал ее пересест в кабину, но она робко улыбалась из-под капюшона, отрицательно качала головой.

Машина покатила по обочине низкого заболоченного луга. Он весь был изрыт ямами, завален черными торфяными кучками. Экскаватор, вытянув длинную тонкую

шею, выхлебывал из ям жидкий торф. Он то с лязгом опускал изжеванные стальные челюсти, то поднимал их, и тогда из огромного белозубого рта вываливалась непрожеванная черная каша, а по губам, как у неопрятного старика, стекала маслянистая жижа.

Желтым пятном проглянуло солнце. Серый занавес тумана закачался, натянулся, как резина, не выдержав, лопнул, разлетелся на куски и, клубясь, пополз от солнца в разные стороны. Наденька сбросила на спину капюшон и протянула навстречу солнцу руки:

— Смотрите, красиво-то, как весной!

Терпеть не могу людей, вслух восхищающихся красотами природы и требующих этого восхищения от других. «Какая березка, что за прелесть, вы только полюбуйте! — восклицает разомлевшая дачница. — Да не та же, а вот эта!» А березка обычная, рядом с ней — десятки березок, и ничуть не хуже. Сколько в этом восклицании наигранности, саморисования и фальши. Я же просто не могу без этой березки жить. Поле, лес — мой родной дом. И глупо у себя дома восхищаться тем, что десятки лет неизменно перед твоими глазами.

Но возглас Наденьки меня не покоробил. В этом солнечном после дождя сентябрьском утре улавливались трепетные отголоски весны.

Минуту назад все серое, унылое, печальное сейчас сияло, звенело, искрилось и радовалось. Омытые листья берез, осин, еще не желтые, но уже слегка побледневшие, просвечивались насквозь и казались по-весеннему светло-зелеными и липкими. В облаках проталинами синело ясное, ласковое небо. И неожиданно, как весной, где-то в болоте на брусничной кочке заболмotal тетерев.

Рыхлое облако заслонило солнце, и сразу же все померкло, по-осеннему пригорюнилось. Один лишь зачарованный тетерев продолжал забвенно болмотать, перепутав времена года.

Машина, буксуя, вскарабкалась на глинистый пригорок и стала осторожно спускаться на мост через узкую, ленивую, с зеленой водой речушку. И в тот момент, когда под нами загромыхал деревянный настил, заднее колесо, свистя, зашипело, и машина, осев на левый борт, съехала с моста и остановилась на обочине дороги. Около выскочил из кабины и, взглянув на смятую крышку, безнадежно свистнул и зашагал к мосту. Мы пошли за ним. Около молча пошевелил ногой перевернутую бай-

дачную доску и показал острый шестидюймовый гвоздь.

— Ясно. Придется вам пешочком дотопать. Здесь чепуха — километра три.

Я снял с машины саквояж:

— До свидания, Около.

Он осторожно пожал мне руку и кашлянул в кулак:

— Хочу вам пару слов сказать. Можете обижаться, ваше дело. А мое дело — сказать. Могу и не говорить, как хотите.

— Ради бога, говорите. Даже очень рад, — пробормотал я и почувствовал, как вспыхнули уши; чему радовался, мне и самому было непонятно.

Около сошел с дороги и сел на край канавы. Я опустился рядом. Подошла и Наденька, но не села, а остановившись напротив, с удивлением поглядывала то на меня, то на Около. Он пожевал сухой стебель василька, сплюнул и нервно потер лоб.

— Зачем вы так... — Около замялся, взглянул на Наденьку и, уставясь на рыжие носки сапог, с трудом выдавил: — Так неубедительно пишете?

Он, видимо, ждал возражений и не отрывал глаз от сапог.

— Я не так выразился. Не смог подобрать нужное слово.

— Да уж ладно, как можешь, — сухо ответил я.

И тут Около прорвало. Он заговорил смело и уверенно. И я понял, что к этому разговору он давно был подготовлен и только ждал случая.

— Я слушал в клубе ваш рассказ. Он мне не понравился. Он никому не понравился. Вы это сами поняли. Плохо вы вообще разбираетесь в жизни. У вас молодая девушка этакой феей-лебедушкой приходит на свиноферму в поисках славы. Неужели вы не знаете, что на свиноферме грязный, тяжелый труд? Хорошо знаете! Вас Надежда Михайловна таскала по фермам... Любая колхозница понимает, что нелегко ходить за свиньями, но она понимает и другое — что кому-то эту работу нужно делать. И не о славе она думает...

Около умолк и опять уставился на свои сапоги. Наденька, подняв голову, следила за белесыми облаками, которые, как сало, затягивали бледно-синее небо. Я взглянул на часы. Около пошевелился, оторвал глаза от сапог:

— А уж как вы робко трогаете наши недостатки, осторожно... пальчиком. — Он пошевелил мизинцем. — Ну

вот все, что я хотел сказать.— Около поднялся, в широкой улыбке растянул губастый рот и подал мне руку.— А так вы вообще пишете ничего. Есть, которые пишут хуже...

До станции оказалось не три километра, а добрых пять. И всю дорогу мы молчали. Я был подавлен открытиями Около. Это, видимо, понимала и Наденька. Она шла позади, далеко отстав от меня. Показались серые станционные постройки, водонапорная башня; пронзительно, как коза, заверещала дрезина. Наденька рысцой догнала меня, взяла под руку:

— Простите Около, он не хотел вас обидеть. Такой уж он непокладистый. Всегда правду напрямик ляпает. «Вот так утешила»,— подумал я.

— Конечно, неприятно, когда правду прямо в глаза,— торопливо говорила Наденька.— Но Около — порядочный парень. Прошлой зимой бригадир подбил его махнуть налево машину дров. Продали они дрова. Бригадир в магазин за пол-литром, а Около его за воротник: «Стоп, погоди, сначала деньги в правление сдадим». Приволок бригадира к председателю и говорит: «Вот, привел вора тепленького...» Поэтому-то его все в колхозе уважают...

Поезд по каким-то неизвестным причинам запаздывал. Наденька побежала в город, пообещав скоро вернуться. В большом неуютном вокзале с высоким гулким потолком и белыми скучными стенами было тихо и пусто. Пассажиры, а их было десятка полтора, дремали по углам.

Я сел на громоздкий деревянный диван и попытался вздремнуть. Нет ничего тоскливее ожидать поезда в пустом вокзале, да еще не зная, когда он придет: минуты тянутся часами, а часы — вечностью.

Две женщины за высокой спинкой дивана вели бесконечно длинный разговор на семейные темы. Сначала одна многословно и бестолково рассказывала о проделках мучителя-зятя. Другая, слушая ее, поминутно вскрикивала: «Ахти мне, ирод!» Потом они поменялись ролями. Вторая принялась оханывать молодую сноху, а первая вскрикивать: «Ба-а-а! Ой, лихо мне!» А когда репродуктор местного радиоузла зашипел, защелкал, пассажиры встrepенулись: хриплый окающий голос дежурного по станции объявил о прибытии поезда.

Началась посадка, а Наденьки все еще не было. Вышел дежурный, ударил в колокол. Протяжно загудел па-

ровоз. На перрон вбежала Наденька и со всех ног бросилась ко мне. Я подхватил ее и крепко обнял, она чмокнула меня в щеку и сунула за пазуху пачку газет. Я вскочил на подножку.

— До свидания! — закричала Наденька и побежала рядом с вагоном. Вагон обогнал ее, Наденька остановилась, закачалась, схватилась за грудь. Поезд набирал скорость, а Наденька, прижимая руки к груди, смотрела ему вслед и кивала головой.

Я прошел в вагон, сел и стал просматривать газеты. В районном двухполосном листке прочитал о себе похвальную статейку. Автор не пожелал открыть себя и поставил под ней две буквы: «Н. К.». «Н. К., Н. К., — повторил я и грустно улыбнулся. — И здесь ты, Наденька, осталась верной себе: сделать человеку что-то доброе, хорошее и отойти в сторонку. Сколько ты людям приносила добра и всегда оставалась незамеченной. Желала другим счастья, старалась им помочь, найти и сохранить его и искренне радовалась чужому счастью, а когда ж ты будешь радоваться своему? Неужели так будет до конца? Это же страшно несправедливо. И я не верю этому и горячо протестую. Наденька будет счастлива! Может быть, не скоро, но обязательно будет. Это неписанный закон жизни. Вероятно, моя философия слишком старомодна и по-детски наивна. Но если кто насмеется над ней, он также насмеется и над Наденькой».

Я вынул из саквояжа объемистый сверток. И чего только в нем не было: и яйца, и пшеничные, теплые еще пышки, пирожки, масло, кусок домашнего окорока, банка варенья и даже соленые огурцы.

«Боже мой, Ирина Васильевна! — мысленно воскликнул я. — На неделю хватит. А ехать-то мне всего каких-то семь часов».

Прощаясь со мной, Ирина Васильевна пообещала еще пожить года два-три...

Старушка не сдержала своего слова. Ирина Васильевна умерла той же осенью, и, как мне рассказывала Наденька, внезапно и без хлопот. «Истопила бабушка печь, прибралась в доме, прилегла на кровать. Полежала немножко, зовет меня. Я подошла. Лежит она строгая-строгая и говорит мне: «Я сейчас помру. А чтоб тебе не было страшно, сбегай за соседкой». Пока я бегала, бабушка отошла...»

Около сам строгал гроб, копал могилу и поставил на кладбище синюю оградку с кустом сирени и голубой скамейкой.

И все по-новому пошло в доме Кольцовых. Мой приезд их не огорчил, да и не обрадовал, он был просто ни к чему.

Когда я подходил к дому, Около скатывал с прицепа сосновые бревна. Увидев меня, он кивнул, словно мы накануне виделись, и позвал Наденьку. Она выскочила на крыльцо, обвязанная полосатым фартуком. Наденька вытерла о фартук мокрые руки и, смущенно улыбаясь, протянула:

— Надо же! Вот не гадала!.. А мы строиться надумали. Дом-то совсем трухлявый. Того гляди развалится,— озабоченно сказала она и поджала губы, и тут же спохватилась: — Ой, что же я лясы точу, а там картошка горит. Хоть разорвись с этим хозяйством.

Она бросилась в дом и сразу вернулась.

— Что же вы стоите? Заходите. Завтракать будем. Около, кончай возиться. Слышишь, что я говорю! — прикрикнула Наденька.

— Слышу, не глухой,— сквозь зубы процедил Около и сильным толчком лома спустил на землю бревно.

— Подумаешь, не глухой,— запальчиво проговорила Наденька и прищурилась: — А почему ты так со мной разговариваешь? Кто я тебе, а?

— Хватит дурачиться... Иду,— проворчал Около. Бросил лом и пошел умываться.

Наденька, доказав мне, что Около у нее покорный муж, а она хозяйка ужасно строгая, притворно вздохнула и пожаловалась:

— Грубый он еще у меня. Учучу, а все без толку.

Сразу было видно, что в доме командуют молодые, и командуют по-своему. Стол на кухне был заставлен чугунами, мисками, завален картофельной шелухой. В уголке у зеркала сидел Алексей Федорович. Он не изменился: щеки по-прежнему румянились, и глаза по-детски улыбались. В «чистой половине» избы был полный развал, словно хозяева куда-то поспешно собираются уезжать. Посредине комнаты стоял раскрытый чемодан, ящики комода все были выдвинуты, на диване лежала куча белья, а поверх ее, вытянувшись, спала кошка. На столе, на стульях, на окнах — везде валялись книги и патефонные пластинки.

Вошел с мокрым лицом Около, стал искать полотенце и, не найдя, вытерся наволочкой.

— Около, очисти стол,— приказала Наденька.

Около перетаскал к печке чугуны с мисками, протер мочалкой клеенку, и мы сели завтракать.

Молодая хозяйка с лихвой доказала, что влюблена по уши. Суп был пересолен, картошка пережарена, а молоко кислое.

— Корову сдали в колхоз. Кому с ней возиться? А молоко берем с фермы. И вот каждый раз скисает. Отчего — не пойму? — оправдывалась Наденька.

— Бидон надо чисто мыть и прожаривать,— веско заметил Около.

— А ты сиди, лопай и не суйся в бабьи дела. А то вот порсну ложкой по лысине.— Наденька перегнулась через стол, легонько стукнула мужа по лбу, а потом с удовольствием облизала ложку.

Да, все здесь было по-другому; от повадок Ирины Васильевны не осталось и следа. Словно ворвался ураган, перевернул все, взбудоражил и выдул из старого кольцовского дома тихий, убаюкивающий покой. Молодые жили безалаберно, но весело, ели что попадет под руку, зато с аппетитом, часто ссорились, но тут же мирились.

— Ну, а как же теперь с общественной работой, Наденька? — спросил я.

Около безнадежно махнул рукой:

— По-прежнему носится как угорелая. Зато видели, какой в доме порядочек...

Наденька вспыхнула, вскочила, смахнула с ресниц слезу и обиженно прошептала:

— Бессовестный, ну какой же ты бессовестный! Сам же знаешь: у меня стирка!

— Что-то она больно затянулась. Как в колхозе посевная.

— Неправда, неправда. Позавчера только начала. А ты черствый, бездушный и... и...

Думать, подбирать слова ей страшно мешала бурная радость; она старалась быть грозной, а была смешной и трогательной, она хотела казаться несчастной, а сама вся сияла, залитая мягким, теплым светом, тем светом, который раньше лишь изредка на минуту вспыхивал на ее некрасивом лице. Она была безмерно счастлива... Чего же еще надо!

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Анастас колотил палкой по ставням и кричал:

— Эй, Стеха! Чего закупорилась? Не вишь — у-ро? Ставни открой!

Удары раскатывались по селу, а старый пустой дом гудел и ухал, как огромный чугунный котел.

Потом Анастас поднялся на крыльцо и обалдело уставился на новый тяжелый замок, висевший в кованых пробоях двери.

— Откуда такой замок взялся? Кажись, у меня тако-го и не было. Разве что Стеха купила.

Анастас принялся искать ключ. Он обшарил щели и дырки в дверях, перешупал пазы бревен, перевернул полусгнившие ступени крыльца. Когда все было ошупано, обшарено, перевернуто вплоть до кирпичей под окнами, Анастаса взяла оторопь.

— Куда же она его запрятала? Разве что в собачьей будке посмотреть.— И он пошел в сад.

В былые времена, когда он был молод и когда еще был жив беззлобный и брехливый «дворянин» Полкан, будка служила надежным семейным тайником для ключа. Но пес давно издох, будка давно сгнила и Анастас давно состарился.

Старик бродил по саду меж одичавших кустов смородины и крыжовника. Он забыл про ключ: теперь его одолевали другие мысли. Он негодовал на жену Стеху, на сына с невесткой за то, что они своей беспечностью и бесхозяйственностью погубили дивный сад. Пышную бесплодную яблоню и полузасохшую грушу он скверно выругал, грозился начисто вырубить буйный вишенник. Но злость и обида скоро прошли, их сменила тупая усталость. Дойдя до колодца, он присел на источенный червями трухлявый сруб.

На старика снизошло небытие. Последнее время оно все чаще и подолгу одолевало Анастаса. Сердце еще

качало кровь, но уже не способно было чувствовать. Он неподвижно сидел на срубе и широко раскрытыми глазами смотрел на мир. Видел ли он что-нибудь — трудно сказать.

Стояло бабье лето, ясное, безмолвное и грустное, по утрам знобкое, днем жаркое, а ночью холодное. Прозрачная паутина, словно сети, опутала длинный забор. На дуплистой липе с блекло-зеленого листка плавно спускался паук. Дружная семья коренастых одуванчиков расцветала вторым цветом, и он был ярко-желтый, как само солнце.

Голоногая, с хитрыми зелеными глазами девчонка пролезла сквозь тын, подпрыгивая, подбежала к колодцу: — Дедушка Анастас, айда завтракать!

Старик не пошевелился и продолжал смотреть в одну точку. Девочка пососала палец, потопала босыми, красными от холодной росы ногами, потом присела на корточки и заглянула в глаза Анастаса. Они были круглые, оловянные и смотрели не мигая, как у слепого. Девочке стало страшно. Она вскочила и со всех ног бросилась от колодца. Но, добежав до забора, остановилась и, постояв немного, вернулась назад. Старик сидел в прежней позе. Девочка, замирая от страха, с какой-то отчаянной решимостью дернула Анастаса за рукав рубахи:

— Дедка, пойдем домой!

Анастас вздрогнул и удивленно посмотрел на девчонку:

— А? Чего ты говоришь-то?

Девочка подпрыгнула и засмеялась:

— Зову, зову, а ты как глухой. Пора завтракать. Картошка стынет, и мамка ругается, — радостно, без передышки сыпала она и тянула Анастаса за руку. Он едва поспевал за ней и широко, бессмысленно улыбался.

Они вышли из сада, обогнули дом с наглухо заколоченными окнами, и тут Анастас решительно заупрямился:

— Куда ты меня, пострел, тянешь? Вот ведь дом-то мой.

Девочка всплеснула руками:

— Ой, какой же ты смешной, дедушка!

Анастас повернул назад, к крыльцу своего дома. Девочка догнала старика, вцепилась в подол рубахи и заревела.

Анастас остановился:

— Ну, ну, не плачь, глупая. Экая глупая.

— Зачем ты меня пугаешь? — глотая слезы, сказала она. — Небось и картошка остыла, и мамка ругается.

— Ну коли так, идем же скорее, — охотно согласился Анастас и опять направился к своему дому.

— Да не туда! — закричала девчонка и сердито топнула ногой. — У, какой упрямый, как бык!

— Как не туда? — удивился старик. — Вот ведь мой дом.

— А вот и нет. Теперь ты у нас живешь.

— У кого — у вас?

— У нас. У папки моего, Ивана Лукова.

Старик махнул рукой:

— Эва что придумает. В чужом доме жить, а свой на что?

— Там теперь никто не живет...

— Как «никто»? А я... А баба моя... Сын мой, Андрей Анастасьич. Эка ты глупая девка-то. — Старик привлек к себе девочку и подолом рубахи вытер ей мокрый нос. Она прижалась к Анастасу. Он гладил ее всклокоченные волосы и как мог успокаивал.

— И совсем не глупая. И совсем не глупая, — всхлипывая, говорила девочка. — Ты сам все забыл. Все, все на свете, и бабушка твоя померла.

— Кто — «померла»? — переспросил старик.

— Твоя бабушка Степанида. Совсем недавно ее похоронили.

— Похоронили Стешу? Она что... — Анастас поднял вверх голову и перекрестился.

— Пойдем, дедушка Анастас.

Она тихо потянула старика за руку, и он покорно поплелся за ней...

Анастас Захарович Засухин страдал провалом памяти. Болезнь то внезапно наваливалась на Анастаса, то так же внезапно оставляла его. Первый раз она посетила Анастаса пятнадцать лет назад, после того как он сжег колхозную ригу со льном. По этому случаю Засухина вызвали в прокуратуру к следователю. Перепуганный насмерть Анастас, до этого не имевший никакого понятия ни о судьях, ни о прокурорах, внезапно все забыл и на вопрос следователя: «Расскажите, как было дело?» — ответил вопросом: «Какое еще дело?»

Следователь улыбнулся:

— Ты мне не строй злоумышленника. Рассказывай, как спалил ригу.

Анастас обалдело уставился на следователя:

— Какую еще ригу?

— Обыкновенную ригу, колхозную, со льном,— пояснил следователь.

— Да нешто я ее спалил? — удивленно протянул Анастас.

— Точно, спалил, и головешек не осталось.

— Вона что... А я-то что-то и не припомню.

— «Не припомню»... Забавный тип ты, Засухин. Прямо по Чехову жарись,— засмеялся следователь и, резко оборвав смех, принял строгий вид.— Вот что, дорогой мой, о том, что ты спалил ригу, всем известно, и доказательств не требуется. Понятно?

— Так-так,— подтвердил Анастас.

Следователь откинулся на спинку стула. Высоко вскинул брови и показал Анастасу палец.

— Мне важно знать, был ли умысел или простая небрежность.— Следователь описал пальцем круг и продолжал: — Умысел бывает косвенный и прямой. Понимаешь, Засухин?

— Так-так,— заулыбался Анастас, следя, как тонкий палец следователя мелькает перед его носом.

Улыбку Анастаса следователь почему-то принял за насмешку. Он густо покраснел и резко сменил добродушный тон на грубый:

— Ты мне не прикидывайся. А говори прямо. Нарочно спалил ригу или так, по халатности?

— Чего ты мне говоришь-то? Кто кого спалил? — наивно переспросил Анастас и окончательно восстановил против себя следователя, который в сущности-то, и не желал старику зла.

Следователь вел порученное ему уголовное дело. Он был молодой, горячий, в своей работе превыше всего ставил объективность и беспристрастность. Дело о поджоге он относил к делам бесспорным и пустячным, лично видел, что обвиняемый — не преступник: просто недоразвитый колхозник; знал, что и ригу он сжег без умысла: уснул и сам чуть не сгорел вместе с ней; и был уверен, что наказание ему будет условное. Следователь и сам бы мог внести в протокол нужные ему показания, и, конечно, обвиняемый, не читая, подписался бы под ними. Но где тогда объективность? И ради этой объек-

тивности он добивался от Анастаса одного только слова «уснул». Ему очень хотелось подсказать это слово Анастасу. Но не мог: мешала беспристрастность. И он продолжал допрашивать Анастаса. Доведенный до бешенства его ответами: «Какое дело?..» и «Да нешто это я?..» — следователь арестовал старика и, провожая его в камеру, сказал:

— Подумаешь сутки-другие — как миленький заговоришь.

Прошли сутки, другие, третьи — Засухин не заговорил «как надо». Его направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

В больнице к Анастасу внезапно вернулась память, и он сказал то заветное слово, которого так упорно добивался молодой следователь. А в суде опять забыл.

Суд не был так шепетильно объективен, как следователь, и чтобы поскорее развязаться с затянувшимся делом, приговорил Анастаса к условному наказанию. В колхозе условное осуждение расценили как чистое оправдание. «Придуривался, придуривался и вылез сухим. Вот уж придурок так придурок», — долго судачил народ. Кличку «придурок» он носил лет пять, пока колхозники не убедились, что у Засухина и в самом деле не все дома. На общем собрании, когда решался вопрос о распашке залежных земель, Анастас Засухин неожиданно для всех заявил, что давно пора заняться «черным переделом».

В период провала памяти Анастаса одолевало тупое безразличие ко всему. Когда же она возвращалась, Анастаса охватывала бурная деятельность.

Засухин находился в полном сознании, когда гроб с его Стехой опустили в могилу. Он первым бросил горсть земли, низко поклонился и сказал: «До скорой встречи, Стеша». А на поминках произошел конфуз.

Перед первой скорбной стопкой Анастас что-то хотел сказать, но, не найдя слов, тяжело вздохнул, выпил и, не закусывая, долго сидел, качая головой из стороны в сторону. Налили по второй. Анастас неожиданно взбодрился.

— Нам жить, а Степаниде Мироновне гнить!

Гости потупились, а пышная, грудастая жена сына, приехавшая из города на похороны, поморщилась и сказала мужу:

— Андрей, не давай ему больше. Да и сам не нагружайся.

— Батя, хватит тебе.— Андрей хотел взять из рук отца бутылку.

— Эх, сынок, горе-то какое, а ты — «хватит».— Анастас до краев налил стопку и, тряхнув головой, крикнул:— Гости дорогие! Выпьем за Степаниду Мироновну! Нехай ей там легко гнить, а нам тут весело жить!

Захмелевшие гости дружно выпили. И так перед каждой стопкой Анастас возбужденно продолжал выкрикивать: «Нам весело жить, Степаниде Мироновне гнить». А потом запел высоко и нестройно: «Снеги белые пушистые...» — и, резко оборвав песню, вскочил и топнул ногой.

— А ну, Стеха, выходи!

Все онемели. А Анастас бил каблуком, хлопал себя ладонями по груди и коленям и продолжал настойчиво вызывать свою Стеху...

Утром, после поминок, Андрей с женой, Зинаидой Петровной, под руки привели Анастаса в дом соседа Ивана Лукова и положили в темном углу за печкой на узкую железную кровать. Анастас покорно лег на тугой соломенный матрац, заложил руки за голову. Сноха стащила с Анастаса валенки, накрыла старика одеялом и сказала:

— Здесь ему будет хорошо.

Анастас, пристально и нежно смотревший на сына, пошевелился, перевел глаза на сноху и тихо ответил:

— Куда ж еще лучше. И печка рядом.

Андрей присел к отцу на кровать. Анастас положил на плечо сына руку. Андрей поежился, поспешно вытащил из кармана сигаретницу... И пока он курил, Анастас ласково гладил плечо сына. Молчание было всем в тягость. Иван Луков и его жена Настя не поднимали глаз от полу и только изредка переглядывались. Зинаида Петровна рассматривала обстановку колхозной избы. Она была слишком простой: пестрые занавески на окнах, стол, десяток стульев, самодельный платяной шкаф, никелированная кровать с горой подушек, приемник «Заря».

«Боже мой, какая убогость», — подумала Зинаида Петровна и, тронув Настю за локоть, как бы извиняясь, сказала:

— Ему у вас будет очень хорошо. Комната теплая.— Она хотела сказать «уютная», но постеснялась и сказала «теплая».

Настя, исподлобья бросив злобный взгляд на Засухину, отрезала:

— Какая уж есть.

— Да, да, очень милая, очень милая,— поспешно заверила Зинаида Петровна и обратилась к мужу: — Андруша, нам пора.

— Успеешь! — резко ответил Андрей и крепко сжал руку Анастаса.— Отец, ты будешь жить здесь. Понимаешь?

Анастас пристально смотрел на сына.

— У соседа, Ивана Лукова. Понимаешь?

Анастас, не отвечая, продолжал разглядывать сына.

— Что же ты молчишь, отец?

Анастас приподнял голову и улыбнулся наивно, по-детски:

— Чего ты говоришь-то?

— Ты, отец, будешь жить здесь, у Ивана Лукова,— повторил Андрей.

— Эва, у чужих людей жить. А свой-то дом на что? — возразил Анастас.

— Так надо, отец.

— Ну коли так надо, тогда что ж, поживу,— нехотя согласился старик.

— Ну вот и молодец,— обрадованно подхватил Андрей,— а через год мы тебя заберем в город. Понимаешь?

Анастас кивнул головой, пожевал губами и тихо спросил:

— Старуха-то моя разве уж померла?

— Да, отец.

Анастас отвернулся к стене и натянул на голову одеяло.

Когда Андрей с Зинаидой Петровной выходили из дому, Настя плюнула им вслед и сказала:

— Бесстыжие охломоны!

— Шаромыжники! А ну их...— добавил Иван и крепкими матюками обложил Засухиных.

Через полчаса Анастас сидел за столом между старшей дочерью Луковых Раей и младшей Лидочкой. Он хлебал из общей алюминиевой миски мясной наваристый суп, хлебал и похваливал.

Супруги Луковы, приняв в дом Анастаса, с первого же дня зачислили его равноправным членом семьи. Это означало для Анастаса: ешь, пей, спи. Надо будет — выругают или пожалеют; о каких-либо привилегиях или

особом внимании и не мечтай. Они твердо верили, что особое внимание не только балует, но и унижает человека.

Настя днями пропадала на молочной ферме. Иван — в строительной бригаде. Старшая дочь училась и после уроков помогала матери на ферме. Лидочка совсем была мала: она первый год ходила в школу.

Несколько дней Анастас пластом лежал на койке, не отрываясь смотрел в потолок и что-то шептал про себя. Лидочка прибегала из школы, всплескивала ладошками, качала головой и, как взрослая, говорила нараспев: — Надо же подумать — все лежит. И как тебе, дед, не надоест лежать?

Анастас слушал, улыбался, поглаживал бороду.

— Вот еще, улыбается, как маленький! — нарочито возмущенным голосом выкрикивала Лидочка и, подскочив к Анастасу, принималась тормозить его: — Вставай, вставай, а то пролежни належишь. Да ну вставай, дед, обедать будем!

При слове «обед» старик поднимался, опускал на пол ноги. Лидочка усаживала деда за стол, потом доставала из подпола отпотевшую крынку с молоком.

Как-то Лидочке вздумалось накормить Анастаса щами. Длинной кочергой она подцепила в печке полуведерный чугунок со щами и опрокинула его. Перепуганная насмерть Лидочка не знала, куда спрятаться. Она очень боялась матери, у которой был вспыльчивый характер и хлесткая рука.

Когда Настя пришла с работы и увидела в печке перевернутый котел, она позеленела от злости и, вытащив из веника прут, бросилась искать дочку. Заглянула под кровать, слезила в подпол, на чердак, обшарила все углы в сенях, во дворе и, не найдя, пообещала расправиться с ней, как только явится домой.

Начало смеркаться. Прибежала с фермы Рая, вскоре пришел с работы и отец. Пора было ужинать. Лида не являлась. Настя забеспокоилась. Уже совсем стемнело, когда Луковы отправились искать дочку. Поиски были долгими и шумными: вся деревня поднялась на ноги. Настя, обезумев, носилась по улице, истошным голосом вызывала Лиду. Она вначале грозилась запороть ее до смерти, потом начала умолять и клясться, что ей ничего не будет, а потом заревела на всю деревню дурным голосом.

Была глубокая ночь, когда Луковы вернулись домой ни с чем. Настя неутешно плакала. Молчаливый Иван грубо прикрикнул на нее и приказал собирать ужин. Настя, глотая слезы, накрыла стол и пошла будить Анастаса. Откинув одеяло, она радостно заголосила.

— Ах ты, негодная овца! Что же ты со мной делаешь?!

Под боком Анастаса, свернувшись, безмятежно посапывала Лида.

Так между старым и малой завязалась дружба. Лида отца не боялась. У него хоть на голове пляши, слова не скажет. Зато матери под горячую руку не попадйся. И Анастас явился для нее надежной защитой. Когда после очередной проказы Лида пряталась за спину Анастаса, Настя ее не трогала, а только грозила:

— Ну погоди, выпорю, так выпорю — живого места не оставлю.

Прошла неделя. Анастас не выходил из дому. Почти все время лежал в своем углу, уставясь в потолок, вытянув поверх одеяла длинные вялые руки... И вдруг в то утро пропал...

Лидочка разыскала старика в саду и привела домой. Настя резко отчитала Анастаса:

— Ты куда ушел без спроса, а? Кто тебе такую волю дал? А?

— Как куда? Гулять, — невозмутимо ответил Анастас.

— Какой гулена нашелся! Ты посмотри только на себя. Срам. А рубаха-то, рубаха! Словно корова жевала. Лида, достань-ка из комода батькину красную рубаху.

Напяливая на Анастаса рубаху, Настя продолжала пилить старика:

— И зачем я навязала тебя на свою шею? Потому что дура, вот зачем. Ты думаешь, велика мне радость — твои двадцать рублей? Да разве это деньги? Тьфу!.. Я сама на ферме много больше выгоняю.

— Мамка, хватит ругаться, — укоризненно протянула Лида

— Я не ругаюсь, правду говорю. А правду никому не побоюсь в глаза сказать, — отрезала Настя и критически осмотрела наряд Анастаса. — Не очень-то чтоб очень. Ну да не на свадьбу... Разве воротник сузить.

В широкой Ивановой рубахе Анастас утонул. Торчала лишь круглая, как клубок шерсти, голова с маленьким скомканным лицом. Настя подшила воротник, застегнула

пуговицы и, запрятав подол рубахи старику в штаны, погрозила пальцем:

— Взяла я тебя из жалости. А коли так — соблюдай порядок... дисциплину. А будешь нарушать мою дисциплину, так я быстро распоряджусь — в багаж и на станцию. Пусть с тобой в городе культурные нянчатся, а у меня, запомни, не богадельня.

Анастас слушал, улыбался, и трудно было понять, чему он радовался. Тому, что его приютили из жалости, или тому, что на нем новая красная рубаха, которая старику очень нравилась.

На другой день с утра он опять околачивал палкой дощатые ставни. На третий день — тоже. И все чаще и подолгу пропадал в саду. К нему возвращалась жажда деятельности. Он вдруг принимался окапывать давно одичавший куст крыжовника и работал до тех пор, пока его взгляд случайно не останавливался на куче дров. Он бросал лопату и шел укладывать в поленницу дрова. Но и это дело быстро забывал и начинал заделывать дупло старой липы. Липа была ровесница Анастасу и готовилась при первом сильном ветре свалиться. Сердцевина у нее сгнила, и ствол при ударе гудел, как труба. Эта работа тоже скоро останавливалась из-за консервной банки, которая случайно попадала старику под ноги. Анастас поднимал банку, вытряхивал из нее мусор и радовался как ребенок:

— Эх, банка хороша! Как раз для червяков на рыбалку.

В нем пробуждалась хозяйственная жилка, и хотя занятия старика были наивны и бесполезны, в них проглядывали проблески сознания. И медленно возвращалась память. Луковы ни в чем не ограничивали старика и предоставили ему полную свободу. Они, по-видимому, считали, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, хотя потом и раскаивались.

Старая полудикая груша, родившая мелкие, как орех, и страшно кислые плоды, наполовину высохла. Анастас решил ее малость окультурить. По лестнице с ножовкой в руках он влез на грушу и энергично принялся спиливать отмершие сучья. Старик помогал Лидочка: она подбирала сучки и складывала их в кучу. Груша была начисто обрита, оставался один небольшой сучок. Анастас, бросив на землю ножовку, потянулся к сучку и, потеряв равновесие, опрокинулся с лестницей. Когда

Лидочка подбежала к нему, Анастас лежал на спине.

Иван Луков перебирал пол в колхозной бане, когда прибежала посиневшая от страха Лидочка и, уткнувшись в колени отца, заголосила:

— Дедка Анастас разбился!

Невозмутимый Иван только крикнул и, поставив дочку на ноги, корявой, как дерюга, ладонью вытер ее мокрое лицо.

Когда Иван распахнул калитку в сад, Анастас сидел, привалившись спиной к стволу груши. Иван подошел к нему и долго в упор разглядывал старика. Анастас смотрел на Лукова, и в глазах его, обычно тусклых и пустых, стояла безысходная тоска.

Иван опустил на колени, вытащил коробку с махоркой, скрутил толстую, как сигара, цигарку, глубоко затянулся и, выдохнув дым в лицо Анастаса, спросил:

— Мостолыги-то целы?

— Кажись, целы,— пробормотал Анастас.

Прошло добрых пять минут, пока Иван накурился; он раздавил о каблук окурки и наконец, собравшись с мыслями, сказал:

— Проверься хорошенько. Если что, так враз машину и в больницу наладим.

— Проверялся... ничего. Только вот в плече да... в затылке гудёт.

— Дюже гудёт?

Анастас болезненно сморщился:

— Не так чтоб дюже, а гудёт.

— Тогда ничего. Погудёт и бросит,— заверил Иван, одной рукой подхватил под мышку лестницу, другой — Анастаса.

Старик хоть и медленно, но твердо переставлял ноги. Проходя мимо дома со слепыми окнами и тяжелым замком на дверях, Анастас мельком взглянул на него и, растягивая слова, спросил:

— У тебя живу-то, что ль?

— Ага,— ответил Иван.

— Так-так...— Анастас остановился, потер лоб, потом затылок.— Это, значит, так Андрей распорядился?

Иван задумался; осторожно опустил Анастаса на землю, сел рядом.

— Она.

— Так-так... Выходит, что она всему голова.

— Голова баба. Крепкая голова.

Иван Луков никогда ничему не удивлялся и ни о чем не сокрушался, на жизнь смотрел просто и практично. Он был от природы грубоват. Но грубость его не перерастала в пошлость и не была оскорбительна. Она служила ширмой, за которой Луков скрывал свою простоватость и безволие. Настя еще девкой раскусила характер Ивана и женила его на себе. Сразу же после свадьбы он попал под каблук горячей и упрямой жены. Настя командовала мужем как хотела, а он, хотя и ворчливо и нехотя, во всем подчинялся. Дочери тоже учились у матери командовать отцом, хотя и любили его больше, чем Настю.

Иван решил, что уж если Анастас в таком возрасте упал с дерева и не рассыпался, значит, старик крепкий и выживет без врачей. Настя же решила по-своему и наутро прогнала Ивана в больницу за доктором.

Доктор выслушал, выстукал Анастаса, сказал что-то непонятное и уехал, предупредив, что если старику будет хуже, немедленно везти в больницу.

Анастасу не было ни лучше, ни хуже. Теперь он находился в полном рассудке, но говорил мало и с передышками. Кашлять старику было трудно, и он только кряхтел, слабо и жалобно. Настя уговаривала старика сообщить о болезни сыну. А когда он наотрез отказался, она сама украдкой отослала в город письмо.

Ответ пришел скоро. Зинанда Петровна посылала Луковым тысячу теплых приветов, униженно просила приглядеть за домом и беречь сад. О старике она вспомнила в конце письма, пообещав, что если ему будет совсем плохо, то Андрей обязательно приедет. Настя расценила ответ так, что старик им вовсе не нужен и если они и приедут, то разве что на похороны. Глубоко задетая за живое, Настя стремительно прошла за печку к Анастасу, но, увидев торчащую из-под одеяла голову, обросшую белыми мягкими волосами, круглые грустные глаза, бессильные тонкие руки, смогла выдавить одно только слово: «Дедушка...» Злость мгновенно остыла. Настя подоткнула под бока Анастасу одеяло и, смяв в кулаке письмо, тихо вышла из дому.

Анастас старался болеть как можно тише. Он с горькой обидой сознавал, что уж если стал в тягость родному сыну, то каким же неприятным, ненужным грузом он лег на плечи чужих людей, бескорыстно приютивших его, никудышного старика. Анастас, давно потерявший

веру в бога, теперь горячо, до слез умолял его вернуть ему здоровье. И оно медленно, нехотя возвращалось к старнику.

Когда Иван с Настей уходили на работу, а девочки в школу, Анастас с трудом и оханьем сползал с койки, добирался до приемника, включал его и, подвинув стул к окну, садился, облокотясь на подоконник. И потому, что слух жадно ловил голоса приемника; и потому, что, сидя в этой теплой, насквозь пропахшей ржаным хлебом и кислыми щами избе, он явственно ощущал, как разгуливает ветерок на улице; и потому, что чуть теплое солнце все еще золотило пожухлую стерню полей, а под окнами куст сирени с темно-зелеными листьями все еще нежился, перед тем как его хватит осенний морозец,— старик сознавал, что ему тоже очень хочется жить, и чувствовал, что он обязательно будет жить и что силы вот-вот вернуться к нему.

Первой приходила из школы Лидочка. И сразу, с порога, начинала выкладывать Анастасу последние новости.

— Дедка, ты знаешь, на крыше клуба ставят антенну. Ужась какую высокую, даже макушки не видно!..— захлебываясь от радости, кричала Лида.

— А зачем она, эта антенна? — интересовался Анастас.

— Для телевизора. В клуб телевизор новый привезли, и говорят, очень дорогой. Мы с тобой будем, дедушка, ходить на телевизор. Правда, хорошо, когда есть телевизор?

— На что ж еще лучше,— соглашался Анастас.

Лида, не дав деду поговорить о телевизоре, сообщила очередную, не менее важную новость:

— Степку из школы выгнали. Так и надо ему! Взял, дурак, оборвал с кустов перец и давай девчонок по губам мазать; меня тоже два раза мазнул. Ужась как жгло.

— Пороть стервеца надо за такие дела.

— Теперь пороть, дедушка, запрещено.

— А что же с ним делать?

— Воспитывать, воспитывать! — хлопая в ладоши, кричала, припрыгивая, Лидочка.— А нашу Райку в газете пропечатали. Вот потеха: учится хуже всех, а ее в газету.

— Не может быть такого,— сомневался Анастас.

— Зато она хорошо работает на ферме. А теперь производственная учеба — выше школьной... вот! — пояснила Лида.— А я все равно не пойду на ферму... хоть убей.

— А куда же ты пойдешь? — спрашивал Анастас.

Лидочка, подпирая кулачком щеку, задумчиво глядела в потолок.

— Я еще сама точно не решила. Не знаю, что лучше. Или в детском саду ребятишек нянчить, или яблоки караулить.— И, спохватившись, решительно заявила: — Ты, дед, сиди тихо и не мешай мне уроки делать.

Она вытряхивала из сумки на стол книжки с тетрадками и вместе с ними недоеденный кусок пирога, а потом взбиралась с ногами на стул, наваливалась грудью на край стола и, высунув язычок, пыхтя, выводила острые, как частокोल, буквы. Стол был высок для Лиды. На нем ели, шили, гладили и долгими зимними вечерами играли в карты. Анастас думал: вот как поправится, смастерит для Лидочки удобный столк.

Вечером после ужина Анастас шел в свой угол, валился на жесткий матрац и, заложив руки за голову, шумно вздыхал. Иван подвигал к койке табурет, садился и собирался с мыслями, чтобы завести с Анастасом умный, дельный разговор. Но мысли в его голове воровались тяжело, неуклюже, как жернова. И он никак не мог придумать, с чего же начать. Анастас первым начинал нужный разговор, над которым так мучительно думал Луков:

— Строиться тебе надо, Иван Нилыч.

Иван, сделав последнюю глубокую затяжку, выдыхал вместе с дымком:

— И то надо. Лес-то у меня давно заготовлен.

— Хороший лес?

— Ничего лес-то. Ладный лес-то. На избу с кухней.

— Плотников будешь нанимать аль сам?

— И сам, и плотников.— И после долгого молчания добавлял: — А тебя, Анастас Захарыч, буду просить. Уважь, сосед, пусти в свой дом пожить, пока строюсь.

— Эва какой разговор. Да хоть завтра перебирайся и живи,— обрадованно говорил Анастас.

Луков удовлетворенно крякал и сворачивал толстую, соглоблю, сигарку. Анастас улыбался и, хитро подмигивая, спрашивал:

— Деньжат-то небось припас на стройку?

— Ничего, хватит. В этом году мы неплохо вкалывали с Настюхой.

— Сколько же на трудодень-то пришлось? — любопытствовал Анастас.

— Ох-ха-ха! — раскачиваясь, хохотал Иван. — Отстал ты, Захарыч. Теперь у нас как на производстве: поработал — и хрустики на бочку. Денежная оплата. Настя, подай-ка мне расценку, — приказывал Иван.

Листая толстыми, неуклюжими пальцами тоненькую книжицу расценок колхозных работ, Луков, широко улыбаясь, пояснил:

— Вот тут, как в стекло, смотришь и видишь, за что вкалываешь. Полюбопытствуй, Захарыч!

Анастас углублялся в изучение книжицы, поминутно вставляя свои соображения:

— Плотницкие работы занижены. А вот заработки на ферме высокие.

— Малость высоки, — соглашался Иван.

Эти слова, словно иглы, впивались в сердце хозяйки.

— Ах ты, чурбан немытый, — начинала она с низких клокочущих нот. — А ты поди сам да поработай на ферме. Небось перекуры по часу стронть не будешь. — Голос у Насти поднимался, наливался звоном: — Расценки на ферме высокие?! Позавидовали, черти полосатые! А на других работах какие расценки? Туда вы не смотрите! С жита галок гонять — три рубля в день! А кого на эту работу назначили? Последнего лодыря Мишку Силакова. Да моя Лидка с этой работой справится. А он, здоровенный мужик, сидит под кустом и в чистое небо плюет. В день раз плюнет — три рубля в кармане. Разве же это не срамота?! Ты слышал, чтоб хоть раз Мишка стрельнул? И не стрельнет, потому что этот паразит копейки щербатой на порох не истратит. А ему три рубля положи! За что?.. За что, я вас спрашиваю?! — кричала Настя, и голос у нее свистел фистулой.

— Ты чего орешь-то на нас? Поди в правление и ори, — равнодушно откликнулся Иван.

— И пойду, и скажу! Все скажу. Я их, мазуриков, выведу на чистую водицу! — надрывно орала Настя.

Язык у Насти был острый, злой, беспощадный. Ее память хранила неистощимый запас ругательств, изумительно метких и язвительных. И она не переводя дыхания сыпала их и на лодыря Мишку Силакова, и на пред-

седателя, и на все правление, и на невозмутимого мужа, и на ни в чем не повинного Анастаса.

Старик слушал ее, закрыв глаза, и удивлялся, с чего это баба разошлась. Иван давно уже не слушал жену: он размышлял, о чем бы ему еще поговорить с Анастасом. Настя, видя, что ее гнев все равно что гроза в пустом поле, схватила полотенце и начала обхлестывать мужа, приговаривая:

— Это тебе за высокие расценки. Не сбивай людей с панталыку.

Иван изловчился, перехватил руку Насти и прохрипел:

— Ты чего это, а? Смотри! А то как вертану — кишки вокруг хребтины смотаются.

Настя, уловив в глазах мужа бычью ярость, стихла. И Луков снова завел разговор с Анастасом:

— Захарыч, ты слышал — нашего председателя сильно хвалили в газете. — И, усмехнувшись, покачал головой. — Вот чудеса!

— За что же?

— За хорошее руководство.

Анастас смеется:

— Молодец наш председатель.

— Голова председатель, хитрая голова.

Они опять надолго замолкают. Иван успевает за это время обдумать очередной умный вопрос.

— А вот, — начинает Анастас, — ты говоришь, хитер наш председатель. Это верно, хитер. Да не больно умен.

Иван пристально смотрит на Анастаса и скребет небритый подбородок:

— Это как же так понять, Захарыч?

— По деньгам ходит и не видит этих денег... Ты вот слушай, что я тебе скажу. Важная думка застряла в моей голове. Если мне не доведется ее поведать народу, так ты ее поведай. Потому как скрывать ее дальше нельзя. — Старик вздохнул и задумался. — А я ее скрывал от народа сорок лет... А зачем? Сам теперь не знаю... Наверное, от глупости да от жадности... Подло скрывать добро от народа. Это я только сейчас понял. Да слишком поздно.

— Конечно, нельзя скрывать, — поспешно соглашается Иван, хотя не понимает, о каких это таинственных деньгах толкует старик, по которым председатель ходит и не видит.

Анастас приподнимает с подушки голову и говорит полушепотом:

— А деньги-то, сосед, лежат у реки, на заливном лугу.

Иван, раскрыв рот, оцумело смотрит на Анастаса:

— Клад?

— Богатый клад... Ты знаешь три низинные котловины? Те, в которых вода до середины лета держится, а в мокрый год и совсем не высыхает?

— Да ты, никак, о лягушатниках толкуешь? — изумляется Иван.

— О них. А какие там деньгищи зарыты! Только надо уметь их взять.

Луков ухмыляется и качает головой.

— Да ты не тряси своей глупой башкой, а подумай,— вспыхивает Анастас.— Если эти котловины очистить, углубить да соединить с рекой, то что получится? Проточные пруды. Уразумел?

Иван пожимает плечами:

— А на что они, пруды-то? Лягушек разводить?

— Не лягушек, а карпа зеркального. Слыхал о такой рыбе?

— Слыхал, а есть не приходилось. Говорят, сладкая рыба.

Уронив голову на подушку, Анастас размышляет:

— Выгодное это дело для колхоза — рыбоводство. Дежневое...

— Оно, конечно, может, и выгодное, да трудное,— возражает Луков.

— А без труда не вытащишь рыбку из пруда,— веско замечает Анастас.

Утомленный разговором, старик закрывает глаза и поворачивается к Ивану спиной. Луков включает приемник и слушает «Последние известия».

Колхозники ложатся спать рано. Еще нет и одиннадцати. Один за другим, как по команде, слепнут дома. За окнами глухая, с непроглядным, низким, осенним небом ночь. Ветер раскачивает на столбах электрические фонари. Тускло-желтые пятна света всю ночь до утра ползают по маслянистой, жирной грязи.

Прослушав «Последние известия», Иван выключает приемник и ложится спать. И через минуту густой с переливами храп, словно грохот телеги, раскатывается по тесной избе Луковых. Он не дает уснуть Анастасу, ме-

шает думать. А думы — то до нелепости странные, то ясные и мудрые — всю ночь беспокоят Анастаса. Внезапно его озаряет яркий свет: всплывают милые сердцу картины детства и удалой юности. И вдруг свет погаснет, и откуда-то из темноты выползает гнетущая мысль: «А жизнь-то прожита. А чего ты добился, Анастас? Ничего». Была семья и не стало ее. Была Степанида, добрая, безропотная жена. Она тайком от него со слезами на глазах просила у бога смерти мужа. И не потому, что она не любила его, нет. Степанида очень любила Анастаса, страдала и мучилась сознанием того, что будет с ее душевнобольным мужем, когда она умрет. Кому он такой нужен? На сына Степанида не надеялась. Она и любила Андрея, и презирала за то, что он унаследовал ее, а не отцовский характер. Его мягкость и покорность пугали Степаниду.

Предчувствие матери подтвердилось. Сын бросил отца. Отца из жалости подобрали чужие люди. Боль и обида породили в Анастасе злобу к собственному сыну и великую благодарность к соседям Луковым.

«И с какой стати им было связываться со мной, больным стариком?» — спрашивал себя Анастас.

Живя рядом, крыша в крышу, он ни разу не сказал Луковым теплого слова; больше того — из-за какого-то непонятого теперь самолюбия презирал их. Ивана он считал дубоголовым, ленивым мужиком, Настю — вздорной, брехливой бабой. «И вот поди же, приютили как родного, без упрека, без косога взгляда. За что? Совсем ни за что», — думал и удивлялся Анастас. Правда, иногда брюзжит и ругается Настасья, но ведь ругань-то идет не от сердца, а от несносного характера. Ругает она всех: и колхоз, и председателя, и зоотехника, мужа, дочерей, и заодно Анастаса. Работает много и жадно. Улыбается редко. Зато улыбка, мягкая и лучистая, неузнаваемо преображает ее некрасивое лицо.

Глубокое чувство уважения к людям переполняет Анастаса. Он думает и о том, чем может быть полезен колхозу, который не бросил его на произвол судьбы и назначил пожизненную пенсию. И не случайно в голове старика родилась мысль о рыбоводстве, которую так и не понял бестолковый Иван Луков.

Анастасова думка не была новой. Она была подсказана ему еще отцом — скуповатым, расчетливым крестьянином. Анастас тщательно скрывал ее от всех, боялся, как

бы кто другой не перехватил. Расстаться Анастасу с этой мечтой было так же тяжело, как трудно было расставаться с собственной землей. Это была жадность глупая, непонятная, свойственная крестьянину-единоличнику.

Анастасу стало стыдно, словно его, старика, поймали за руку, уличили в подлости, в мелком мошенничестве. Зачем он скрывал? От кого он скрывал? От людей, которые в трудный час подали ему руку помощи.

Теперь старик думал о том, как он встанет на ноги, придет к председателю и выложит свою сокровенную мечту. И если председатель откажет, Анастас все равно будет бороться за нее. Как? Это уже не имело значения. Важно то, что теперь мечта дойдет до народа и народ подхватит ее. Так думал Анастас, и думал долго, упорно, пока не начинало ломить голову.

Под утро старик забывался коротким чутким сном.

Выздоровление подвигалось медленно и затянулось до глубокой осени.

В то утро день начался, как и все предыдущие, с завтрака. Но в поведении Анастаса было что-то новое и странное. Он бодро встал, наскоро умылся и, в ожидании завтрака, суетливо расхаживал, нервно потирая руки. Когда сели за стол, Анастас с жадностью набросился на подогретый вчерашний суп и хлебал его, обжигаясь.

— Куда это ты дед, торопишься? — ехидно спросила Настя.

— Дела, Настенька, дела, — серьезно ответил Анастас.

Настя, решив, что голова старика опять начала сдавать, горько усмехнулась:

— Какне же это у тебя дела завелись?

— Многие и разные, Настенька. Первым-наперво надо Степаниде могилку поправить. Ты бы мне, Иван Нилыч, топорик подобрал.

Иван пристально посмотрел в глаза Анастасу и кивнул головой:

— Подберу.

— Я тебе подберу! — закричала Настя. — Не видишь разве, что старик опять не в своей тарелке.

Анастас посмотрел на Настю и низко опустил голову:

— Это вы совсем зря и напрасно, Анастасия Павловна. — И опять обратился к Ивану: — А топорик-то мне подбери, Нилыч.

Переубедить Настю в чем-либо было невозможно. Болезненно самолюбивая, она не терпела возражений. Иван в таких случаях во всем с ней соглашался, а делал так, как ему надо было. Если Настя доказывала, что сперва надо починить забор, а потом крышу, муж охотно кивал головой, а сам брал лестницу и взбирался на крышу — штопать дыры. А Настя кричала на всю деревню и грозила кулаком:

— Скатись, черт, скатись! Переломай себе ребра. Ты думаешь — в больницу повезу? И не думай, и не мечтай!

Настя видела, что Анастас «в своей тарелке», а все-таки решила настоять на своем и принялась горячо доказывать, что после болезни необходим покой и здоровый отдых. Но Анастас на все доводы Насти отвечал невозмутимым молчанием.

И Настя прибегла к последней угрозе:

— Иди, иди. Но если опять свалишься, пальцем не пошевелю! — и для убедительности постучала по столу кулаком.

Дул упругий октябрьский ветер, срывая с деревьев блекло-желтые последние листья, сгоняя жидкие белесые облака в грязно-серые кучи. Временами проглядывало солнце, и по бурым промокшим полям шныряли густые тени. Но ветер быстро, словно брезентом, затягивал небо тучами, и опять моросил дождь.

На высоком бугре сиротливо мокло под дождем кладбище. С голых ветвей срывались крупные капли дождя и с глухим шлепаньем падали на пожухлую листву. От этого казалось, что во всех углах кладбища кто-то шепчется и тихо вздыхает.

Могила Степаниды — бесформенная куча песка и глины — осела. По краям на толстых ножках торчали белые одуванчики. Анастас нагнулся, сорвал один и понюхал, потом растер цветок пальцами и опять понюхал. Одуванчик, как и все вокруг, пах осенью.

На елке в густой хвое завозился клест, на голову Анастаса посыпалась шелуха. Анастас погрозил ему пальцем, глубоко вздохнул, надел шапку.

Придя с кладбища, он взялся мастерить крест Степаниде. И весь день дотемна строгал сосновые брусья. Небывалая усталость свалила старика с ног. Он едва дотащился до кровати и мгновенно заснул.

— Вот как наработался, родименький, — заметила Настя и из жалости не стала будить Анастаса к ужину.

Потекли дни, полные утомительного и непосильного для старика труда. Анастас работал лихорадочно, на последнем пределе. Он починил развалившееся крыльцо, перебрал заново вокруг дома ограду, для Лидочки сделал столик и преподнес Насте великолепную ступку, выдолбленную из сухого березового кряжа.

Работа не принесла Анастасу ни утешения, ни здоровья. Старик осунулся и слабел с каждым днем. Он весь как бы обвис. Щеки глубоко ввалились, зеленоватые концы усов опустились ниже подбородка, из орбит выпирали блекло-синие глаза. Не работа, а тоска съела Анастаса. Стремясь заглушить тоску, старик доводил себя до изнеможения. Настя запретила Анастасу что-либо делать. Но это не привело к лучшему.

Анастас находился в постоянном страхе за будущий день. Он чувствовал, что припадок повторится и что он будет очень опасным, а может быть, и роковым. И старик ждал его с каким-то животным страхом. Мозг у него день ото дня пух, размягчался, туманился. Теперь ему не хотелось принимать пищи. Но он ел, и ел много, потому как знал, что надо есть, и надеялся, что еда поможет ему. Настя с тревогой наблюдала, как тает старик. А таял он на глазах, словно воск. Резко выступили костлявые скулы, нос заострился, вытянулся, сник, как клюв у больной птицы, сухая челюсть отвисла и с трудом закрывала черный рот.

Анастас почти не шутил и не улыбался, ему не хотелось и разговаривать. С утра до сумерек просиживал у окна, угрюмо разглядывая серое тяжелое небо, осклизлый забор, раскисшие капустные гряды с белыми кочерыжками, голый заплаканный куст сирени, а под ним нахохлившихся кур с мокрыми, обвисшими хвостами. Бесперывно сыпал и сыпал мелкий липкий дождь. И день с утра походил на вечер.

В то утро Анастас, как обычно, встал рано и долго жмурился от яркого солнца. Он подсел к окну и пристально смотрел на длинное, белесое, как гусиное перо, облако. Облако медленно сползло за лес и наконец совсем исчезло. И, куда ни глянь, резала глаза чистая и холодная синь неба.

Анастас позавтракал излишне плотно. Без аппетита съел с картошкой большой жирный кусок говядины, запил его молоком и, почувствовав неимоверную слабость, прилег отдохнуть. Хозяева давно ушли на работу, де-

ти в школу. А старик все еще лежал, переживая тупую боль в животе. Когда она стихла, Анастас поднялся, старательно вымылся с мылом, подстриг портняжными ножницами бороду. Пристально разглядывая себя в зеркале, он горестно покачал головой и прошептал:

— Кажись, скоро конец.

Потом вытащил из-под койки сундучок, не торопясь любовно перекладывал с места на место свои наряды. Анастас остановился на новой, еще ни разу не надеванной сатиновой черной косоворотке с белыми пуговицами. Он легонько встряхнул ее и, подойдя к зеркалу, примерил. Косоворотка повисла на нем, как на палке. Ворот был непомерно широк, рукава болтались.

— Ну как есть пугало огородное,— умехнулся старик, подвернул рукава и туго заколол булавкой ворот.

Надев поверх рубахи старенький потертый жилет, он улыбнулся. Жилет обтянул Анастаса, и, вместо квадрата на ножках, он стал походить на веретено. Наряд дополнила шляпа с круто загнутыми полями.

А потом Анастас мучительно натягивал на ноги измятые хромовые сапоги с подковками и бесчисленным количеством гвоздей на подметках. Накинув на плечи синий плащ — подарок Андрея, Анастас вышел из дому и степенно, старательно обходя лужи, зашагал по не просохшей после дождя дороге. До центральной усадьбы колхоза его подвез шофер в кабине самосвала.

Ляды — большое село, накрест пересеченное шоссе и железной дорогами,— грохотало и суетилось. Бесперывно сновали грузовики, лязгая, проползали длинные составы товарных поездов. И люди все время куда-то торопились, словно тысячу дел переделали и еще столько же спешили сделать.

Суета, шум, лязг угнетали Анастаса. Он здесь не был давно — года два или три, точно не помнит. Анастас и раньше не любил это село за суету и безалаберность. А за это время оно изменилось до неузнаваемости.

Село перестраивалось. Улицы были перерыты, завалены досками, грудями кирпича. Рядом с маленькими бревчатými почерневшими домиками стояли высокие, длинные и нелепые для села дома. Глядя на них, Анастас размышлял: «Зачем все это? Зачем человеку к небу лазать, когда еще на земле так пусто?»

Правление колхоза разместилось в новом двухэтажном кирпичном доме. В приемной председателя было

тесно от просителей. Анастас занял очередь и стал терпеливо дожидаться. Но очередь подвигалась утомительно медленно, и терпение Анастаса стало убывать. Подкралось подозрение, что сегодня можно и не попасть на прием. А попасть надо было только сегодня. Завтра уже будет поздно, и, словно в подтверждение его опасений, за дверью кабинета раздался резкий звонок телефона и сочный акающий голос председателя:

— Да ну?.. Вот тебе на-а-а-а!.. Еду... Сейчас, немедленно.

Из кабинета в коротком дорожном плаще стремительно вышел председатель. Это был полный, рыхлый, как саратовский калач, мужчина. Анастас шагнул ему навстречу, загородил проход и низко поклонился:

— Роман Евсеич, не откажи...

Роман Евсеич был очень самолюбивый и обидчивый председатель; ему казалось, что все не понимают его и недостаточно уважают. Когда Анастас загородил дорогу председателю, Роман Евсеич опешил и не знал, что делать. Его рыхлое лицо вначале вытянулось, а потом смущенно заулыбалось:

— Это совсем ни к чему, папаша. Совершенно ни к чему...

— Дело у меня до тебя, Роман Евсеич. Очень серьезное дело.— Голос у старика задрожал, и он почти со слезами на глазах добавил: — Роман Евсеич, голубчик, не откажи!

На лице Анастаса было столько надежды, мольбы и страха, что председатель как-то неестественно крякнул и, взяв под руку, повел Анастаса в кабинет.

Роман Евсеич терпеливо и внимательно слушал путаный рассказ Анастаса о своей жизни. И ему стало очень жаль этого кроткого, обиженного человека, который всю жизнь, как муравей, таскал и копил для семьи, а на старости лет доживает свой век в чужом доме. И вот теперь просит, пока в здравом рассудке, отписать свой домик колхознику Ивану Лукову, который пригрозил его.

— Да ты, никак, умирать собрался? — спросил Роман Евсеич.

Вопрос был нелепый и ненужный. Роман Евсеич спохватился и, чтобы скрыть смущение, отвернулся к окну и стал смотреть на улицу.

— Готовлюсь, Роман Евсеич,— с легкой серьезностью ответил Анастас.

Роман Евсеич усмехнулся, покачал головой и задал вопрос глупее первого:

— А не рановато?

Анастас пристально посмотрел на председателя, вздохнул и опустил голову.

— Значит, сына думаешь лишить наследства?

— Я так полагаю, Роман Евсеич, теперь говорить о наследстве как-то неловко. Устарел этот обычай-то, не нужен он по нынешним временам. Если все у нас общее, то и после смерти все должно остаться обществу.

— Правильно, отец, очень правильно... Институт наследства — единственный пережиток, узаконенный государством... — авторитетно заявил Роман Евсеич.

Анастас махнул рукой:

— Я не про себя говорю. Какое у меня наследство. Один дом, и тот кое-какой. Видно, и Андрейка-то мой не очень в нем нуждается.

— Значит, дом решил завещать Луковым?

— А если возьмет колхоз — с радостью отдам, Роман Евсеич.

— Во как! Это хорошо, даже замечательно. — Председатель пристально посмотрел на Анастаса и задумался, а потом вскинул голову, весело улыбнулся и хлопнул по столу ладонью: — Решим так. Пока может, живи в нем сам, Анастас Захарыч. А если хочешь завещание оставить, то пиши на имя Ивана Лукова. Это все равно что колхозу... Я позвоню Евсюкову. Он тебе быстро состряпает эту бумаженцию.

Правление колхоза и сельсовет находились в одном доме. Трудно было понять, кто кому подчиняется — колхоз сельсовету или наоборот. Вообще-то по закону колхоз должен подчиняться сельсовету. Но по тому, как Роман Евсеич разговаривал по телефону с председателем сельсовета, Анастас понял, что руководителя местной власти Роман Евсеич крепко зажал и спуска ему не дает.

— Слушай, Евсюков, — приказывал Роман Евсеич, — завещание оформи, и безо всяких «но» и «да»... А на законных наследников начхать!.. Судить надо таких наследников: полуживого старика бросили на произвол судьбы. Ты смотри мне, старика не мытарь. Выдай ему эту завещательную, и баста! Понял, Евсюков? Тогда действуй...

Роман Евсеич посмотрел на часы, крикнул и сок-

рушенно покачал головой. Анастас поспешно встал и вплотную подошел к столу:

— Прости, Роман Евсенч, не осуди. Думку хотел одну поведать.

Роман Евсенч поморщился:

— Ну что ж, валяй...

И Анастас торопливо и сбивчиво изложил свою заветную мечту о колхозном рыбоводстве. Роман Евсенч слушал его с нетерпением, то и дело поглядывал на часы назвал Анастаса «молодцом», пообещал обязательно подумать над его «проектом», пожал старику руку и, схватив портфель, выскочил из кабинета...

Местная власть расположилась в двух небольших комнатах. В одной сидел секретарь, в другой — председатель Евсюков.

Секретарь — девушка миловидная, опрятная — одним пальцем отстукивала на машинке протокол последней сессии. Евсюков сидел за массивным письменным столом, морщил лоб и кусал ногти: он о чем-то напряженно думал. Перед ним лежал лист бумаги, на котором четкими круглыми буквами было выведено: «Наши итоги». После долгих мучительных раздумий Евсюков взлохматил густые рыжие волосы, бросил перо, потер руки и весело посмотрел на Анастаса, который скромно сидел на краешке стула и не спускал глаз с председателя.

— Так... Значит, вы и есть тот самый Засухин? — спросил Евсюков.

Анастас встал и поклонился:

— Так точно, он самый... то есть я — Анастас Засухин из Дальних Выселков.

— Ага! Прекрасно! — воскликнул Евсюков, опять взъерошил волосы и потер руки. — Очень хорошо, товарищ Засухин! — Он прошелся по тесному кабинету, посмотрел в окно и опять сел на свое председательское место. — Тэк-с, вы по поводу завещания?

— Ну да, завещания, товарищ председатель, — поспешно заверил Анастас.

— Ясно, — Евсюков тряхнул головой и подмигнул Анастасу. — А проектик вы подготовили, товарищ Засухин?

Анастас, недоумевая, пожал плечами:

— То есть какой проектик? Что-то мне невдомек, товарищ председатель.

— Проект завещания... — Евсюков на минуту задумался.

ся, а потом довольно-таки толково пояснил: — Обыкновенное завещание, написанное собственной рукой. Вы, конечно, не написали?

— Нет, не написал,— искренне сознался Анастас.

— Ну и прекрасно! — воскликнул Евсюков.— Сейчас мы его быстренько сочиним.

Евсюков достал из ящика стола стопку бумаги, очистил перо, поскреб затылок, сказал: «Тэк-с, начнем, пожалуйста»,— и перо забегало по бумаге.

— «Я, Анастас Захарович Засухин, колхозник колхоза «Зеленые холмы», будучи в твердой памяти и здравом рассудке...» — писал и говорил Евсюков, и Анастас удовлетворенно поддакивал. Ему очень нравился этот молодой веселый председатель сельсовета. Евсюкову было лет тридцать семь. В его плотной, приземистой фигуре бурлила энергия. Большие голубые глаза были выпучены и чуть не вылезали из орбит. Ярко-рыжие волосы, казалось, горели. Чистое, с мягкой розоватой кожей лицо было до наивности благодушным.

Когда завещание было составлено и отстукано на машинке, Евсюков дал подписаться под ним Анастасу, потом размашисто подмахнул сам и в качестве свидетеля заставил подписаться секретаря, а потом все это скрепил гербовой печатью.

Анастас здесь же, в кабинете председателя, слегка вспорол подкладку пиджака и глубоко запрятал драгоценную бумагу.

Итак, вопрос, который так тревожил Анастаса, был разрешен как нельзя лучше. Больше делать ему здесь было нечего. Анастас решил закусить в столовой и потихоньку добираться к Дальним Выселкам.

Столовая занимала весь нижний этаж дома. Просторная, чистая, светлая, она поразила Анастаса белоснежными салфетками и необыкновенными разноцветными стульями и в то же время огорчила старика: в столовой категорически запрещалось распивать водку. А выпить Анастасу очень хотелось.

Анастас зашел в магазин, купил пол-литра и побрел на перекресток дорог — ловить попутную машину.

Луковы нашли старика на крыльце его дома. Он бесвязно бормотал, размахивал руками и все порывался сбить с двери замок. Нашли и недопитую бутылку с куском хлеба и луковицей.

Анастас надолго потерял сознание. И помешательст-

во, в отличие от прежних, было буйным, изнуряющим. Он не спал сутками. Суетливо ходил из угла в угол, рот его нервно дергался, а глаза горели безумным, горячим блеском. Луковы насильно укладывали старика и накрепко привязывали к железной койке. Измученный старик забывался коротким, почти бездыханным сном. А среди ночи просыпался, с необыкновенной ловкостью и осторожностью снимал с себя путы и выскальзывал на улицу. Всю ночь напролет (если Луковы не спохватывались раньше) бродил вокруг своего дома. А в одну из холодных декабрьских ночей совсем исчез. Его нашли далеко от села в одном нижнем белье в копне гнилой соломы.

Анастас схватил тяжелый грипп. Высокая температура держалась полмесяца. Болезнь сопровождалась кошмарными снами, которые старик путал с действительностью. Долгое время он находился под властью странного до нелепости сновидения. Ему приснилось, будто бы кладбище перепахали трактором. Старик клялся, что он сам видел торчащие из земли ноги своей Стехи. Уговоры, убеждения, что это всего лишь дурной сон, не помогли. Иван запряг лошадь, посадил больного Анастаса в телегу и отвез на кладбище. Убедившись, что это и впрямь был страшный сон, Анастас успокоился и больше уже никогда о нем не вспоминал.

Анастас знал, что он непоправимо болен. Иногда, просыпаясь в полночь среди глубокой тишины, он чувствовал ломоту и тяжесть во всем теле. Тишина, отсутствие света и впечатлений, отдохнувший мозг только что проснувшегося человека — все это держало старика некоторое время в сознании. Но с рассветом его снова одолевали впечатления, и голова не могла справиться с ними. Анастас опять становился безумным.

День ото дня старик терял силы, слабел. Теперь он подходил на рыбу, выброшенную на берег, которая то бешено колотится о камни, то вдруг замрет, лежит, бессильно вытянувшись, минуты две-три, а потом опять начинает извиваться, биться и наконец засыпает с разинутым ртом.

Так было и с Анастасом. После буйства, непрерывных движений старик затих. Всю зиму пролежал он в темном углу на своей жесткой койке без жалоб, без движений, без мыслей. Он жил и не жил. Казалось, что смерть и жизнь заключили между собой договор — не трогать старика.

Настя не раз писала Андрею о состоянии отца. На пись-

ма неизменно отвечала Зинаида Петровна. Она униженно благодарила Луковых за великую доброту, сердечность и аккуратно высылала деньги.

Только весной к Анастасу опять вернулись сознание и память.

В начале мая были ясные холодные дни, по ночам ударили крепкие заморозки. Природа замерла в каком-то блаженном оцепенении. Она чего-то ждала, молча, терпеливо набиралась сил. Лес стоял голый, низкий, подернутый прозрачным лиловым туманом, сквозь который проглядывали поляны с жидкой водянисто-зеленой травой и мелкими пестрыми цветами.

В серых, унылых полях неустанно с утра до вечера ползали тракторы. И неутомно день-деньской в голых ветвях берез хлопотали белоносые грачи.

Прошла неделя, другая, рассудок не покидал Анастаса. Но голова уже не могла управлять телом. Мозг и тело существовали как бы отдельно, сами по себе.

Старик лежал неподвижно, словно зажатый в тиски. Теперь он мог только думать и вспоминать. Но думать было не о чем, да и не к чему. Вспоминать? Конечно, хорошие воспоминания приятны и отрадны. Память у него обострилась до крайности. И он еще больше напрягал мозг, почему-то пытаясь припомнить один эпизод из раннего детства.

Что же это было такое? «Это было... было... — беззвучно шевелил губами старик, — что-то белое, синее и красное».

И вот оно всплыло. Ослепительный зимний день. Белое — снег, синее — небо. И вдруг между синим и белым пронеслось что-то ярко-красное. Оно звенело и гикало.

— Ма-ма... — залепетал, захлебываясь от радости, маленький Анастас.

— Масленица, сынок, — сказала мать и кончиком платка вытерла сыну нос. Анастасу стало больно, и он заплакал. Так приоткрылась ему страница мира, удивительно яркая, свежая, полная очарования.

И вот еще одно. Он уже человек, умеющий самостоятельно ходить и кое-что понимать. Горошина. Обыкновенная жесткая горошина. Анастас пытается ее раскусить, но она крепкая, как камушек. Потом эта горошина неизвестно как попадает в ухо Анастасу.

Анастаса везут в больницу. Дровни на раскатистой гладкой дороге швыряет из стороны в сторону. Лошадь

храпит, машет хвостом, бросает копытами в лицо снег. Вначале было весело, потом стало скучно и холодно. А лошадь все бежит и бежит, и бегут по сторонам высоченные сосны с дырявыми шапками и продрогшими корявыми стволами. И вот он в больнице. Анастас ведут к доктору. Он длинный, тощий и весь в белом. Анастас от страха хватается за подол матери. А доктор смеется и показывает ему блестящую трубочку и обещает подарить ее насовсем, если он перестанет плакать. Как ни силился старик, так и не мог вспомнить, подарил ли ему эту трубочку доктор или обманул...

То, чего так терпеливо ждали природа и люди, наконец пришло. С вечера хлынул теплый обкладной дождь и всю ночь бешено обрабатывал крыши, косыми струями стегал по окнам, шумел и бурлил в придорожных канавах. А наутро горячее солнце захватило полнеба и, уставясь в разбухшую землю, стало колоть ее острыми знойными лучами, и земля задымилась. И тогда весна, отбросив робость, легко и стремительно понеслась, широко разбрасывая зеленые крылья.

В эту бурную дождливую ночь у Анастаса дважды оттаивало сердце. Это он чувствовал потому, что внезапно начинали трястись колени и судорогой сводило тело. Анастас пытался кричать и не мог. Чьи-то невидимые руки сжимали горло и с нечеловеческой силой растягивали тело. Иван с Настей дежурили у его кровати по очереди. Под утро Анастас захрапел. Луковы решили, что это конец. Но храп быстро прошел, и старик погрузился в глубокий сон.

Проснулся он к полудню. В доме, кроме Лидочки, никого не было. Настя приказала ей доглядывать за больным Анастасом, которого, как она выразилась, «бог прибирает, прибирает и никак не приберет». Лидочка была рада, что в школу не надо идти, и поэтому развлекалась как могла. Она пеленала котят и укладывала спать в тесный ящик стола. Кошка желтыми глазищами смотрела на Лидочку, жалобно мяукала, стучала по полу хвостом.

Проснувшись, Анастас ощутил во всем теле необыкновенную легкость, словно оно стало невесомым. Сладко кружилась голова, а перед глазами вспыхивали и гасли радужные искры.

Почувствовав, что смерть подкрадывается к нему без тех страшных мук и издевательств, которых он так ждал

и опасался, Анастас лежал тихо, не шевелясь, притаив дыхание, словно боясь спугнуть ее.

Лидочка распахнула окно. В избу потек прохладный, влажный, слегка пахнущий дымком воздух. Анастас весь задрожал, сердце сдавило, и по щекам невольно покатились крупные мутные слезы.

За окном разноголосно звенела весна. Надсадно, в каком-то блаженном упоении, заливался скворец, нежно, задумчиво ворковали голуби и протяжно, словно пьяные, распевали куры.

Анастасу стало невмоготу. Неудержимо потянуло на волю, к солнцу. Немея от слабости, он сполз с койки и, держась за стены, выбрался на крыльцо. Игривый, бодрый весенний ветерок налетел на старика, пузырем надул за спиной легкую ситцевую рубашу. Анастас, как рыба, хватал ртом воздух, улыбался и плакал и говорил себе вслух твердо и решительно:

— Нет... погодь... успеешь. Вот взгляну на дом, на сад, на мир, а потом бери меня, подлая... Не жалко... Я давно готов.

Лидочка сидела на подоконнике, ошипывала краюху хлеба, а крошки кидала под окно курам. Куры жадно хватили хлеб и дрались. Это занятие так увлекло ее, что она не заметила, как дед вышел из дому. Она увидела Анастаса, пробирающегося вдоль забора. Худой, на тонких, как ходули, ногах, он стоял, широко расставив руки, и качался, словно пугало на огороде. Лидочка от изумления ахнула и, как мать, прошептала: «Царица небесная!» — потом пронзительно заголосила:

— Дедка! Куда ты?! Не ходи!

Анастас, качаясь, добрал до забора, привалившись к нему, передохнул и потом, хватаясь за шершавые кольца, потащился дальше, в свой сад. Лидочка шла за дедом, всхлипывала и тянула нараспев:

— Дедушка, не ходи! Миленький, не ходи!

За одну эту ночь сад преобразился. Вдоль забора, под кустами — везде, где сыро, мягко, — засела молодая, жгучая крапива. Смородину, крыжовник усыпала изумрудная, кудрявая пороша. Черный, словно обугленный, вишенок выпускал крохотные, как град, бутончики. Пышная, остро пахучая, среди еще серо-корявых яблонь, груш и сивых кустов сирени, стояла белая черемуха. Ее осаждали темно-синие мухи и полчища невесть откуда появившейся мошкеры.

Старая яблоня, срубленная Анастасом в начале зимы, лежала на земле, разбросав крючковатые ветви. Она еще была жива и пыталась в последний раз раскрыть свои вялые почки. Это была ее последняя весна.

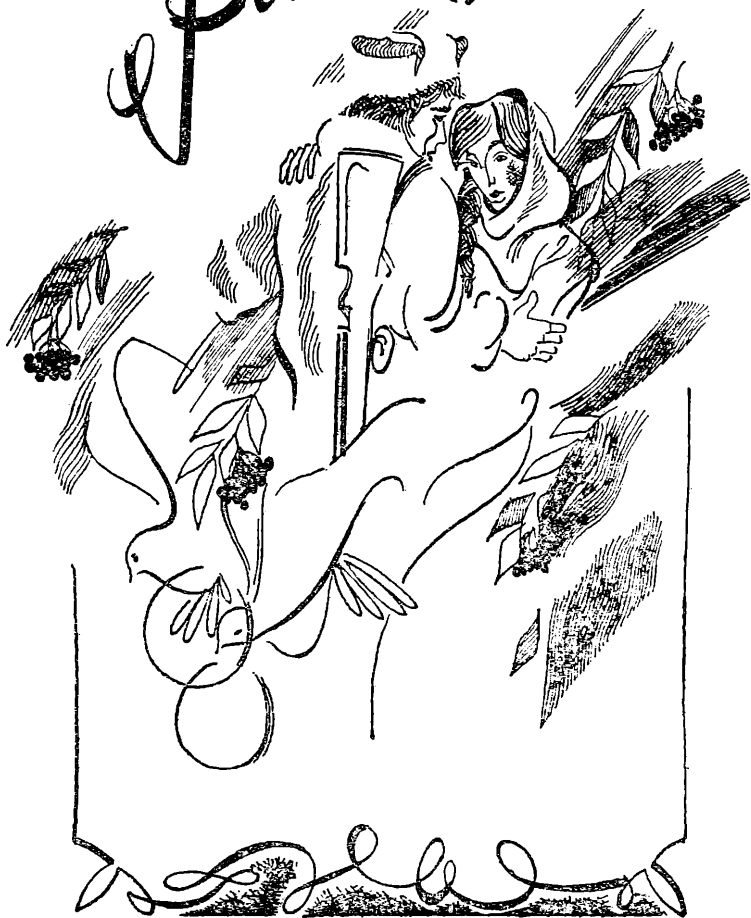
Долго стоял над ней Анастас, недоумевая: кто же мог срубить его яблоню, ровесницу и друга детства? Но думать и стоять уже не хватало сил. Ноги старика подогнулись, и он неловко присел на ствол яблони. Сидеть было очень неудобно. Но Анастас этого не чувствовал. Опять затряслись колени, и опять чьи-то невидимые руки начали душить его и растягивать тело.

Лидочка давно забыла про Анастаса. Она носилась по саду, кричала, ловила бабочек, сбивала веткой с цветов пчел.

Когда Анастас очнулся и тусклыми, свинцовыми глазами посмотрел на мир, то не мог понять, что это — сон или явь? Сердце билось неровно, замирая. Он смотрел на свой весенний сад, весь залитый солнцем, и не узнавал его. Во всем было что-то ненастоящее, неземное. И солнце светило не так, как прошлой весной, и скворец пел странно, незнакомо, и даже пчелы жужжали совсем по-другому. Он поднял глаза и ужаснулся. Он не увидел неба. Одно огромное жгучее солнце. И чем больше смотрел на него Анастас, тем страшнее оно накалялось, плавилось и вдруг хлынуло в глаза неудержимым золотым потоком. И сразу стало темно. Послышался отдаленный, необыкновенно чистый звон колокольчиков. Он нарастал, приближался, глох и вдруг зашумел, как первый весенний дождь. Анастасу стало так легко и отрадно, что захотелось лечь и вытянуться...

Его схоронили без слез, без речей, без поминок. Все очень торопились. Луковы торопились поскорее вынести из дому гроб; супруги Засухины — успеть к поезду. Они так и сделали — уехали в тот же день, упросив Лукова присматривать за их домом. Почему?! Завещание-то Анастас унес с собой в подкладке своего праздничного пиджака. Может быть, он забыл про него, может быть, он все простил сыну, а может быть, в последние перед смертью дни добро и зло для него не имели никакого значения. На его окнах — темные горбатые ставни, а на дверях — изъеденный ржавчиной замок.

Салкыбы



МАЧЕХА

Когда умерла мама, в квартире стало холодно, нашло много народу. Тети и дяди вздыхали, говорили шепотом и все сморкались в платки. Маленькая большеглазая девочка Лена следила за порядком. Подняв кверху пальчик, говорила:

— Тише, не надо шуметь. Мама померла.

Потом приехала бабушка Авдотья Гордеевна и увезла Лену в деревню.

Щенка Узная принесли к Авдотье Гордеевне в корзине и вытряхнули на пол. Длинные уши у него болтались, как тряпки, и он был такой лохматый, словно причесали его от хвоста к голове; ходил Узнай неуклюже, постоянно опрокидывал черепок с молоком и часто попадался под ноги.

Когда Лене исполнилось пять лет, Узною минул третий месяц. Леночка уже могла без табуретки смотреть в окно, открывать калитку и убегать на улицу, умела рисовать бабушкины очки и знала три буквы: «А» «У» и «крепкий знак».

Узнай тоже кое-чему научился. Например, стягивать с комода салфетку, жевать резиновые галоши. Особенно он любил неожиданно закатиться в курятник, поднять там переполох и до смерти напугать гусыню с выводком.

Когда Авдотья Гордеевна сердилась на Леночку, она называла ее «пигалица тонкая». На Узная Гордеевна топала ногой и кричала: «Пошел вон, собачий сын!» — и стегала его веником. Оскорбленный собачий сын забивался под кровать, где долго и горько скулил. Он думал, что на свете самый плохой народ — большие люди. Они таскают за уши, наступают на лапы, берут за воротник, поднимают к потолку и, больно щелкая по носу, похваляют: «Экий хороший пес!»

Постепенно Узнай забывался, засыпал и видел один и тот же сон: пыльный угол в сенях и железную бочку.

Кто-то сильно хлопает дверь, бочка долго и страшно гудит. Узнай жметя к мягкой шерсти, и кто-то нежно облизывает его шершавым языком. Проснувшись, Узнай тер лапой глаза и недоумевал: «Что это такое?» Узнай не помнил рыжую собаку Альму. Его отняли от матери, когда он только открыл глаза. Альма, хоть и хорошая была собака и очень любила своих щенят, тоже не заметила пропажи вислоухого сына: щенят у нее было много, а считать она не умела...

Но не забыла маму Лена.

— Бабушка, зачем меня бедной сироткой зовут? — спрашивала она Гордеевну. Авдотья Гордеевна поджимала губы, вешала на нос очки и принималась старательно низать петли на спицы.

— Ну-у, бабушка Гордеевна, — теребила ее за рукав Лена.

— Ты не слушай никого, Аленушка. Разве ты бедная? У тебя есть папа. Вот подрастешь, учиться к нему в город поедешь.

— Я от тебя никуда, никуда не поеду, — шептала Лена, запрятав лицо в складки бабкиного платья, а потом, подняв лицо, пытливо смотрела на Гордеевну: — Бабушка, а зачем ты плачешь?

— Да нешто я плачу, глупая! Вишь, глаза засорились.

— Бабушка, когда глаза замусорятся, они всегда плачут?

— Ну, пошел, пошел, прыгай, воробей.

Но воробей не уходил. Забираясь к бабке на колени и загибая пальчики, Лена считала:

— У Люси мама — раз, у Миши мама — два, у Васи — три, у Наськи хлопоухой тоже есть мама. Только у меня нет:

— Да какая же Настя хлопоухая? Нешто так можно, Аленушка! У нее фамилия Лопухова, — ворчала Гордеевна.

— А вот хлопоухая, и не спорь. Все ее так зовут: хлопоухая, хлопоухая, — и Лена начинала кричать и плакать.

Долго плакать стыдно и неинтересно. Через пять минут ее звонкий крик и залихватый неумелый лай Узнай сливаются с отчаянным гайканьем гусей. Потом Лена, Люся, Миша и «хлопоухая Наська» бегут на колхозный птичник дразнить краснобородого индюка. По дороге они встречают деда Алексея. Сначала от скотного двора появ-

ляется огромная, на предлинных ногах тень кривого мерина Сеньки, за ним — телега на таких высоких колесах, словно у нее вместо спиц вставлены жерди. А потом медленно, задевая ветви ив, выплывает облезлая папаха деда Алексея. Дед Алексей — самый умный и авторитетный человек у ребят. Говорит он всегда серьезно и никогда не обманывает.

— Дедушка Лексей, куда ты? — кричат они хором.

Алексей останавливает Сеньку, снимает папаху и, шурясь, из-под руки глядит почему-то на небо.

— За отавой.

— А зачем отава?

— Телят кормить.

Ребята тем временем забираются в телегу и по очереди хворостинной погоняют ленивого мерина.

Но самое интересное бывает вечером у колхозного правления, когда шофер по прозвищу Максим Большой, извиваясь, как червяк, заползает под «победу» чинить рессору. Ребята в это время заседают в машине и гадают: прокатит или не прокатит их дядя Максим?

Так проходят дни. И вдруг опять:

— Бабушка, моя мама была красивая? Бабушка Гордеевна, что же молчишь? Мама была красивее агрономши?

Потом Леночка беседует с Узнаем:

— У тебя, Узнай, мама была собака, а у меня — человек. Моя мама была красавица, красивой агрономши.

В тот день Лена и Узнай играли в прятки. Узнай, как это и положено собакам, водил без передышки. Только что Узнай разыскал Лену в дырявой бочке из-под золы, как у дома появился почтальон, хромой дядя Ося, и гулко постучал деревянной ногой по ступеньке крыльца.

— Вот тебе письмо, — сказал дядя Ося и вынул из сумки голубой конверт с двумя марками.

Лена схватила письмо и с криком: «Папа прислал!» — бросилась к бабушке.

Авдотья Гордеевна торопливо вымыла руки и стала читать письмо. Читала она всегда медленно, нараспев. Но сегодня с Гордеевной что-то случилось. Она внезапно замолчала, сняла очки и спрятала конверт за зеркало.

— Иди, Аленушка, погуляй. У меня что-то голову разломило.

Леночка походила по огороду, немножко поиграла с

Узнаем, потом опять вернулась к бабке и уткнулась в ее колени.

Авдотья Гордеевна, выудив из Аленушкиной головы сивую репейку, спросила:

— Ты меня любишь?

— Люблю. И папу тоже люблю. Давай письмо читать, — протянула Лена.

— Аленушка, ты поедешь с папой в город?

Леночка зашмыгала носом, вытерла ладошкой щеки и удивленно посмотрела на Гордеевну.

— Мы все в город поедем. Я, папа и ты, бабушка, и Узная тоже возьмем.

Авдотья Гордеевна улыбнулась.

— Ну, пойдем баню топить. Завтра папа приедет.

От радости Леночка запрыгала. Узнай сел на хвост и пролаял, как взрослая собака.

Люся, Миша и «хлопоухая Наська» ходили по домам и, останавливаясь под окнами, распевали, что завтра приедет папа Лены. А когда они об этом прокричали в ухо деду Алексею, тот долго шевелил губами, придумывая сказать что-нибудь доброе, хорошее, но так, видимо, ничего и не придумал, а только сказал:

— Ну, раз папа приедет, тогда вот тебе кнут — и погоняй Сеньку.

С утра Лена с Узнаем встречали папу за деревней, где росли сивый тополь, похожий на веретено, и старая с замшелым стволом береза, у которой на маковке висело так много грачных гнезд, как будто ее ребятишки забросали шапками.

На Леночке было красное платье, на ногах красные туфли и белые носочки с красными полосками; щеки у нее тоже покраснелись, а на самой макушке дыбился большой зеленый бант.

Узнай тоже принарядился: на шее у него болтался пестрый галстук. Узнай, очевидно, чувствовал себя страшно неудобно: беспрестанно вертел головой и наступал на галстук грязными лапами.

Сидели они на краю канавы и не спускали глаз с круглой ольховой рошчицы, за которую сворачивала дорога. Леночка знала, что по этой дороге ходят на станцию, по словам бабушки, совсем недалеко — без малого версты три.

Владимир Петрович появился не один. Рядом с ним шла какая-то тетя в синем с белыми полосами платье и

держала в руке папину шляпу. А папа был в белой рубашке с короткими рукавами.

Леночка вскрикнула и побежала так быстро, что если бы ее не поймал Владимир Петрович, она упала бы и разбила нос. Владимир Петрович подхватил Леночку на руки, подкинул над головой, поймал и, поставив на землю, сказал:

— Вот какая у нас дочь, Вера!

Тетя засмеялась, поправила на Леночкиной макушке бант, потом нагнулась и так крепко поцеловала, что Лена насторожилась и исподлобья посмотрела на тетю. Тетя хотела еще раз поцеловать, но Леночка отвернулась.

— Что с тобой, Лена? — спросил Владимир Петрович.

— А зачем она так целуется? — плаксиво протянула Лена и уцепилась за папин карман, а потом всю дорогу шла с Владимиром Петровичем, крепко держась за его палец.

Авдотья Гордеевна встретила их на крыльце и, поджав губы, сухо проговорила:

— Здравствуйте! Проходите.

Леночка заметила, что бабушка надела новую черную юбку с желтыми кольцами, зеленый жакет, у которого на рукавах и на карманчиках были синие кубики. Горницу Гордеевна прибрала, как в праздник: пол застелила пестрыми домоткаными половиками, стол накрыла скатертью с длинными кистями и поставила кувшин с букетом георгинов.

Папа был непохож на себя. Раньше он приезжал веселый, играл с Узнаем, бегал с Леной по огороду и так интересно обо всем рассказывал, что бабушка грозилась «умереть со смеху». Теперь папа все ходил по горнице, трогал георгины, говорил, какие это красивые цветы, хвалил погоду, удивлялся, как Лена в этом году выросла и поправилась.

Вера Сергеевна — так звали тетю — сидела у окна и, наклонив голову, без конца раскрывала и закрывала сумочку.

«И что балуется,— подумала Лена,— еще испортит».

Авдотья Гордеевна, скрестив на груди руки, молча стояла у печки. А когда Узнай подошел к Леночке и потерся об ее колени, Гордеевна взяла Узная за шкуру и выкинула его на улицу.

«Во всем виновата эта тетя»,— решила Леночка.

Весь день она не отходила от бабушки и спрашивала.

— Когда эта тетя уедет?

— Обязательно уедет, потому что ей делать здесь нечего,— сердито говорила Гордеевна.

После обеда Владимир Петрович и Вера Сергеевна ушли. Лена обрадовалась. Она думала: папа проводит тетю на станцию и отправит ее в город, а потом придет домой. Бабушка поставит самовар, и они будут пить чай с вареньем и сливками. Папа расскажет про свой завод, посмешит Гордеевну, а потом обвешается простынями и одеялами, заберет подушку и они пойдут с Леной в сарай спать на свежем сене.

Дождаясь папу, Леночка спряталась в бабушкиной спальне за сундук. Она всегда так раньше делала. Папа придет, испугается и будет ее искать под лавками, под кроватью и даже на чердаке. Леночка сидела очень тихо и уснула.

Разбудил ее голос Владимира Петровича. Дверь в спальню была приоткрыта, и Лена увидела папу, бабушку и Веру Сергеевну. Папа говорил громко и все бегал по горнице, Гордеевна махала руками:

— Нет, нет, так я ее вам не отдам!

— Поймите, Авдотья Гордеевна,— горячился Владимир Петрович,— Леночка не может с вами всегда жить: у нее должна быть мать.

— Ей и у меня неплохо.

— Послушайте, Авдотья Гордеевна, вы знаете, что я вашу дочь любил. Но кто виноват, что так случилось. В этом упрекнуть меня невозможно. Я знаю Веру — она сумеет заменить Лене мать.

— Нет-нет, Аленушку я вам не отдам,— твердила бабушка.

— Это, наконец, бесцельный разговор,— крикнул Владимир Петрович,— завтра мы Лену увезем в город.

Леночка проскользнула в открытую дверь и с криком кинулась к Гордеевне:

— Не поеду! Не люблю эту тетю. Скажи, пусть она уходит.

Вера Сергеевна быстро встала и, приложив к глазам платок, вышла.

Владимир Петрович взял Лену на руки, отнес ее в кровать и не уходил, пока она не уснула.

Утром Лена узнала, что папа и Вера Сергеевна уехали.

Прошел день, второй. Но Леночка не могла успокоиться и часто вспоминала Веру Сергеевну.

— Бабушка, а тетя Вера придет опять к нам? — думала она Гордеевну.

Авдотья Гордеевна отвечала неохотно и сердито:

— Делать ей здесь нечего. Воспитывать мы не хуже других умеем.

Но Лена почему-то не верила Гордеевне и каждый день бегала за деревню посмотреть на дорогу.

Вера Сергеевна приехала неожиданно. Накануне прошел дождь. Земля размякла, стала липкой. Леночка сидела во дворе на корточках и стряпала из глины пирожки. Вдруг громко и сердито залаял Узнай. Леночка оглянулась и увидела Веру Сергеевну с чемоданом. Лена растерялась, вытерла о платье руки и, потупив голову, буркнула:

— Приехала?! Зачем? Опять бабушка будет сердиться.

Тетя Вера прошла в дом и сказала Авдотье Гордеевне, что будет у них жить. Она поселилась в мезонине, куда бабушка складывала на лето валенки и шубы, прятала банки с вареньем и яблоки.

Авдотья Гордеевна сама набила соломой полосатый матрац, дала Вере Сергеевне подушку и каждый день носила в мезонин крынку с молоком. Леночке настрого запретила лазать туда. «Потому что,— сказала она,— лестница крутая, да еще того и гляди обвалится».

Казалось бы, для Леночки наступили самые счастливые времена: бабушка ей ни в чем не отказывала и разрешала бегать по улице от зари до зари.

— Иди, иди, гуляй, Аленушка. Нечего тебе дома делать,— ворчала Гордеевна, когда Лена задерживалась у дома. Но уходить не хотелось. Куда интереснее было смотреть, как Вера Сергеевна учит Узная танцевать.

«Какая она странная,— размышляла Леночка.— Большая, а ведет себя как девчонка. Еще хочет быть мамой».

Когда Лену кто-нибудь спрашивал на улице, хорошая ли у нее мама, она убегала или сердито говорила:

— И совсем не мама, а тетя Вера.

Потом жаловалась Узною: «Ну какая она мама? Разве тети бывают мамами?»

Узнай, по-видимому, был другого мнения и с Верой Сергеевной скоро сдружился. Каждый раз после обеда

Вера Сергеевна приносила ему то кусочек мяса, то колбасных шкурок или просто сочную косточку. Узнай дорожил этой дружбой и терпеливо учился ходить «по-человечески», «умирать», носить в зубах сумку.

Авдотья Сергеевна ревниво оберегала Лену.

Лена заметила, что Гордеевна все время сердится на тетю Веру. Бабке не нравилось, зачем она ходит по воду, моет полы и даже почему-то запретила ей кормить цыплят. Встречаясь с тетей Верой, бабушка поджимала губы, отворачивалась в сторону. Как-то Вера Сергеевна с Леночкой положила морковку. Неожиданно появилась Гордеевна и, подбоченясь, пропела:

— Ишь, работнички нашлись. Всю морковку мне повыдергивали.

Вера Сергеевна вспыхнула и дрожащим голосом сказала:

— Как вам не стыдно, Авдотья Гордеевна! — потом ушла в свой мезонин и весь день не показывалась.

— Вишь, какая гордая. И ничего-то ей не скажи,— вытирая фартуком губы, проговорила Гордеевна.

Лена быстро поняла: что нравится Вере Сергеевне, то не нравится бабке, и наоборот. Она то весь день с Гордеевной: помогает солить огурцы, собирает с кустов малину, ходит с ней доить безрогую Пеструху. А на другой день... А на другой день не отходит от Веры Сергеевны. Украдкой пробравшись в мезонин, забирается с ногами на стул и смотрит, как тетя Вера вышивает разными нитками кота в сапогах. Потом учит Лену вышивать цветы незабудки: зеленые палочки с голубыми крестиками.

Авдотья Гордеевна негодовала и совсем перестала разговаривать с Верой Сергеевной.

А тут еще провинился Узнай: он опрокинул в чулане горшок с молоком. Как Лена и Вера Сергеевна ни просили не наказывать Узнаю, бабка не согласилась.

— Вы мне совсем щенка избаловали,— сказала она, отхлестав Узнаю ремнем, и потом посадила его в сарай на цепь. Узнай проскулил на цепи до обеда, а когда Гордеевна ушла на реку полоскать белье, Вера Сергеевна выпустила Узнаю на свободу. И они решили сбежать от злой бабки в лес за грибами. Грибов в лесу, кроме поганок и мухоморов, не было, зато видели муравьиную кучу, по которой муравьи катали белые, как рис, зернышки.

Все это было ново для Леночки, и она удивлялась:

как муравьи могут строить дома? И зачем змеям очки? Разве они умеют чулки вязать и читать книги?

Рассказала Гордеевне и спросила: «Правду ли говорит тетя Вера?» Гордеевна только тяжело вздохнула:

— Должно быть, правду — раз говорит: она ведь учная.

Леночка и сама видела, что Вера Сергеевна знает больше Гордеевны, и ей порою было обидно за бабушку.

Как-то Лена учила Узная уму-разуму. Вера Сергеевна сидела рядом и внимательно слушала.

— Если луну покрасить золотом, а солнце серебром, то луна будет солнцем, а солнце луной. И ночью будет светло, как днем, а днем будет темно, как ночью.

Узнай слушал рассеянно, чесал лапой уши и оглядывался на Веру Сергеевну.

— А теперь перейдем к новому уроку, — серьезно проговорила учительница и погрозила пальцем: — Узнай, слушай внимательно, а то все забудешь. Земной шар круглый, как мячик. Наши ходят вверх ногами, американцы — вниз...

Вера Сергеевна засмеялась:

— Кто же тебе, Леночка, такой чепухи наговорил?

Лена обиделась.

— Никто. Я сама. Думаешь, только ты одна все знаешь? Если бы моя мама не померла, она небось учнее тебя была... Мама была красивее агрономши, вот, — отрезала Лена и убежала к Гордеевне.

Нередко Лену так и подмывало рассердить Веру Сергеевну, чтоб она на нее закричала, затопала ногами или, схватив за руку, отшлепала.

Во дворе, около тына, находился колодец с воротом. На ворот наматывалась веревка с деревянной бадьей. Вода в колодце годилась только огород поливать: зеленая, словно в ней траву заваривали. В гнилом срубе жила полосатая жаба, которая иногда по вечерам пела — словно рашпилем скоблили о железное ведро. Колодец закрывался крышкой на замок.

Авдотья Гордеевна поливала гряды. Вера Сергеевна сидела на крыльце и вытаскивала из мохнатой шубы Узная комья чертополоха. Леночка была во дворе и старалась, чтобы на нее обратили внимание. Высунув язык, ходила на четвереньках и пудрилась пылью, ложилась на землю, сучила ногами и визжала так, словно ей пятки щекотали. Вера Сергеевна даже не подняла головы. Тогда

Лена подбежала к колодцу, вскарабкалась на трухлявый сруб и, ухватившись за веревку, закричала:

— А вот я и не боюсь тебя! Вот и не боюсь!

Вера Сергеевна вскочила.

— Леночка,— проговорила она чужим голосом.

— Не боюсь нисколько! Возьму и в колодец плюну. Думаешь, мне слабо в колодец плюнуть? — кричала Лена, дергая веревку. Ручка ворота раскачивалась.

Вера Сергеевна хотела закричать, но поняла, что малейший испуг заставит Лену вцепиться в веревку и тогда бадья ринется вниз. До колодца было метров двадцать.

— погоди, Леночка, мы вместе с тобой плюнем,— проговорила Вера Сергеевна, делая осторожные шаги

— Ишь ты, какая хитрая! Хочет меня поймать. Все равно я тебя нисколько не боюсь,— пела Лена, зорко следя за Верой Сергеевной, которая потихоньку приближалась к колодцу. Вдруг Леночка пронзительно закричала. Ручка ворота резко описала круг, и бадья, ударившись о бревно сруба, скользнула на дно. Лена почувствовала, как ее потянуло вниз и как больно ее схватили за руку. Она бросила веревку и очутилась в руках Веры Сергеевны. Прибежала испуганная Гордеевна и, всплеснув руками, заголосила:

— Ох ты окаянная, ах ты баловница!

Леночка хотела соскочить на землю и бежать. Но, взглянув на лицо тети Веры, присмирела. Вера Сергеевна опустила Лену на землю, а сама быстро пошла в дом. Авдотья Гордеевна завернула внучке платье и надавала звонких, увесистых шлепков.

Леночке было очень больно, обидно и стыдно; так стыдно, что даже страшно было попасться на глаза Вере Сергеевне. Она забилась в спальне за сундук и размышляла, что никто ее не любит... И не надо, пусть не любят. «Убегу в лес и умру там с голоду. Вот тогда они все наревутся... Ну и пусть режут, пусть режут, так им и надо», — шептала Лена, выжимая кулачками слезы.

Вера Сергеевна к вечеру опять была веселая, вытаскивала Леночку из-за сундука и повела смотреть, как комбайн теребит лен. Комбайн походил на синюю однокрылую птицу. Ходил он подпрыгивая, с боку у него волочилось широкое крыло с множеством железных наконечников, между которыми сновали ремешки и дергали льнинки. А сзади комбайна кувыркались снопы, туго перевязанные шпагатом.

Вернулись они, когда уже стемнело. Вера Сергеевна несла Лену на руках... На крыльце их встретила Гордеевна. Она стояла, прижавшись к двери, и мяла в руках передник. Вера Сергеевна остановилась и вопросительно посмотрела на старуху.

— К себе понесешь, что ль? — спросила Гордеевна.

— А я теперь, бабушка Гордеевна, все время буду ночевать с тетей Верой, — ответила Лена.

Вера Сергеевна выпрямилась и, подняв голову, пошла. Авдотья Гордеевна нехотя посторонилась.

Через три дня приехал Владимир Петрович, а на четвертый день Авдотья Гордеевна справляла внучку в город. Она сама постирала, выгладила ее платица, уложила их в чемодан, туда же положила малиновых лепешек, мешочек с сушеной черникой и лупоглазую, румяную, как вишня, матрешку с одной косой. Была бабушка ласковая, забывчивая, часто вытирала передником глаза. Лена, как могла, успокаивала Гордеевну:

— Ты не плачь, бабушка, я к тебе опять приеду... Только ты Узнаю никому не отдавай.

Авдотья Гордеевна уверяла, что она не плачет: виноваты глаза, которые на болоте выросли.

Когда все уже было готово и Владимир Петрович взял чемодан, неожиданно из-за сараев вынырнула лиловая туча, глухо заворчала, полоснула за окном огнем, и пошел такой дождь, что вмиг наполнил бочку под застехой и вымочил до костей деда Алексея с Сенькой, которые дожидались их на дороге. И не успел дед выжать свою папаху, а Сенька отряхнуть мокрую гриву, как тучу унесло.

— Ну, вот и дождь прошел. Быть пути: дождь — примета хорошая, — проговорила Гордеевна и перекрестила подбородок.

До станции всю дорогу Лена погоняла Сеньку. Сзади, высунув язык, бежал Узнай. Его хотели прогнать, Гордеевна даже прутом грозила. Узнай нехотя поворачивал, а потом опять догонял.

Подошел поезд. Авдотья Гордеевна поцеловала Аленушку и передала ее в вагон Вере Сергеевне. А когда поезд тронулся, Леночка, махая платком, закричала:

— Бабушка, я к тебе обязательно приеду! Узнай, до свиданья!

Поезд уже гудел за семафором, а Гордеевна все еще стояла, помахивая рукой, и шептала:

— Быть пути, быть пути. Дождь — примета хорошая. Рядом с ней, ошестинясь, стоял Узнай и охрипшим, злым голосом лаял вслед поезду.

1954

ДАРЬЯ

С Дарьей мне довелось познакомиться, когда я еще только начинал пробовать свои силы в областной газете. Мшанский район — лес да болота; в реках и речушках вода как густо заваренный чай. Дороги скверные, — не только весной и осенью трудно проехать в Болотский сельсовет, но и в начале зимы, когда только ударят морозы и выпадет первый снег. И все же в этом районе мне приходилось бывать: работал я собкором.

Мне поручили написать очерк о свинарке. За дело я взялся горячо. С тридцатью рублями и с новым блокнотом, в котором я записал: «Мшанск, Болотский сельсовет, Т. Козырева», я пустился в дорогу. Более пяти часов ехал поездом, потом добирался на попутной машине и прибыл в Мшанск только на следующий день к обеду. До Болотска было еще километров двенадцать. В чайной, где я наскоро съел тарелку шей, буфетчица сказала, что недавно чаевничал здесь старик из тех краев; он приехал в район за гвоздями. Я обрадовался: можно было воспользоваться оказией.

У районного сельмага стояла подвода. Взъерошенная лошаденка копалась в охапке сена. Рядом старик в тулупе с поднятым воротником старательно привязывал к дровням ящик. Я подошел ближе и увидел лицо старика — ком шерсти и лиловый кончик носа.

— Ты чего, мил человек, смотришь? — замигал старик.

— Вы из Болотска?

— Я-то закутянский, из «Самоделки» мы. Колхоз «Самодеятельность», может, слыхали?

— Мне надо в Болотск.

— Болотск тоже там. Закут, Болотск, Мишино — одного Совета.

— Не подвезешь ли, отец?

— Чего ж не подвезти?.. Можно... Ты, мил человек,

не смотри на кожу, ты на кости смотри — крепкие. Шустрая кобылка: разбежится — не остановишь. А ты лектор какой?

— Нет, я не лектор.

— Не лектор, говоришь? — старик пожевал губами.— Не лектор, значит... Ну да ладно, садись, коль надо...

Мы ехали по скованной льдом Мшаге. Река широкая, берега ее низкие, зима сравняла их с полями. Мороз был славный, и солнце, казалось, поджигало снег. Равнина полыхала белым холодным огнем. Словно обугленные, торчали на ней жидкие кусты ольшаника, прутья ивняка да старые пни; от яркого света резало глаза, бледнела синь неба.

Старик поначалу молчал, потом быстро заговорил. Мысли у него были какие-то отрывочные, беглые. А слова он произносил так, как будто вытряхивал их в снег.

— Лектора здесь, почитай, с полгода не было. Обидели... Хлебушко у нас есть, а самогоном, избави бог, не балуемся, не думай.

Старик замахнулся хворостиной, задергал вожжами. Дровни рвануло; лошадь, лягнув передок, пошла вскачь.

Берег над рекой поднялся. Над ним нависли загнутые края сугробов. Кое-где снег обвалился, обнажив мшистые корни, бурую осоку и зеленые комья глины.

По обеим сторонам стояли высокие ели. Казалось, они отдыхали, бессильно опустив свои закиданные снегом колючие лапы. Синие тени переплелись. Затем солнце пропало; небо ушло ввысь, стало прозрачно-голубым. Ели, плотно сомкнув шершавые стволы, настороженно прислушивались к скрипу полозьев, фырканию лошадежки и бормотанию возницы.

— Засветло не добраться; вишь, солнце на покой пошло. А если ты, мил человек, насчет самогонки, не слушай — злые языки брешут.

Я засмеялся.

— Нет, дедушка, я еду к свинарке Козыревой. Может быть, знаешь ее?

— Тпру-у, стой, чтоб ты сдохла! — Старик потянул поводья и взглянул на меня своими бесцветными глазами.— К Козыревой, говоришь? Так... так... Это зачем же она тебе понадобилась?

— В газете о ней будем печатать, как о знатном человеке. Вы знаете ее?

— Вона что,— покачал старик головой.— Дарью-то Козыреву не знать! Чай, не чужие мы, наша, закутянская.

— Она, кажется, не Дарья, а на букву «Т»,— сказал я, заглянув в блокнот.— У вас другие свинарки Козыревы есть?

— Та, та самая,— замахал рукавицей старик,— я сам Козырев, слышь. Тимофей Козырев... У нас восемь дворов, и все — Козыревы. Дарья, Дарья — и говорить нечего. Опричь ее у нас таких нет. Свинарка она хорошая. Чего же говорить, когда свинья сразу шестнадцать поросят принесла... Ай да Дарья! В газету печатать...— засмеялся старик.

Я тоже обрадовался: дед довезет меня теперь до места.

Мороз намыливал старику бороду. А тот все чаще и чаще грелся, махал руками и гулко стучал рукавицами. Начало смеркаться. Ночь погасила багровое пламя заката, разметала по небу колючие звезды, сдвинула деревья, собрала их в одну черную кучу, и веселый березовый лесок померк, насупился, загородил дорогу.

— Волки здесь есть?

— А как же без волков!..

— Трогают?

— Собачонка попадетса — вмиг разорвут. А человека волк не трогает. Человека волк сам боится...

Деревня Закут появилась внезапно: кончился лес, и мы сразу же выехали к дому. Он мне показался огромным, как ржаная скирда, за ним стояли такие же рубленные в угол избы, пята в темень желтые окна.

У Петрова, председателя колхоза, дом пятистенный, из двух половин. Бревенчатые стены почернели. С трудом я разглядел лосиный лоб с рогами, два охотничьих ружья и патронташ. Потолка не видно: круглый, как зонтик, абажур затянул его густой тенью. Хозяин — высокий, широкоплечий здоровяк.

— Ты погоду, ночь впереди, а еще будет утро, а потом день,— остановил меня Петров, когда я начал о деле.

С бутылкой в руках вошла хозяйка — тоже высокая и костистая женщина, а за ней краснощекий малый нес блюдечко с ломтиками шпика. Хозяйка поставила на стол миску с квашеной капустой, положила четыре огурца и вопросительно взглянула на мужа. Тот отрицатель-

но качнул головой. Она поджала губы и неловко присела у окна на край скамьи.

— Так. Значит, из газеты? Написать о нас хотите? Пишите, пишите, беспорядков у нас хоть отбавляй.

Я поспешил рассказать о цели своего приезда.

— Так. Значит, Дарья Козырева вас интересует? Что ж, можно... — Он запустил пальцы в волосы и крикнул в угол: — Васька! Сбегай, сынок, к тетке Дарье. Скажи — пусть придет, я требую! — Председатель, улыбаясь, поскреб небритую щеку. — Дарья — ягодка знатная, сочная, а вот попробуй укуси... Год назад совсем другой человек был. Покопается на огороде, а к вечеру вырядится и сидит под окном, зубы скалит. Все по грибы да по малину ходила.

— Вот и находилась, что муж от нее ушел, — ехидно вставила хозяйка.

— Ушел?

— Ведьма она болотная. Удавить ее мало, а не в газетах печатать, — крикнула Анна.

— Видал? — кивнул в ее сторону Петров.

— Что головой мотаешь? — набросилась на мужа Анна. — Сам, поди, с нее глаз не сводишь. У-у... бесстыжий!

Петров ударил ладонью по столу.

— Анна, не тряси дурь!

У хозяйки перехватило дыхание.

— А я, а я... скажу... Все скажу. Пишите про нее хоть сто раз в газету. Не то у нее на уме, не то. Мы все знаем. Только не выйдет у нее ничего.

— Ну ладно, ладно, выйдет не выйдет — не наша печаль. — Петров поднялся и выпроводил жену на кухню. — Вот видишь, как у нас, — вздохнул он, грузно опускаясь на табуретку.

Мне стало как-то не по себе. Петров, по-видимому, понял мое положение.

— Чепуха, — махнул он рукой. — Дарья — баба умная. Правда, треплют про нее много, да ведь на чужой роток не накинешь платок.

— И дыма без огня не бывает, — усмехнулся я. — А что у нее с мужем?

— Видишь ли, Дарья — очень решительная женщина. Случилось это с нею на второй год свадьбы. — Петров пожал плечами. — Поди разбери, кто из них виноват. Муж и жена — одна сатана. Появился у нас лесник Ан-

тон Ильин. Парень молодой, красивый, девки за ним гужом. В праздник это произошло, на гулянке. Дарья там была с мужем своим Михаилом. Он работает в сельсовете секретарем. Так вот, заиграли «Цыганочку». Кто-то взял и вытолкнул Дарью в круг, а плясать девка — спец. Вот и пошла она, потом остановилась перед лесником, плечами поводит, глазами стреляет. Тот не выдержал — и во круг нее вприсядку. Ух, и плясали же они! — покачал головой Петров. — Муж-то и не совладал с собой. Ну, конечно, выпивши был. Подскочил Михаил к Дарье — и за косы. Насилу розняли их. После этого Дарья в открытую закурила с лесником этим, с Антоном. Так и пришлось уехать Михаилу. Поневоле уедешь.

— А когда она начала свиначкой работать? Ведь вы говорили, что она вообще ничего в колхозе не делала, — спросил я.

Петров задумался.

— Да... верно... Ведь у нее две тетки в городе — помогали ей. Да и свое хозяйство неплохое. — Петров вдруг рассмеялся. — Порох она! Что-нибудь выпалит в горячке, а отказаться от своих слов не может. Напали на нее раз бабы и начали честить на все лады. С нашими колхозницами свяжешься — разделают под орех. Дарья их слушала, слушала, а потом и сказала: «Вы хоть сдохнете от злости, но Антон все равно будет мой. Не видать его Таньке как своих ушей. А Таньку я за пояс заткну все равно. Я вам покажу, что она моих подметок не стоит».

— А кто такая Танька? — заинтересовался я.

— Говорят, невеста Антона. Она из колхоза «Восток». Известная свиначка в районе. И вот Дарья пристаёт ко мне: «Хочу быть свиначкой». Дали мы ей самых что ни есть захудалых свиней. Никто ей не верил, что справится. Да и я сомневался. А ведь выходила! Э-э, да еще каких! В Закуте отроду таких не было. Первый опорос получили. Хороший! Ждем — вторая должна пороситься. Вот тебе и Дарья, вот тебе и франтиха-купчиха Козырева...

— Хлеб да соль, — певуче проговорил женский голос за моей спиной.

Мы оба обернулись.

— Вот она, — сказал Петров. — Милости прошу, Дарья Михайловна. Да что ты в темноте хоронишься? Аль боишься, что сглазим?

Дарья не спеша подошла к столу. Короткий черный

тулупчик, отороченный ярко-рыжим мехом, плотно сжал ее плечи и высокую грудь. Пуховый платок закрывал голову и обрамлял ее белое лицо с большими черными глазами. Слегка качнув плечом, она пасмурно взглянула на председателя.

— Ну, я пришла... Звали, Илья Митрофанович?

Петров кивнул на меня.

— Это товарищ из газеты. Хочет тебя пропечатать. Дарья вскинула голову. Глаза ее теперь искрились, как будто в них играл луч солнца.

— Так вот ты, Михайловна, возьми его к себе в гости. Побеседуйте, поговорите на свободе.

Дарья усмехнулась.

— А люди как подумают?

— Люди...— засмеялся Петров.— Эх, Дарья, Дарья! Я-то знаю, как ты людей боишься.

Дарья нахмурилась, резко повернулась и пошла, но у порога остановилась и, не оборачиваясь, пропела:

— Мне что, пожалуйста... Я приберусь, а вы приходите.

Краснощекий, с царапиной на лбу Васька повел меня к Дарье Козыревой. Мальчик переставлял отцовские валенки, как ходули. Он был в одной рубаше и ежился. Над Закутом висело звездное небо, щелкал мороз, под кабелями повизгивал снег.

— Вот тут, дяденька, она живет,— указывая на дом, пропищал Васька и задергался.— Я побегу, дяденька, а то зябко.

Я толкнул калитку и в темноте стал пробираться на ощупь. Знакомый голос позвал:

— Сюда, сюда идите!

Пропустив меня, Дарья резко закрыла дверь, и по синим половикам покатился седой ком морозного пара.

У Дарьи было тепло и уютно. Над шитой деревянной кроватью с пирамидой подушек висел самодельный ковер, на котором розовая девица расчесывала желтые волосы. Переднюю часть избы занимали цветы. В глиняном горшке, как еж, свернулся кактус. Нежная фуксия осыпала малиновые сережки. Резко пахло геранью.

Дарья, скрестив на груди руки, стояла у самовара. Девочка лет шести, положив на колени худенькие ручонки, сидела возле нее. Острый подбородок, маленькое личико с безбровыми глазенками придавали ребенку пугливый вид. Самовар вскипел. Дарья легко подняла его и

поставила на стол. Самовар крякнул и расшумелся, как разбуженный улей.

Я следил за хозяйкой. Хороша! Толстые черные косы двойным венком обвили голову, и только малёнькие колечки волос, как тени, упали ей на белую шею и уши. Дарья ходила плавно, движения ее были немного ленивые, словно она делала все нехотя. Я с удивлением отметил — предметы, к которым прикасалась хозяйка, казалось, жаловались. Дарья расставляла посуду: стаканы, блюда и даже чайная ложечка не звенели, а вскрикивали «ай!», как будто она их щипала.

Девочка не сводила глаз с варенья. Дарья налила ей кружку чаю, положила варенья и кусок сахара. Все это она сделала молча, не поднимая глаз.

Я пытался завязать разговор, но он не вязался. Хозяйка отвечала коротко и слушала рассеянно. Мне казалось, что она к чему-то прислушивается.

— Давно вы здесь живете?

— Я родилась в Закуте.

— А эта девочка — ваша дочь?

— Соседская. Ночевать у меня попросилась.

О своей работе Дарье рассказывать, видно, не хотелось.

— Да работаю, как все, — уклончиво ответила она.

— Как же вы добились успеха?

— Старалась, чтобы не быть хуже других. Читала книжки по животноводству. Ну, как и все.

— Скажите, Дарья Михайловна, вы любите свое дело?

Она насторожилась. Ее большие глаза выражали недоверие. «Не подвох ли здесь какой?» — говорили они. Но вдруг Дарья открыто улыбнулась.

— Вам, наверное, уже кое-что сказали. А я и сама скрывать не стану. Не очень-то мне хотелось браться за эту работу, да так уж пришлось. С первых же дней я возненавидела ее, и особенно этих тощих... свиней. Ничего не жрали, и росла у них только одна щетина. Знаете, из меня слезу нелегко выжать, а тогда я почти каждый день плакала. На работу иду — реву, домой приду — тоже реву. Помощи я ни у кого не просила. Все казалось, что мои неудачи вызывают у баб радость. Не знала, что и делать. Как-то зашла я в правление. Там никого не было. На столе лежали газеты. От нечего делать развернула одну и прочитала: «Наш опыт откорма свиней». Эту

газету я — в карман, и бегом домой... Вот посмотрите, я ее до дыр зачитала.

Дарья подошла к этажерке, откинула сатиновую занавесочку. Там лежала стопка книг.

— Видите, теперь сколько их у меня, а началось все вот с нее.— Дарья улыбнулась, подавая мне потрепанную, всю в жирных пятнах газету. На второй полосе ее была помещена статья совхозного зоотехника о новом методе откорма свиней.

Дарья подробно рассказала, как, выполняя все указания статьи, покоя не давала животноводу и председателю. Вдруг она замолчала, лицо стало озабоченным. Подошла к окну, поцарапала лед, обернулась.

— А вы знаете? Вот сейчас я разговариваю с вами, а думаю о нашей свинье Трусихе. Ведь она со дня на день должна опороситься. Боюсь я чего-то: ведет она себя подозрительно.

В голосе ее слышалась тревога, на щеках проступил легкий румянец. Я не удержался.

— Красивая вы, Дарья Михайловна!

Похвалу она приняла, как пряник,— покраснела, засмеялась.

— Мне все говорят: «Красивая ты, Дарья, как артистка; тебе бы только в городе жить». А я в Ленинграде жила у тетки. Уехала. Небо там в самый ведреный день за крыши цепляется, а солнце глядит, словно через стекло немытое. Шум, звон, пахнет дымом, горелой резиной. Пойдешь в сад: деревья важные — не подступись. Трава нежная — не дотронься, а то штраф. В пруду лебеди плавают с подрезанными крыльями. И такие жалкие, что скучно на них глядеть. Люди там все куда-то спешат, торопятся.— Дарья говорила спокойно, растягивая слова.— А как вернулась в деревню, с неделю пропадала в лесу. Здесь все родное, знакомое. Солнце ласковое. Упадешь в траву и слушаешь, как звенит и шепчет кругом. Небо высокое-высокое. Висит в нем на одном месте жаворонок, а потом вдруг камнем упадет в траву. Обнимешь березку — дрожит, как пугливая девчонка. Елка стоит тихая, задумалась, ствол у нее смолой, как медом... Вот не люблю я осину! Беспокойная она.

Я вспомнил о разговоре с председателем колхоза и спросил напрямик:

— Что же вы, Дарья Михайловна, одна век коротаете?

Она усмехнулась.

— Вы угощайтесь, а то чай стынет,— и, подняв свои глаза, как будто окатила меня ледяной водой.

— Что вас так интересует моя жизнь?

В сенях застонали половицы. Дарья вздрогнула. Дверь распахнулась. Вошел человек в енотовой дохе, по-видимому, охотник. Обмахнув веником сапоги, он пробормотал приветствие, снял шапку и опустился на скамью у печки, поставив меж колен двустволку. Минуты две он сидел, молчал и смотрел в угол, шевеля густыми, сросшимися на переносице бровями. Лицо у него было строгое, но не злое. Дарья жались под платком, как побитая. Но вот охотник встал, вынул портсигар, достал папироску и медленно размял ее. Потом подошел к печке; прикурнул от уголька, с чуть заметной насмешливой улыбкой проговорил: «Я, видать, помешал вам...» — и быстро вышел, хлопнув дверью.

Дарья вскочила, бросилась за ним.

— Антон! — раздался ее требовательный голос.

«О-о-он!» — жалобно отозвался у порога оцинкованный таз. Стукнули ворота, и уже на улице застыл Дарья крик:

— Антон, погоди!..

Девочка, подняв угловатые плечи, прихлебывала чай. Я непонимающе смотрел на золотистый ободок блюдца, на василек с полинялыми лепестками.

Стукнула щеколда. Хозяйка проскользнула в избу и прижалась к печке. Потом, сбросив с плеч платок, подошла к столу и стала разливать чай. Старенькие ходики отстукивали второй час ночи. Я поднялся и взял шапку.

— Куда же вы? — удивленно спросила Дарья.

— Да пора уж. Илья Митрофанович, наверное, уже заждался меня.

— Илья Митрофанович второй сон досматривает. Оставайтесь, места хватит. Зачем среди ночи беспокоить их.

Она стала разбирать кровать. Постелила свежие простыни, взбила подушку.

— Отдыхайте, пожалуйста.

— А вы где?

— Мы с Настей на печке. Привыкла — теплее и хлопот меньше.— Она прикрутила у лампы фитиль и поднялась на печку.

Я лежал под теплым одеялом, мне не спалось. «Эх ты, эх ты, эх ты!» — выговаривал маятник. Мигала лампа.

Темнота все теснее и теснее сжимала ее и, казалось, вот-вот задушит. «Эх ты, эх ты, эх ты», — стучали часы. Лампа погасла. На полу бледные пятна света. Это луна стоит среди улицы и пялит свой оловянный глаз на окна. Ей трудно все рассмотреть: цветы мешают. Не могу уснуть.

На печке зашелестело, скрипнула ступенька. Дарья подошла к столу. Нашла спички, оделась и осторожно открыла дверь. Через несколько минут она вернулась в комнату и тревожно позвала:

— Настя, Настя! Встань, сходи за Анной! Трусиха поросится. Вот никак не ожидала...

Зажгла лампу и, сдернув с гвоздя полотенце, снова убежала. За ней следом Настя.

Было уже около полудня, когда хозяйка меня разбудила. Яркое зимнее солнце било в окно, рассыпалось желтым кружевом на сосновых стенах. На столе ныл самовар. Когда я умывался, хозяйка сообщила, что ночью неожиданно опоросилась Трусиха. Принесла восемнадцать малышей, поставив в районе небывалый рекорд.

Завтракал я один. Дарья хлопотала по хозяйству. Мои извинения она приняла равнодушно и на прощание торопливо подала мне руку:

— Заходите, когда будете.

Я уже открывал дверь, когда Дарья меня остановила:

— Погодите, товарищ корреспондент.

Подойдя к зеркалу, достала газету и, не скрывая радости, подала мне.

— Вот, посмотрите! Переплюнула я ее!

С газетной полосы ласково улыбалась какая-то девушка. Две светлые косы лежали на ее темном платье. Я так и впился глазами в фотографию. Под нею стояла надпись: «Татьяна Козырева».

— Ко... Козырева? — с трудом выдавил я. — Как это? Кто это?

— Была лучшая свинарка района, да только теперь не она будет лучшей, — сквозь зубы проговорила Дарья и швырнула газету в печку. Рыжее пламя слизнуло бумагу, пепел с дымом вылетел в трубу.

«Проклятый старик!» — мысленно выругал я возницу и нарочито спокойно спросил:

— Из какого же она колхоза?

— Из «Востока», по ту сторону Болотска. Отсюда километров пятнадцать, — нехотя ответила Дарья. Закры-

вая за мной ворота, она еще раз напомнила: — Так вы не забудьте, что я ее победила. Так и печатайте.

О своей ошибке я никому не сказал и немедленно отправился в колхоз «Восток». Петров дал мне лыжи. Широкие, подбитые лосиной, они шли ходко и не вязли.

— Эй, товарищ, как тебя! — окликнули меня за деревней.

Я оглянулся и увидел вчерашнего старика. Подойдя, он протянул жесткую, как щепка, руку:

— В Болотск, значит? Ты, мил человек, не езжай дорогой. Далеко будет. А лесом, лесом напрямик. С версту пройдешь и сверни на леву руку, там сам увидишь, след-то сворачивает.— Он потоптался, снял шапку, опять надел и поглядел на свои головастые валенки.

— Значит, про Дарью-то в газете печатать будут? Хорошо про нее напечатай, она внучкой мне доводится. Вот... Ну, прощевай, мил человек. Счастливо тебе...— Он повернулся и пошел к деревне:

Опять лес. Лыжня петляет меж невидимых пней, обходит кривоногий валежник. Снег с головой окутал можжевельник, а на кучу молоденьких елок навалился сугробом. Красноствольные сосны, подняв над лесом свои кудрявые шапки, не шелохнутся. Снежная пыль набивается в уши, засыпает глаза, тает на губах. Маленький длинноносый дятел в пестром пиджачке нараспашку долбит да долбит старую березу. А снег вокруг нее пожелтел, словно кто пшено просыпал.

Лыжня круто свернула, и я вышел на поляну, ровную, как огромный лист бумаги. На ней стоял одинокий, изъеденный со всех сторон стог сена. На противоположной стороне, под старыми хмурыми елями, пряталась избушка. Над крышей вился сизый дымок. Навстречу мне выбежала белая собака с рыжим пятном на морде, но не залаяла, а побежала впереди, приветливо виляя обрубок хвоста. Я попал к домику лесника. Сеней здесь не было. Их заменяла пристройка из осинового частокола, похожая на шалаш; из щелей торчали сивые клочья травы, сверху свисала порыжелая хвоя. Собака навалилась на дощатую дверцу и, взвизгивая, начала драть ее когтями.

— Белка, Белочка! — ласково позвал ее женский голос. В дверях показалась светловолосая женская головка. Белка завертела хвостом и полезла целоваться, потом бросилась ко мне, потом опять к двери и, вдруг сев на задние лапки, залилась визгливым лаем. На улицу вы-

шла девушка и, локтем прикрываясь от солнца, разглядывала меня. Она была в светлом платье, концы кос были заколоты на макушке, и две петли, как большие золотые серьги, свисали на уши.

— Вы?..— спросил я.

— Ну конечно, я... А кто же еще? — засмеялась девушка.

Передо мной была Татьяна Козырева, та самая девушка, которая час назад, так же улыбаясь, смотрела на меня с пожелтевшей страницы газеты, как будто не сгорела, а только укрылась дымом, чтобы наскоро переодеться, заколоть косы и встретить меня здесь, в лесу.

— Вы не дадите мне напиток? — спросил я, облизав губы.

— Почему же не дам? Конечно, дам,— снова засмеялась она.

В избе было крепко натоплено. Вместо кровати я увидел дощатые нары, которые были застланы таким ярким одеялом, что на стене лежал алый отсвет.

— Наконец-то я вас нашел, знаменитая свинарка Татьяна Козырева!

Лицо ее вспыхнуло.

— Я не Козырева, а Ильина.

— Как не Козырева?!

— Да, да, да,— закивала она головой,— я замуж вышла. Мы позавчера только расписались. Мой муж Антон Ильин. Знаете? Его все в районе знают.

Я поспешил рассказать, зачем приехал сюда. Татьяна налила в котелок воды, поставила на плиту и принялась чистить картошку кривым охотничьим ножом.

— Я и сама недавно сюда пришла. Меня на три дня к мужу отпустили, но мы с ним скоро совсем будем вместе,— рассказывала она.— Антон теперь снова будет работать в колхозе. Мы ведь из одной деревни.

— А он сейчас где?

— Не знаю. Не ждал, наверное, меня. Придет с минуты на минуту, а у меня еще ничего не готово...

Она выбежала на улицу, приволокла ведро, полное снегом, потом принесла охапку березовых поленьев и стала торопливо их совать в плиту. Дрова зашипели, поджимая под себя огонь, а Таня все подкладывала. Тоненькая фигура ее скорчилась, превратилась в светлый комочек.

— А вы в нашем колхозе еще не были? — спросила она.

— К сожалению, не пришлось. В «Самодеятельности» задержался. У вашей соперницы, свинарки Козыревой чай пил.

— У соперницы? — быстро обернулась Таня и подошла ко мне.— У Козыревой Дарья? Она вам понравилась? Правда, она очень красивая? — Таня побледнела, под глазами проступили широкие тени, над едва заметными бровями легли две тонкие нитки морщин.

— Да так себе, ничего особенного,— уклончиво пробормотал я.

— Неправда, неправда! Дарья — настоящая красавица! — с горечью вскрикнула Таня и, совершенно неожиданно для меня, расплакалась. Стоя у окна, она мазала пальцем стекло и всхлипывала, как ребенок. Я растерялся. Но вот она кого-то заметила и сразу вытерла ладошкой мокрые щеки.

— Ой, Антон!

И, как была в платье, бросилась на улицу. Из-под нар вылетела Белка и понеслась следом за хозяйкой.

— Ан-то-о-он! — покотился радостный Танин голос, ударился в темную стену леса и долго еще звенел. Таня бежала навстречу мужу.

Я тоже вышел на улицу. Антон, улыбаясь, крепко стиснул мою руку. Я перехватил его взгляд, и мне показалось, что он подмигнул. Это был тот самый Антон, который вчера вечером навещал Дарью.

— Товарищ корреспондент,— неуверенно проговорила Таня,— вы меня долго будете спрашивать? А? У меня ведь столько дел, и обед еще не готов... Может быть, в другой раз, а?

Я взглянул на Таню и понял, что в самом деле лучше потолковать с нею в другой раз.

Антон повел меня на станцию напрямик — лесом, к реке Мшаге, где проходил санный путь. Легко взмахивая палками, он шел впереди. Я старался не отставать. Ясный морозный день померк. Подул ветер. Лес зашумел и вмиг стяхнул иней. Мы вышли на дорогу.

Километра через два мы неожиданно повстречались с Дарьей. Ее гнедая лошадь бежала мелкой рысцой. Сама Дарья сидела в розвальнях на охалке соломы. Увидев нас, круто остановила лошадь.

— Здравствуйте еще раз.

— Далече, Дарья Михайловна?

— За дровами.

Антон, кинув на меня быстрый взгляд, нахмурился. Дарья стояла прямо, заложив руки в карманы тулупчика, слегка закинув голову и не спуская глаз с Антона. А он смущенно ковырял палкой снег.

— Антон, мне надо тебе сказать...— голос у нее дрогнул.— Отойдем в сторону.

— Зачем? Говори здесь,— глухо, но твердо ответил Антон.

Губы у Дарьи побледнели.

— Ты придешь сегодня?

— Не приду. Хватит. Вернулся к Тане — и баста. Я и вчера приходил только для того, чтобы сказать тебе это.

— Антон, а как же я?

— А что? — Антон поднял брови.— Я ведь тебе ничего не обещал. Знала ведь, что у меня невеста есть.

— Не обещал, не обещал, не обещал...— горько забормотала Дарья и вдруг наотмашь хлестко ударила его по лицу.

Скрипели сосны, гудела хвоя, свистел придорожный кустарник. По дороге катились белые волны снега и заметали свежий санный след.

...Совсем недавно в одном совхозе я снова встретил Дарью Козыреву. Директор совхоза, бритоголовый, тучный человек сказал о ней так: «Козырева — моя правая рука. Все животноводство лежит на ней. Дельная, умная женщина, но суровая. Впрочем, таких я уважаю».

Меня Дарья приветствовала усмешкой:

— Опять встретились...— И пригласила меня пить чай.

Она по-прежнему легко носила свое полное тело и прямо держала голову. Но лицо у нее посерело, как будто запылилось, глаза запали. Волосы на голове были собраны в клубок и зажаты гребенкой. Расставив локти и держа на ладони блюдце, она громко прихлебывала чай и так кусала сахар, что, казалось, сейчас брызнут синие искры. Около нее вертелся черноголовый малыш, капризничал, гневно сдвигая густые бровки. Неожиданно он громко закричал:

— Мамка, купи мне ружье!

Дарья поставила блюдце, погладила мальчика по голове.

— Нельзя так кричать, сынок,— и улыбнулась,— куп-

лю. Все куплю: и ружье, и велосипед, дай только собраться с духом.

— Как живете, Дарья Михайловна? — поинтересовался я.

Она быстро взглянула на меня.

— Пейте чай, а то стынет, — и резко отодвинула блюдце. Стакан громко звякнул, как будто ему стало больно.

1955

ЛЕСОРУБ

Лесорубом звали озорного Ваську — приبلудного сына доярки Насти Федуловой. Васька так привык к кличке, что забыл свое имя, а фамилии и вовсе не знал, пока не пошел в школу. Когда он впервые сел за парту и учительница Серафима Ивановна вызвала: «Федулов», Васька не ответил. Он только повертел стриженной головой и громко хихикнул. Серафима Ивановна строго посмотрела на Ваську, постучала карандашом и повторила:

— Василий Федулов здесь?

Васька съежился и царапнул ногтем парту.

— Вставай, Лесоруб, что сидишь, — сказал Васькин сосед и ткнул его кулаком.

Васька испуганно вскочил, поддернул ладошкой нос. Серафима Ивановна улыбнулась:

— Лесоруб?.. Почему Лесоруб?

Васька набычился и, глядя исподлобья, буркнул:

— Нипочему.

Серафима Ивановна нахмурилась:

— Так разговаривать нельзя. Когда тебя спрашивают, надо отвечать.

Васька, закусив губу, всхлипнул.

— Мамка меня в подоле с лесозаготовок принесла... — И навзрыд заплакал.

Вот так и начались у Васьки в школе нелады. С первой скамьи он переселился на «камчатку» и, не унывая, просидел там ровно два года.

Дома Васька не жил, а только ночевал. Придя из школы, он швырял под лавку сумку с букварем и доставал из подпола крынку молока. Умяв с молоком увесистый ломоть хлеба, Васька, отдуваясь, хлопал себя по животу:

— Во надулся, как барабан...

Сменив новые катанки на подшитые, суконное пальто — на засаленный рваный полушубок и подвязав к ногам лыжи, Васька отправлялся в поход. Лыжи у него самодельные — две березовые доски с ремешками посредине; а чтобы доски не утыкались, Васька приколотил спереди две погнутые железяки. Были у Васьки и настоящие, магазинные лыжи, но недолго. Когда он под Новый год принес домой табель с одними «гусьями», мать изрубила лыжи топором и сожгла их в печке.

Возвращался Васька поздно. Полушубок и валенки гремели на нем, как латы. Скрюченными пальцами Васька расстегивал пуговицы и, пошевелив плечами, вылезал из полушубка. Оставив у порога валенки весом с полпуда, забирался на печь, ложился животом на горячие кирпичи, подсунув под голову ватную фуфайку. Просыпался он от толчка и знакомых слов:

— Вставай, несчастье мое!

Васька сползал с печки, мочил под рукойником нос, жевал холодную телятину, лениво надевал суконное пальто, вытаскивал из-под лавки сумку с букварем и под конвоем матери шел учиться. Проводив «несчастье свое» до крыльца школы, мать бежала на ферму.

Васька забивался на «камчатку», вытаскивал зачитанный до дыр букварь и, подпирая кулаком голову, принимал озабоченный вид.

...В классе идет устный счет.

Как через замороженное стекло, слышит Васька голос Серафимы Ивановны:

— У меня в одном кармане три яблока, а в другом четыре. Сколько у меня всего яблок? Думайте, дети, думайте...

Навалясь грудью на стол, Васька тоже думает: «За чем чепуху пороть: у самой и карманов нет...»

За окном тает лиловое утро. Из-за крыш домов солнце пускает длинные яркие стрелы.

— Федулов, к доске.

Помотав головой, Васька поднимается и вразвалку, задевая за косяки парт, идет к доске.

— Возьми мел.

Васька берет мел и крошит его пальцами.

Серафима Ивановна, посмотрев на потолок, диктует:

— Колхозная корова Зорька вчера дала тридцать литров молока, а сегодня — сорок. На сколько литров Зорька повысила удой? Думай, Федулов, думай.

Васька ставит острые, пьяные цифры и думает: «Это зимой-то сорок литров! С ума, наверное, сошла Серафима...»

...Весна только начиналась. Еще в полях лежал снег, в лесу — сугробы, а Васька давно ухлестывал босиком. От грязи кожа на ногах трескалась, покрывалась сочными цыпками. Васька усиленно кормил их сметаной. Цыпки постепенно добрали и оседали на ногах плотным кожным панцирем: ножом режь — не больно.

Весь день Васька на реке. Колет вилкой усатых гольцов, решетом ловит пескарей и краснопузых бырянков.

Любимое место у Васьки — сад. Сад небогатый — десяток кустов крыжовника и старая яблоня-коробовка. Крыжовник одичал: ягоды на нем растут ржавые и ужасно кислые. Коробовка стоит в углу сада. Одна половина у нее сухая, с голыми искривленными сучьями, другая — с темной, непроглядной листвой, свисающей через забор в огород соседки, Анны Дюймачихи. И за это Дюймачиха давно точит зуб на Васькину коробовку. На разлапистой макушке яблони, как гнездо, висит корзина. Когда дует ветер, коробовка, поскрипывая, качается, и вместе с ней качается в корзине Васька.

Внизу к щербатому стволу яблони прижался дощатый шалаш. Строил его Васька сам. Доски таскал за километр, от реки, где застрял в кустах чей-то забор, унесенный в половодье. Шалаш вышел на славу: настоящий дом в два этажа, с печкой и самоварной трубой на покато́й крыше. В нижнем этаже Васька жил, а в верхнем хранил сокровища — спичечные коробки. На каждой коробке сделана надпись острыми, как кривой частокот, буквами: «тятёрка», «грачъ», «снигирь». Откроешь коробок, а там голубое с крапинками яичко галчиное, откроешь другой — воробьиное, точь-в-точь как фасолька. Яйцо ястреба, грязно-белое с красными пятнами, лежит отдельно, в железной банке из-под голубцов.

...Вот так и жил Лесоруб, пока не перешел в четвертый класс. Что такое горе или радость, он не знал. Детство тянулось у Васьки легко, как пестрая лента. И вдруг...

В тот день Настя ждала «несчастье свое» к обеду. Наступил вечер, давно пастухи пригнали в село коров, в домах зажглись огни, а Васьки все не было.

С утра он увязался с парнями на рыбалку. И был взят с условием — таскать по берегу ведро с рыбой. Парни брели по воде, били острогами щук, выгоняли из-под ко-

ряг в сеть налимов, туполобых голавлей и бросали их на берег. Васька хватал за жабры рябую щуку, давал ей по носу щелчок и радостно кричал:

— Ага попалась, зубатая крокодила! Вот сейчас ты у меня узнаешь! — И, свернув щуке голову, кидал в ведро.

Голавля Васька дергал за хвост и, отплясывая, весело пел: «Голавель, голавель попал, глупый дуралей...»

Вскоре ему надоела эта работа. Было жарко. Солнце стояло посреди неба и нещадно кололо Васькину макушку с редкими, как белоус, волосами. Васька разделся, штаны с рубахой перевязал ремешком, вместе с ведром отнес вперед, в ту сторону, куда двигались рыбаки, и спрятал под кусты, а потом залез в речку. Ваську пытались прогнать. Но он заверил всех, что от жары сторел, а ведро запрятал так, что и с собаками не найти. Васька вместе с рыбаками барахтался в воде, и как только подходил к месту, где стояло ведро, он выскакивал на берег и заносил его вперед.

Наконец рыбаки вышли на берег и стали делить улов. Вот тут Васька и ахнул: белья около ведра не было.

Долго он искал штаны с рубахой, все кусты обшарил, слезно просил: «Шут, шут, поиграй и опять отдай...» Но шут не отдал. И только когда стемнело, Васька, голый, огородами пробрался в свой сад и забился в шалаш.

В доме ярко горела лампа. И было видно в щелку, как на занавеске окна шевелились две головы: они то кланялись друг другу, то стукались лбами. Оттого, что Васька долго подглядывал в щель, у него онемела шея. Он пошевелился, передернул плечами и опять стал смотреть. Теперь в окне торчала одна голова с широченной спиной и смешно размахивала руками.

Хлопнула дверь, на крыльцо вышла Настя. Сбежала по ступенькам и с мягким шорохом, задевая лопухи, отворила калитку в сад. Васька подобрал под себя ноги, прижался к доскам и, передразнивая мать, прошептал: «Несчастье мое, ты здесь?»

Но мать позвала необычно ласково:

— Васенька... Сынок...

Озноб передернул Ваську, и он глотнул слезы.

Настя просунула голову в дырку шалаша и охнула:

— Ох, лихо мне! Голый... Где ж твоя одежка?

Васька хлюпнул носом.

— Несчастье ты мое,— вздохнула Настя и быстро ушла в избу.

Вернулась она с праздничной рубахой, вельветовыми штаниками и сандалиями.

— Мама, у нас гости? — спросил Васька, когда мать натягивала ему на ноги сандалии.

Настя поплевала на руки, пригладила Васькины космы и, взяв за руку, повела в дом. Дорогой она говорила, что у них дядя, что дядя хороший и бояться его не надо. Васька ничего не понимал. Какой дядя? Зачем он пришел? Почему мать вырядилась в шелковое платье, надушилась и треплет по росе туфли, которые, сама говорила, стоят полтыщи рублей?

В горнице на столе тоскливо пел самовар, стояли две бутылки вина, тарелки с огурцами, мясом, сахарница с конфетами, валялся кулек с пряниками. За столом у окна сидел грузный дядя в белой рубахе с распахнутым воротом. Сдвинув к носу брови, он то поджимал, то вытягивал губы, словно сосал конфеты.

— Это приданое мое, Тиша, — сказала Настя и, чмокнув Ваську в макушку, шепнула: — Поздоровайся, сынок.

— Здорово, — буркнул Васька и боком подвинулся к столу.

— Тихон Веняминович, — глухо проговорил дядя и протянул руку с толстыми, короткими пальцами.

Васька чуть дотронулся до пальцев с желтыми ногтями и еще ближе подвинулся к столу. Он сразу узнал дядю — нового зоотехника. В колхоз он пришел в хромовых сапогах с тупыми носами и в пиджаке, наброшенном на плечи. Васька видел, как зоотехник с мамкой плясали на пятаке елецкого. Он кругами ходил на полусогнутых ногах, размахивал руками и ловко щелкал подошвами, а мамка прыгала вокруг него, как мяч, и, заливаясь, голосила:

Ох ты, ох ты, охточки,
в голубенькой кофточке...

Настя разливала чай и непрерывно говорила:

— Мальчик он у меня хороший, ласковый. Только с учеьем у него не ладится.

— Наладим, — гудел Тихон.

— Задачки не умеет решать. Ты, Тиша, поучи...

— Поучим.

Васька жевал ириску и потихоньку тягал из кулька пряники.

В пустом доме Федуловых сразу стало тесно. В нем поселился чужой человек и потребовал называть себя папой. Сжалось сердце у Васьки, да так и не разжалось. И вместо «папа» он величал отчима в глаза Тихон Виньминич, а за глаза Вынь-Мин. Настя звала мужа Тишей. Когда она ласково говорила: «Тиша, Тиша», Ваське казалось, что она спрашивает отчима не шуметь.

Васька старался не встречаться с Вынь-Мином. Когда отчим ходил по горнице, стуча каблуками и вытягивая губы, Васька забирался в чулан.

Тихон не забыл своего слова «поучим».

После завтрака он открывал книжку и ногтем делал пометки:

— Это тебе урок до обеда.

В обед он проверял задание. Если отчиму нравилось, он махал рукой, что означало: «Иди на все четыре стороны», не нравилось — Васька переписывал заново. А вечером они решали задачки.

— Готов? — спрашивал Тихон.

— Готов, — отвечал Васька, чувствуя во всем теле нестерпимый зуд.

Читал Тихон задачки громко, подолгу останавливаясь на запятых и точках:

«В кружке юннатов работает сорок детей, а в кружке «Умелые руки» на тридцать процентов больше...»

Васька старался слушать внимательно, но вскоре забывался и думал: «Вот у нас в школе нет таких кружков. Почему нет? Потому что у нас учительница, а не учитель. Бабам некогда кружками заниматься».

— Понял задачу? — резко бросал Тихон.

Васька вздрагивал и сдавленным голосом сипел:

— Понял.

— Что у тебя с горлом?

Васька кашлял в кулак и крепко стискивал колени.

— Что надо делать?

— Надо, надо... — Васька шевелил губами и выпаливал: — Разделить.

— А если подумать?

Васька смотрел в угол, потом на окна и, пожав плечами, неуверенно говорил:

— Сложить.

Чего сложить?

— Юннатов, — шептал Васька.

— Дурак.

Васька втягивал в плечи голову и торопливо писал. За спиной склонялся Тихон и дышал прямо в ухо. У Васьки ходили колени и потели руки.

...Осенью Тихон привез из города форму школьника и портфель с двумя замками. Костюм был взят на вырост, с пятигодовичным запасом, и бултыхался в нем Васька, как карандаш в пустом пенале.

Этой же осенью Тихон сломал Васькин шалаш, а из его досок сколотил борову добротный закут.

Прошел год, и не узнать теперь дома бывшей соломенной вдовы Настасьи Федуловой. Тихон показал себя раторопным хозяином. Заново покрыл крышу, выбелил наличники, перебрал крыльцо и столбы на нем размалевал зеленой краской. Заготовил тес на обшивку дома. Соседка Дюймачиха только успевает ахать:

— Эх повалило тебе счастье, Настюха! Будешь в нем как сыр в масле купаться...

Васька, вскарабкавшись на яблоню, сидит в корзине и горестно вздыхает: «Какое же это счастье? Купалась бы ты сама в нем, Дюймачиха».

...Славное нынче утро. Над головой бесцветное, словно выгоревший ситец, небо. Над лесом с легким облаком играет солнце. Под коробовкой на плоской грядке цветет укроп, испуская густой, пряный запах. Подсолнухи, облокотясь на забор, заглядывают в соседний огород. Там копаются в грядках Дюймачиха. Лицо у нее темное, с длинным носом и шустрое, как у голодной галки.

Славное утро. На дороге в пыли барахтаются куры, задористо кричат молодые грачи. Воробьи кучей облепили рябиновый куст, раскачивают его и так трещат, как будто их обокрали.

— Тиша! — звонко кричит Настя. — Нарви огурцов!

Сегодня у Тихона с Настей праздник — они отмечают год своей женитьбы. И отчим уже на скорую руку перехватил. В шелковой, яркой, как яичный желток, рубашке он появляется на крыльце и, перемахнув сразу все ступеньки, идет в сад.

Дюймачиха подходит к забору и выставляет свое галчиное лицо:

— С праздником, Тихон Веньяминыч!

— Благодарю, соседка.

— Огород-то у вас завидный, Тихон Веньяминыч.

— Ну и что?

— А солнышка маловато: дерево мешает...

Тихон словно впервые смотрит на коробовку и вытягивает губы:

— Верно, соседка. Надо свалить.

— Да неужто свалишь? — По лицу Дюймачихи скользит хищная радость.

— Немедленно свалю, — бормочет Тихон и, растопырив руки, покачиваясь идет меж гряд.

...Васька сполз с дерева и, обхватив шершавый ствол, замер. Тихон вернулся с топором, попробовал пальцем острее, подошел к яблоне.

Васька повернулся к отчиму и, старчески наморщив лоб, сказал, заикаясь:

— Не дам коробовку рубить.

Тихон сдвинул брови:

— А прок от нее какой? Только место занимает. Давай топай. — И взял Ваську за плечо.

Васька толкнул отчима и закричал тонким голосом:

— Уйди! Вынь-Мин проклятый!

Тихон, недоумевая, пожал плечами, перекинул топор с руки на руку.

— Чудак ты, Васька... какой чудак! — И, усмехаясь, покачал головой.

— Не надо коробовку рубить, дядя Тиша.

— Ну и чудак же ты, — повторил Тихон и неловко погладил Ваську по голове.

Васька сжался и робко взглянул на отчима.

Тихон улыбнулся и вздохматил Васькины вихры:

— Ну, идем.

— Идем, — сказал Васька и вытер рукавом нос.

Настя стояла перед зеркалом и поправляла волосы, когда они вдвоем вошли в избу. Тихон молча сел за стол, вздохнул и постучал пальцами. Васька тоже сел за стол и тоже постучал пальцами. Настя с беспокойством посмотрела на них и стала накрывать стол. Она носила тарелки с пирогами и тревожно поглядывала то на Ваську, то на Тихона. А они молчали и все постукивали пальцами.

— Да что с вами? — наконец не выдержала Настя.

— Ничего, — ответил Васька и, помолчав, добавил: — Верно, дядя Тиша?

Тихон высоко поднял брови, потом сдвинул их к носу и серьезно сказал:

— Да, ничего особенного...

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ

(С натуры)

Весна. День такой ясный, что глазам больно. Но ветер резкий и порывистый; забрызгал воробья, умывавшегося под капелью, сорвал где-то плакат, вымочил его и бросил на забор сушиться, потом кинулся на лужицу с синим клочком неба и выплеснул ее на панель у автобусной остановки. Мужчина в серой шляпе отряхивается. На его пухлом лице не то улыбка, не то добрая гримаса. Женщина в зеленом пальто морщится. Озорник ветер распушил ее меха и посадил на самый кончик носа светлую каплю. Две девушки, зацелованные до красноты ветром, трещат без умолку. Около них на носках ходит краснощекий лейтенант. На нем все блестит: козырек, погоны, пуговицы; солнце не посмотрится на его хромовые сапоги. Старушка, закутанная до подбородка шерстяным платком, сидит на мешке. Кажется, только она безразлична к тому — придет или не придет автобус. Остальные в нетерпении.

Из-за поворота на бульвар, вместе с бурыми листьями, ветер приносит песню:

Хороша страна Болгария,
А Россия лучше всех.

Заслоняя солнце, появляется фигура со скворечником. Она идет быстро, подпрыгивая. Скворечник на плече тоже подпрыгивает. Подойдя, человек густым басом заявляет:

— Кажись, не опоздал,— и, не дождавшись ответа, хохочет: — А я-то спешил, бежал, даже шапка мокрая.

Люди удивленно разглядывают веселого парня. Коричневый ватник как будто отлит по его квадратным плечам; на ногах сапоги-заколеники. Лицо широкое, подбородок круглый, глаза возбужденные.

— Пстой, бабуся,— грохочет он.— Это что у тебя — мешок?

— Мешок,— поджав губы, отвечает старушка.

— С чем мешок-то?

Бабка торопливо поднимается, зажимает мешок между коленями.

— С отрубями.

— Тяжелый?

— Ох, тяжелый!

— Ладно, мы его внесем и вынесем. Ты держись за меня, старая.

Старушка испуганно улыбается, ее морщинистый лобик как раз вровень с нижней пуговицей коричневого ватника.

— А что, товарищи, весна? Чудесно! Солнце-то какое! — шуруется парень.

Все смотрят на солнце, жмурятся и ничего, кроме золотых брызг, не видят.

— У нас в столовке для стенгазеты стих написали. Чудесный стих! Сейчас вспомню! — пощелкав пальцами, парень вспоминает: — «Выходит март лучистый на субботник и тащит за город снега». Вот здорово написано — на субботник, как человек. — Он смеется долго, до слез.

— Скворцы прилетели? — баском спрашивает лейтенант и кивает на скворечник.

— Наверное, прилетели, а как же! — уверенно отвечает парень.

— Прилетели, прилетели, — машет рукой старушка. — Около нашего дома гнезда ладят, а уж как кричат-то — голова в круги.

— Бабушка, вы про какую птицу? — в один голос перебивают ее девушки.

— Известно какая, черная, грач... — сердится старушка.

— Мы про скворцов говорим, — снисходительно поправляет лейтенант.

— Скворец — птица важная, ей хоромы подавай.

— Вот они и готовы, полюбуйся, какой дом, бабуся, — поглаживая крышку скворечника, говорит парень. — Чудесный, опусти в воду, капли не пропустит.

Человек в шляпе постучал ногтем по скворечнику:

— Сосна?

— Это-то сосна? — удивляется парень. — Да что вы, обыкновенный клен. Древесина белая, — он стучит по доске, — и твердая.

— И верно, клен, — смущаясь, поспешно соглашается человек в шляпе.

— Дочуркин заказ выполнил, — оживленно говорит парень. — Дочка у меня, Танечка, в детский сад бегаёт. День птиц у них там проводят. Сказала она мне: «Если не сделаешь домик для скворушек, рассержусь». Пришлось после ночной остаться, скворечник делать.

— Как вы свою дочку любите! Похвально...— впервые подает голос женщина в зеленом пальто.

— Люблю,— простодушно соглашается парень.— Она у меня вот такая кроха, не больше горшка, а умная — удивительно. Я таких детей еще не встречал. Сидим мы вчера с Лизой, чай пьем,— Лиза это жена моя,— Танечка мне и говорит, а сама смеется, озорница: «Папа, нагнись. Чего я тебе скажу!» Я подставил ухо, а она мне и шепчет...— Парень понижает голос до шепота...

...А вокруг тишина, даже ветер стих, как будто он прислушивается к рассказу парня. У женщины в зеленом пальто вытягивается шея, на которой хомутом повисает пышный воротник.

— «Па-па, сделай мне скворечник»,— растягивает парень слова.— Чудесно! Я посадил Танюшку на плечи и давай отплясывать. А Лиза все допытывалась, о чем это мы с дочкой секретничали. Мы так и не сказали, пусть догадывается.

Парень почему-то смущается. Люди вокруг смеются. У человека под шляпой щеки надулись и дрожат, наверное, он сейчас чихнет, и все ему хором скажут: «Будьте здоровы!» Становится жарко. Дорога размякла и окуталась паром, как ошпаренный жмых. Женщина в зеленом пальто стягивает с себя чернобурый хомут и облегченно вздыхает:

— Больно ты говорун, парень. Небось стахановец,— добродушно ворчит старушка.

Девушки фыркают. Старушка косится на них и продолжает:

— Я человека вижу насквозь, сердце у тебя ласковое.

Но парень ее не слушает, он смотрит вдаль, на белесый горизонт, на дорогу и вдруг кричит: — Идет!

Раздавливая лужи, по дороге катится голубой автобус. Пассажиры суетливо вытягивают очередь.

— Скорее, скорее, бабуся! — торопит парень.

Машина останавливается, открывается дверца. Парень подхватывает бабкин мешок и несет его как кيسет. За ним, не спуская с мешка глаз, спешит старушка. Лейтенант услужливо пропускает вперед девушек, помогает подняться женщине в зеленом пальто, а потом за дверцей скрывается и малиновый околыш его фуражки. Автобус трогается...

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Записки народного судьи Семена Бузыкина	4
Заколотенный дом	132
Наденька из Апалёва	232
Последняя весна	268

Рассказы

Мачеха	300
Дарья	311
Лесоруб	325
Скворцы прилетели	333

КУРОЧКИН

Виктор Александрович

ЗАПИСКИ НАРОДНОГО СУДЬИ СЕМЕНА БУЗЫКИНА

Повести и рассказы

Редактор **О. В. Кугук**
Художник **С. И. Астраханцев**
Художественный редактор **А. В. Дианов**
Технические редакторы **Г. А. Бобылева, В. М. Котова**
Корректоры **Г. П. Панова, Н. А. Павлова**

ИБ № 5544

Сдано в набор 11.04.89. Подписано к печати 30.10.89. Формат 84×108/32. Гарнитура литератур. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. краск.-отт. 17,64. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 19,44. Тираж 100 000 экз. Заказ 390. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30